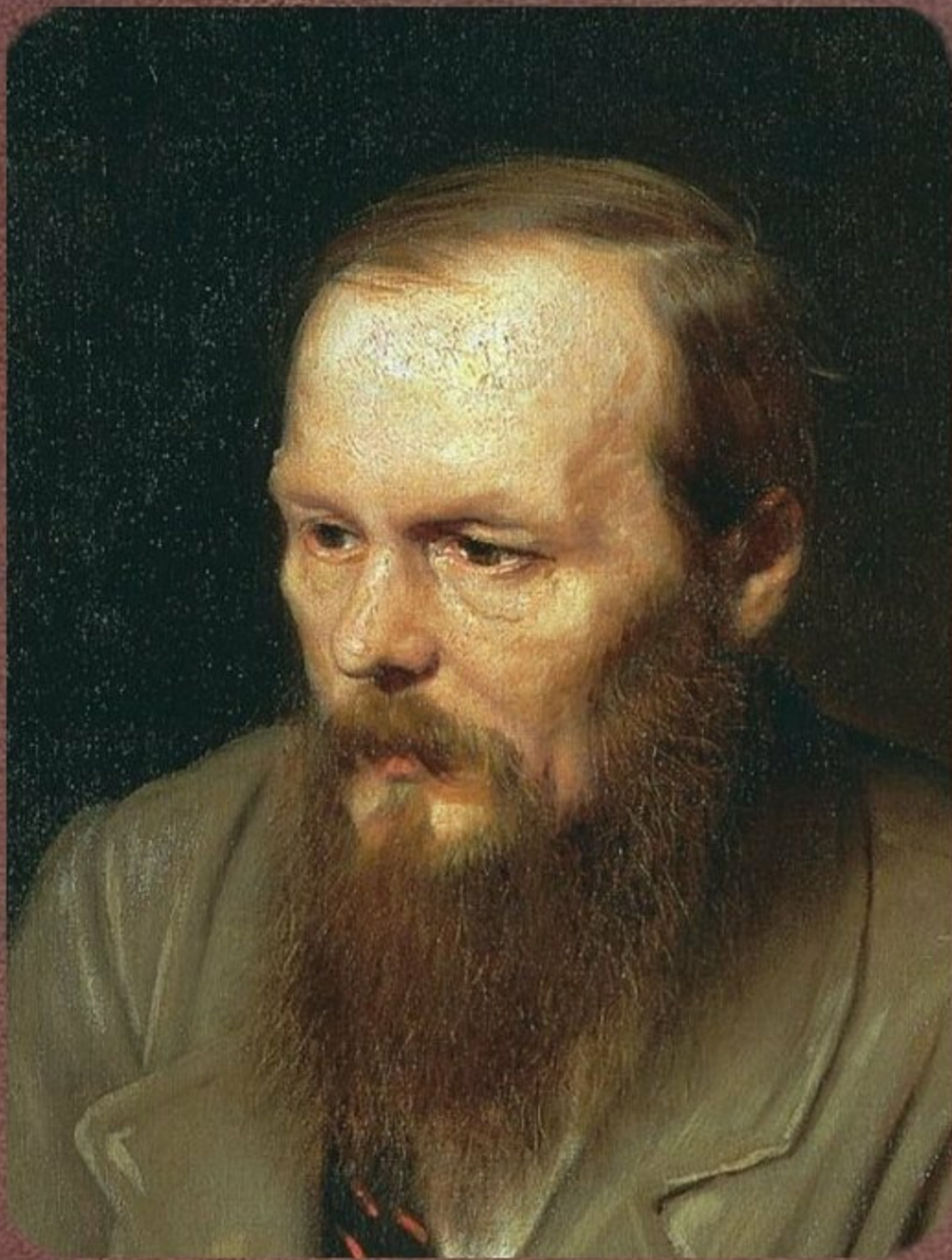


НИКОЛАЙ НАСЕДКИН



ДОСТОЕВСКИЙ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

12+

Николай Наседкин
Достоевский. Энциклопедия

«ЛитРес: Самиздат»

2003

Наседкин Н. Н.

Достоевский. Энциклопедия / Н. Н. Наседкин — «ЛитРес: Самиздат», 2003

В данной энциклопедии под одной обложкой собраны сведения практически обо всех произведениях и героях Достоевского, людях, окружавших писателя, понятиях, так или иначе связанных с его именем. Материал носит информативный и максимально объективный характер. Издание содержит 150 иллюстраций, написано популярным языком и адресовано самому широкому кругу читателей. Впервые энциклопедия «Достоевский» Н. Наседкина вышла в московском издательстве «Алгоритм» в 2003 году, была переиздана книжным холдингом «Эксмо» в 2008-м, переведена на иностранные языки. На обложке фрагмент картины В. Г. Перова «Ф. М. Достоевский» (1872).

© Наседкин Н. Н., 2003

© ЛитРес: Самиздат, 2003

Содержание

Предисловие	11
Ф. М. Достоевский	14
	21
Акушкин муж	21
Атеизм	23
Бедные люди	24
Белые ночи	30
Бесы	32
Бобок	41
Борис Годунов	44
<Борьба нигилизма с честностью (Офицер и нигилистка)>	45
Брак	46
Братья Карамазовы	47
Введение	55
Великолепная мысль. Иметь в виду	56
Весенняя любовь	57
Вечный муж	58
Влас	61
Вопрос об университетах	62
<В повесть Некрасову>	63
Вступление <к альманаху “1 апреля”>	64
Выставка в академии художеств за 1860—61 год	65
Г-н —бов и вопрос об искусстве	66
Гоголь и Островский	68
Господин Прохарчин	69
Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах	70
Два лагеря теоретиков	71
Две заметки редактора	72
Двойник	73
Детская сказка	75
Дневник писателя. 1873	76
Дневник писателя. 1876	80
Дневник писателя. 1877	94
Дневник писателя. 1880	112
Дневник писателя. 1881	114
Дорого стоят детишки...	116
<Драма. В Тобольске...>	117
Дядюшкин сон	118
Евгения Гранде	121
Ёлка и свадьба	122
Жид Янкель	124
<Житие великого грешника>	125
Журнальная заметка	127
Журнальные заметки	128
Зависть	129
<Заметка о Слепцове>	130

Записки из Мёртвого дома	131
Записки из подполья	135
Записки лакея о своём барине	137
Заседание общества	138
Зимние заметки о летних впечатлениях	139
Знакомство моё с Белинским	140
Зубоскал	141
Игрок	142
Идея <Чиновник, скучно...>	144
Идея. Юродивый (присяжный поверенный)	145
Идиот	146
Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга	151
Иностранные события	152
Исповедь	153
<История Карла Ивановича>	154
История о. Нила	155
Как опасно предаваться честолюбивым снам	156
Каламбуры в жизни и в литературе	157
<Каргузов>	158
Кашкадамов	159
Книжность и грамотность	160
Крокодил	161
Кроткая	164
Литературная истерика	166
Маленькие картинки	167
Маленький герой	168
Мальчик у Христа на ёлке	169
Мария Стюарт	170
<Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?...>	171
Мечтатель	172
Молодое перо	173
Мужик Марей	174
Мысль на лету	175
На европейские события в 1854 году	176
<На коронацию и заключение мира>	177
На первое июля 1855 года	178
Наши монастыри	179
Необходимое заявление	180
Необходимое литературное объяснение	181
<Не разбойничай, Федул...>	182
Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском	183
Неточка Незванова	184
Новые повести	186
Об игре Васильева в «Грех да беда на кого не живёт»	187
Образцы чистосердечия	188
<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год>	189
<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1862 год>	190
<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1863 год>	191

<Объявление об издании журнала «Эпоха» после кончины М. М. Достоевского>	192
<Объяснения и показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев>	193
Одна мысль (поэма)	196
<Описывать всё сплошь одних попов...>	197
Опять «Молодое перо»	198
Ответ редакции «Времени» на нападение «Московских ведомостей»	199
Ответ «Русскому вестнику»	200
Ответ «Свистуну»	201
Отцы и дети	202
Петербургская летопись	203
Петербургские сновидения в стихах и прозе	204
План для рассказа (в «Зарю»)	205
Повесть об уничтоженных канцеляриях	206
Подросток	207
Пожар в селе Измайлове	213
Ползунков	214
По поводу элегической заметки «Русского вестника»	215
Попрошайка	216
Последние литературные явления. Газета «День»	217
<Предисловие к публикации перевода романа В. Гюго	218
<Предисловие к публикации «Три рассказа Эдгара Поэ»>	219
Преступление и наказание	220
Приговор	226
Примечание <к статье Н. Страхова	228
<Примечание к статье Н. Н. Страхова	229
<Примечание к статье «Процесс Ласенера»>	230
Пушкин	231
Пушкинская речь	234
Пьяненькие	235
Рассказ Плисмьлькова	236
Рассказы Н. В. Успенского	237
Роман в девяти письмах	238
<Роман о князе и ростовщике>	239
<Роман о помещике>	240
Ростовщик	241
Рулетенбург	242
Ряд статей о русской литературе	243
Сбритые бакенбарды	244
«Свисток» и «Русский вестник»	245
Село Степанчиково и его обитатели	246
<Сибирская тетрадь>	248
Скверный анекдот	249
Слабое сердце	250
Славянофилы, черногорцы и западники,	252
Смерть поэта (Идея)	254
Сон смешного человека	255

Сороковины	257
Социализм и христианство	258
Стена на стену	259
Столетняя	260
У Тихона	261
Униженные и оскорблённые	262
Хозяйка	265
Честный вор	266
Чтобы кончить	267
Чужая жена и муж под кроватью	268
Шут	269
Щекотливый вопрос	270
Blanche (mademoiselle Blanche; Бланш; m-lle Зельма)	271
M-me M* (Natalie)	273
M-r M*	274
NN (Иван NN, генерал NN)	275
A—в	276
Авдотья Игнатьевна	277
Аграфена	278
Азорка (пёс)	279
Аким Акимыч	280
Акулина Анкудимовна (Кудимовна)	282
Алей	283
Александр Демьянович	284
Александр Петрович	285
Александр Семёнович	286
Александра Михайловна	287
Александра Семёновна	289
Алексей	290
Алексей (Алёша)	291
Алексей Егорович	292
Алексей Иванович	293
Алёна Ивановна	295
Алёна Фроловна	297
Алмазов (Алмазов Андрей)	298
Амишка (собачка)	299
Андреев Николай Семёнович	300
Андрей	302
Андрей Филиппович	303
Андроников Алексей Никанорович	304
Анкудим Трофимыч	305
Анна Фёдоровна	306
Антипова Анна Николаевна	308
Аполлон	309
Арина	311
Артемьева Елизавета Михайловна (Лизанька)	312
Архипов	313
Астафий Иванович	314

Астлей	315
Афанасий	316
Афердов	317
Афросиньюшка	318
Ахиллес	319
Ахмаков	320
Ахмакова Катерина Николаевна	321
Ахмакова Лидия	323
Б.	324
Б—кий (Б—ский; Б.)	326
Б—м	328
Бабушка	329
Багаутов Степан Михайлович	330
Баклушин Александр	331
Барашкова Настасья Филипповна	332
Барон Р.	334
Бахмутов	335
Бахчеев Степан Алексеевич	336
Безмыгин	337
Белка (собака)	338
Белоконская (княгиня Белоконская)	339
Берендеев Олсуфий Иванович	340
Берендеева Клара Олсуфьевна	341
Берестова Катишь	342
Блондинка	343
Блюм Андрей Антонович (фон Блюм)	344
Бобыницын	345
Бубнова Анна Трифионовна (мадам Бубнова)	346
Бумштейн Исай Фомич	347
Бурдовский Антип	349
Быков	350
Бьоринг (барон Бьоринг)	352
Валковский Алексей Петрович (Алёша)	353
Валковский Пётр Александрович (князь Валковский)	354
Варвинский	357
Варламов	358
Васин Григорий	359
Васька (козёл)	362
Вася	363
Вахрамеев Нестор Игнатьевич	365
Великий инквизитор	366
Вельчанинов Алексей Иванович	370
Вердень Альфонсина Карловна, де (Альфонсинка)	372
Версилов Андрей Петрович	373
Версилов-младший	376
Версилова Анна Андреевна	377
Верховенский Пётр Степанович	378
Верховенский Степан Трофимович	380
Верховцев Иван	382

Верховцева Агафья Ивановна	383
Верховцева Катерина Ивановна	384
Видоплясов Григорий	386
Виргинская (девица Виргинская)	387
Виргинская Арина Прохоровна	388
Виргинский	390
Владимир Семёнович	392
Ворохова	393
Врублевский	394
Вурмергельм, барон	395
Вурмергельм, баронесса	396
Г—в Антон Лаврентьевич	397
Г—ков (Г—в)	398
Конец ознакомительного фрагмента.	399

Всем «людям Достоевского» посвящается

Предисловие

О Достоевском написаны тысячи книг, мириады.

И всё же данный труд выделяется в этом необъятном море исследовательских и справочных изданий. Впервые в мировом достоевковедении под одной обложкой собраны сведения практически обо всех произведениях писателя (написанных и ненаписанных), его героях, людях, окружавших Достоевского, понятиях, так или иначе связанных с его именем. Не только собраны, но и расположены в очень удобном порядке. Важно и то, что этот труд, несмотря на энциклопедичность, – авторский: то есть обладает своим индивидуальным стилем, ритмом, интонацией и к тому же написан без излишней академичности, доступным языком. При этом автор постарался избежать пристрастности: издание носит чисто информативный и максимально объективный характер – никакой полемики, никаких оценок, никаких спорных гипотез, никаких похвал или порицаний чужим текстам (практически, имена достоевковедов и названия их трудов приведены только в разделе «Литература о Достоевском»). Главные источники цитирования – тексты самого Достоевского (художественные произведения, публицистика, письма, записные тетради) и воспоминания современников о нём.

«Энциклопедия» состоит из 3-х основных разделов: «Произведения», «Персонажи» и «Вокруг Достоевского».

Раздел I содержит без малого 150 статей. Сюда включены все художественные и публицистические произведения (кроме приписываемых Достоевскому), а также основные неосуществлённые замыслы (о которых сохранились, помимо названия, хоть какие-то сведения о сюжете, героях), самые значимые примечания и предисловия Достоевского-редактора к произведениям других авторов.

Приводится название произведения – полужирным шрифтом прописными буквами без кавычек (названия редакторские, например, **<КАРТУЗОВ>**, даются в угловых скобках); авторское жанровое определение (если есть) – полужирным шрифтом; авторский подзаголовок – полужирным курсивом; далее указаны жанр (если он не совпадает с авторским определением), место первой публикации, год, номер издания и в скобках римскими цифрами указан том *ПСС*, в котором помещено произведение – например: **БЕЛЫЕ НОЧИ. Сентиментальный роман (Из воспоминаний мечтателя)**. Повесть. ОЗ, 1848, № 12. (II). Ниже в алфавитном порядке перечислены основные персонажи, краткое содержание произведения, история его создания и публикации.

Художественные и некоторые особо значимые публицистические произведения из «*Дневника писателя*» вынесены в отдельные статьи.

Раздел II. Здесь даны сведения об основных персонажах художественных произведений Достоевского (свыше 530) – имеющих имя и более-менее действующих, а не только упоминаемых. В некоторых случаях, когда ни имя, ни фамилия героя не названы, он выводится под «псевдонимом»-определением, под каким чаще всего фигурирует в повествовании, например: *Генерал*, *Мальчик*, *Мечтатель*... Персональных статей удостоены некоторые «герои»-животные, играющие определённую роль в сюжете (собака *Амишка*, козёл *Васька*, конь *Танкред*...)

Приводится полная фамилия, имя, отчество или фамилия, или имя персонажа (прописным написанием обозначена основная часть); при необходимости в скобках также полужирным шрифтом указано имя, под которым герой чаще всего фигурирует в повествовании, например: **ДЕМЕНТЬЕВ Николай (Миколка)**, или другой вариант имени, отчества или фамилии: **BLANCHE (mademoiselle Blanche; Бланш; m-lle Зельма)**; **ЛУИЗА (Лавиза) ИВАНОВНА**. Далее в скобках дано название произведения, в котором действует данный герой, затем основные имеющиеся о нём сведения: титул, чин, социальное положение, профессия, должность и т. п., после этого – сведения о степени его родства или взаимоотношениях с

другими персонажами. После этого приведены портрет героя, его характеристика (авторская или других персонажей) и пунктир его роли в повествовании. Стоит ещё раз подчеркнуть, что, в отличие от подобного рода изданий, здесь даны не субъективные мнения-рассуждения отдельных литературоведов и критиков о герое, а фактические текстуальные сведения о нём с минимальным комментарием. В заключение статьи указаны данные (если они есть) о связи персонажа с героями других произведений Достоевского и вероятных прототипах.

Раздел III объединяет словарные статьи трёх видов (их – более 700): а) сведения о людях, так или иначе связанных с Достоевским: родных, близких, знакомых, а также деятелях литературы, науки, общественной мысли и т. п., с которыми писатель лично знаком не был, но без которых «мир Достоевского» представить невозможно (*О. де Бальзак, Л. Н. Толстой*); б) краткие сведения о географических местах (*Старая Русса*), учреждениях (*Главное инженерное училище*), изданиях (*«Время»*) и т. п., связанных с биографией писателя; в) некоторые слова-понятия, часто встречающиеся в текстах Достоевского или имеющие сугубо специфическое важное значение в его творчестве и жизни (*франшировать, почвенничество, ступиваться*).

В статьях о персоналиях указаны фамилия, имя, отчество, годы жизни, самые общие биографические сведения и, главное, данные о связях человека с Достоевским. Понятно, что этот раздел мог включить в себя тысячи имён, но вряд ли стоит отдельно упоминать-рассказывать, к примеру, о каждом каторжнике *Омского* острога или учащемся пансиона *Л. И. Чермака*, с которыми волею судьбы Достоевский виделся-встречался, но которые не оставили ни малейшего следа в его жизни.

Рамки энциклопедии обусловили сжатость и краткость подачи материала. Но, думается, даже такие краткие сведения в 1-м разделе о романе или повести в целом и сведения во 2-м о всех героях произведения дают в совокупности полное представление о нём, а краткий биографический очерк, открывающий «Энциклопедию», и материалы 3-го раздела рисуют довольно полную историю жизни и творчества Достоевского. Тому же, кто захочет шире познакомиться с материалом, подсказкой станет список изданий о писателе в конце книги.

Для удобства читателей заголовки статей внутри самих статей, вопреки «энциклопедическим» правилам, даны полностью, а не в сокращении. Также в виду того, что издание рассчитано на массового читателя, текст не загромождается излишними ссылками на источники: при цитировании текстов самого Достоевского указываются название произведения и, как правило, глава (проза и публицистика), дата (письма), в отдельных случаях – том и страница *ЛСС* (записные тетради, черновики); ссылка на чужие тексты даётся только при прямом цитировании – в квадратных скобках. В текстах Достоевского слово-понятие «Бог» и его местоименные эквиваленты приводятся с заглавной буквы, как они и писались в обязательном порядке в XIX в.

Курсивом в тексте (кроме цитат и условных сокращений) выделены слова, вынесенные в отдельные статьи. Переводы с иностранного в цитатах даны тут же в квадратных скобках.

Завершают энциклопедию следующие разделы: **«Список условных сокращений»**, **«Основные даты жизни и творчества Достоевского»**, **«Литература»** (сюда внесены, в основном, те издания, которые в той или иной мере были использованы при создании данной «Энциклопедии»), **«Сводный указатель»**.

Поэтессе Е. Ю. Кузьминой-Караваевой (известной более как – мать Мария) принадлежат замечательные слова: «Без преувеличения можно сказать, что явление Достоевского было некой гранью в сознании людей. И всех, кто мыслит теперь после него, можно разделить на две группы: одни – испытали на себе его влияние, прошли через муку и скорбь, которую он открывает в мире, стали “людьми Достоевского”. И если они до конца пошли за его мыслью, то, так же как и он, могут говорить: “Через горнило сомнений моя осанна прошла”. И другие люди, – не испытывавшие влияния Достоевского. Иногда они тоже несут свою осанну. Но им её

легче нести, потому что они не проводят её через горнило сомнений. Они – всегда наивнее и проще, чем люди Достоевского, они не коснулись какой-то последней тайны в жизни человека и им, может быть, легче любить человека, но и легче отпадать от этой любви...»

Вот этим-то «людям Достоевского» и посвящена данная «Энциклопедия», в том числе и всем тем бесчисленным достоевсковедам, чьи труды автор прочёл-изучил за более чем 30-летнюю историю своих неустанных путешествий в мир Достоевского.

В такой книге, противоречащей по замыслу прутковскому «Нельзя объять необъятное», упущений и ошибок, конечно же, не миновать. Отзывы, пожелания, замечания, предложения можно присылать не только на адрес издательства, но и автору по электронной почте – niknas2000@mail.ru; или оставлять их в Гостевой книге на его персональном сайте – www.niknas.hop.ru или www.niknas.narod.ru.

Заранее – спасибо!

Ф. М. Достоевский *(Краткий биографический очерк)*



Ф. М. Достоевский. *Литография П. Ф. Бореля, 1862 г.*

В четверг 29 января 1881 г. в Петербурге устраивался традиционный вечер памяти *А. С. Пушкина*. Исполнялось 44 года со дня его гибели. Устроители вечера не сомневались, что зал будет переполнен, ибо заранее уведомили в афишах, что в нём примет участие Достоевский. Слава этого писателя к тому времени достигла в России апогея. Только что закончилась публикация романа *«Братья Карамазовы»*, персональный журнал Достоевского *«Дневник писателя»* расходился внушительным тиражом, незадолго до того на открытии памятника Пушкину в Москве речь Фёдора Михайловича произвела фурор, стала в полном смысле слова событием. Сотни людей писали Достоевскому письма, газеты пестрели его именем, на публичные чтения с его участием народ валил толпами...

Но, увы, накануне пушкинского траурного вечера, в среду 28 января, Достоевский сам уже лежал в гробу. Он сгорел в три дня от обострения своей хронической болезни – эмфиземы лёгких. Прожил он 59 лет и неполных 3 месяца, и вот уже более ста лет продолжает активно жить среди нас своими гениальными произведениями. По данным ЮНЕСКО, Досто-

евский сегодня – один из самых читаемых писателей в мире. Конечно, есть немало людей, которые не любят, не понимают и не воспринимают прозу Достоевского.

Таких людей просто жаль.

* * *

Фёдор Михайлович Достоевский родился 30 октября /11 ноября н. ст./ 1821 г. в Москве, в семье лекаря больницы для бедных (которая позже, в 1828 г., получит название – *Мариинской*) *Михаила Андреевича Достоевского*.

Больница находилась на окраинной тогда улице *Божedomке* (ныне: ул. Достоевского, д. 2), квартира Достоевских располагалась в правом флигеле (если смотреть с улицы), вскоре семья переехала в левый флигель, где в тесных комнатах среди многочисленных братьев и сестёр прошло детство будущего писателя.



Левый флигель Мариинской больницы для бедных в Москве.

Особенно дружен был Фёдор со старшим братом-погодком *Михаилом*, с которым они вместе занимались дома под началом отца и приходящих учителей, затем вместе учились в закрытом частном пансионе *Л. И. Чермака*. Весной 1837 г. от чахотки умирает мать семейства, *М. Ф. Достоевская*, и вскоре отец отвозит Михаила и Фёдора в Петербург, где оба брата занимаются в подготовительном пансионе *К. Ф. Костомарова*, по окончании которого должны были поступить в *Главное Инженерное училище*.

Однако ж старший брат не прошёл медицинскую комиссию, а Фёдор, проучившись почти 6 лет, получил звание подпоручика и начал службу в Инженерном департаменте. Отец к тому

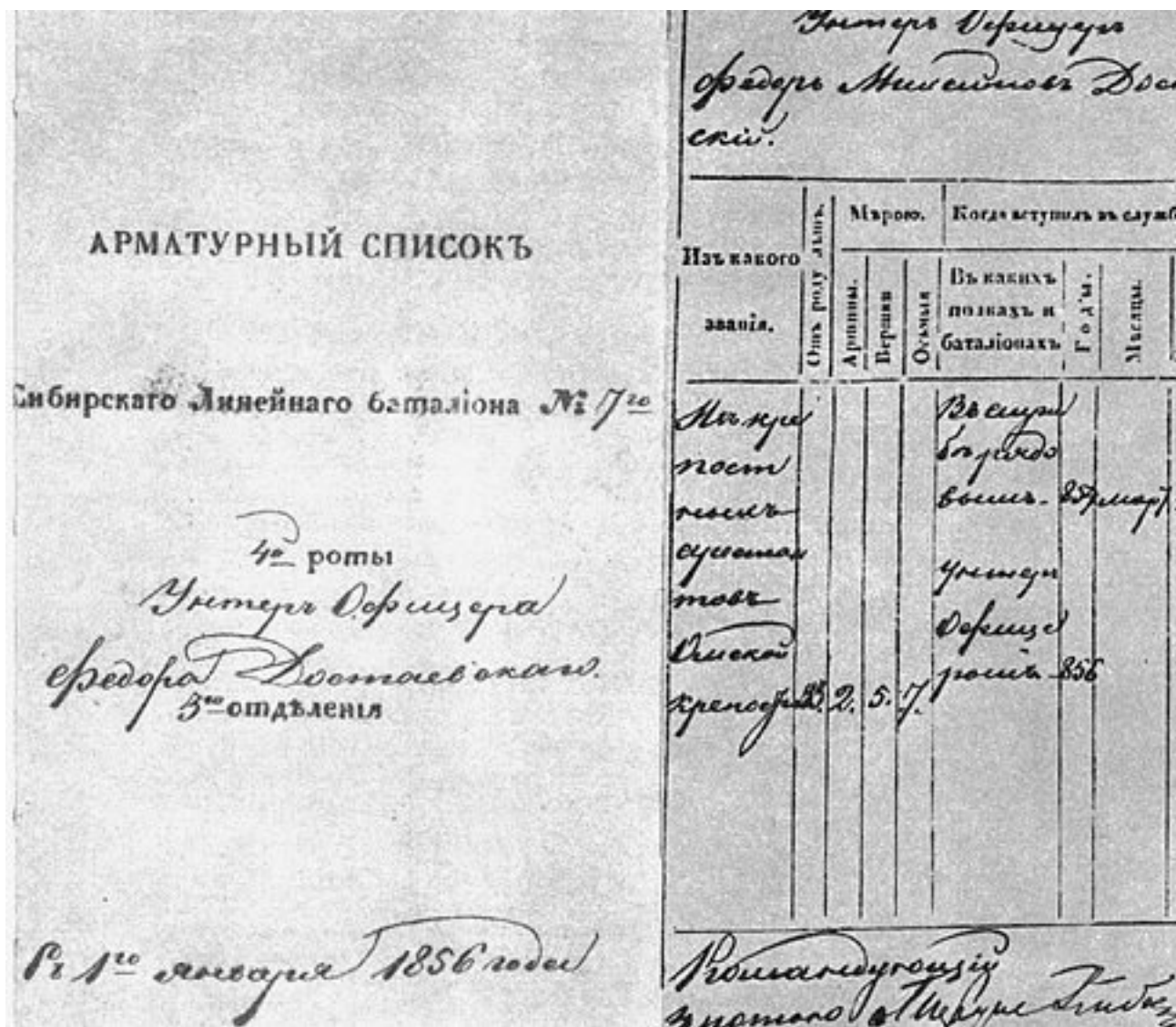
времени умер, и уже никто не в силах был помешать будущему писателю принять судьбоносное решение: через год он уходит в отставку и полностью посвящает себя литературе. К тому времени, в 1844 г., уже был опубликован в журнале *«Репертуар и Пантеон»* его первый творческий опыт – перевод романа *Оноре де Бальзака «Евгения Гранде»*.

В мае 1845 г. Достоевский закончил свой дебютный роман *«Бедные люди»*, который вызвал почти единодушное одобрение, сразу же принёс ему славу в литературных кругах, ввёл его в круг писателей *«натуральной школы»*, группировавшихся вокруг *В. Г. Белинского*. Последующие произведения начинающего автора – *«Двойник»*, *«Господин Прохарчин»*, *«Хозяйка»* и др. – такого шумного успеха уже не имели, наоборот, вызвали шквал острой критики, в том числе и со стороны *«неистового Виссариона»*. Молодой писатель, с первого же шага задавший сам для себя чрезвычайно высокую творческую планку, болезненно воспринимал несправедливые, как ему казалось, нападки и упорно продолжал работать: он надеялся, предчувствовал и знал, что ему предстоит сказать своё, новое, слово в литературе. В конце этого, раннего, периода своего творчества Достоевский создаёт повесть *«Белые ночи»* и первую часть романа *«Неточка Незванова»* – произведения, которые до сих пор занимают видное место в творческом наследии писателя.

Между тем, с 1847 г. он начал посещать собрания тайного общества *М. В. Петрашевского*, а чуть позже становится и участником кружка, организованного радикально настроенным петрашевцем *Н. А. Спешневым*, мечтавшим «произвести переворот в России». На одном из собраний у Петрашевского Достоевский зачитал распространявшееся нелегально письмо Белинского к *Н. В. Гоголю*, что послужило впоследствии главным обвинительным пунктом против него в ходе следствия.

Автора «Бедных людей» арестовали вместе с другими петрашевцами 23 апреля 1849 г. и заключили в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости. Через несколько месяцев он был приговорён в числе других товарищей по тайному обществу к смертной казни «через расстреляние». 22 декабря 1849 г. приговорённых вывели на эшафот, весь предварительный обряд смертной казни был исполнен до мелочей, но в самую последнюю секунду казнь была остановлена по «милости» царя. Окончательный высочайший вердикт Достоевскому был таков: четыре года каторжных работ и впоследствии – служба в армии рядовым.

Каторгу писатель отбывал в *Омском* остроге, а с 1854 г. начал солдатскую службу в *Семипалатинске*. После смерти *Николая I* Достоевский по ходатайству высокопоставленных поклонников его таланта был произведён в офицеры, появились надежды вернуться к настоящей жизни, литературе.



Арматурный список унтер-офицера Достоевского.

В феврале 1857 г. прапорщик Достоевский женился на вдове местного чиновника М. Д. Исаевой. Брак оказался не очень долгим и не совсем счастливым. Мария Дмитриевна болела чахоткой, болезнь прогрессировала, отражаясь на и без того не лёгком характере этой нервной женщины, и свела её в могилу в 1864-м. Однако ж на первых порах Достоевский был горячо влюблён, счастлив, жизненные перемены к лучшему, устоявшийся семейно-домашний быт способствовали возвращению, после многолетнего вынужденного перерыва, к творческому труду. В Сибири он создаёт две комические, водевильные повести (и это после каторги и солдатчины!) – «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели». К сожалению, надежды Достоевского этими вещами (особенно – «Селом Степанчиковым») сразу же триумфально вернуться в литературу, полностью восстановить своё писательское имя – не оправдались: ни тогдашняя критика, ни читательская публика сибирских повестей автора «Бедных людей» практически не заметили.

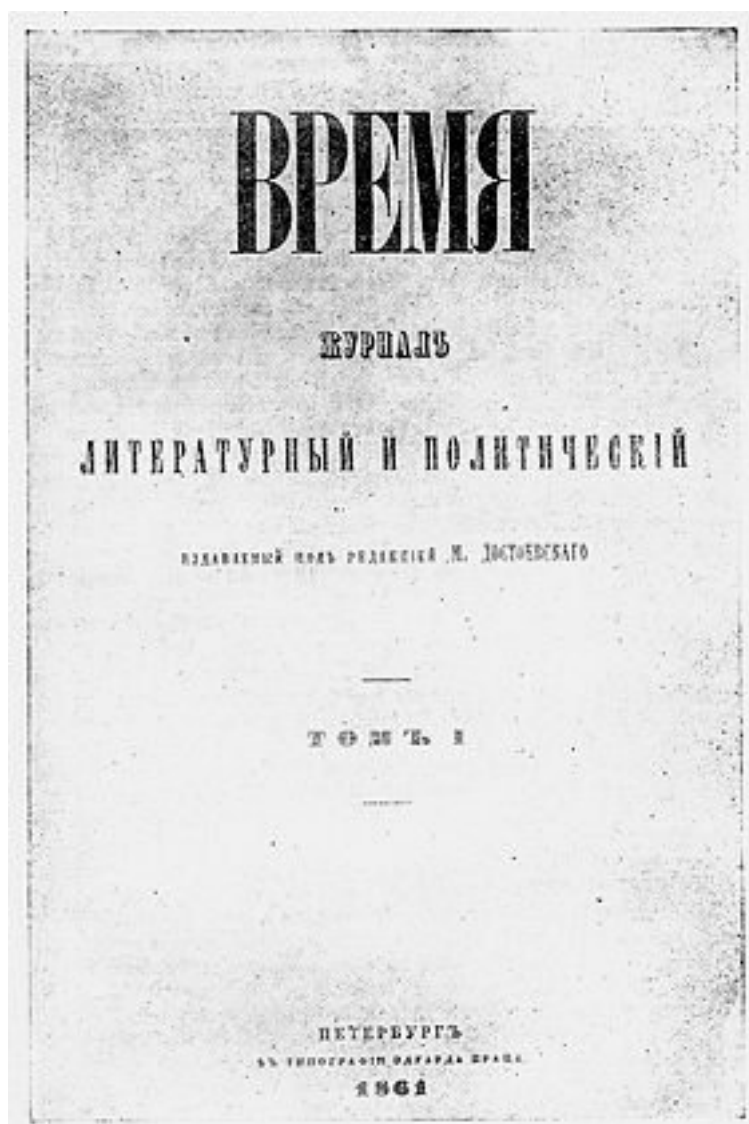
В 1859 г. Достоевский, полный замыслов, творческих планов и надежд, возвращается в Европейскую Россию. Ему было запрещено жить в столицах, и на первых порах писатель с женой и пасынком поселяются в Твери (послужившей впоследствии «прототипом» провинциального города, в «Бесах»), но через несколько месяцев ему удаётся выхлопотать разрешение вернуться в Петербург. И с этого времени, с начала 1860-х гг., происходит как бы второе рождение писателя. Впереди оставалась всего треть жизненного срока, за который суждено ему

было создать свыше 90 процентов своего творческого наследия (в академическом 30-томном ПСС произведения докаторжного периода занимают всего 2 тома), стать гением русской и всей мировой литературы.



Диплом о производстве Достоевского в прапорщики.

После возвращения в Петербург также начинается журнальная и редакторская деятельность Достоевского. Вместе с братом Михаилом (который к тому времени был уже довольно известным критиком и беллетристом) он основывает журнал «Время», ставший за короткое время одним из самых популярных периодических литературных изданий. Именно на страницах «Времени» появляются произведения, которые возвращают и увеличивают славу уже совсем почти забытому автору «Бедных людей» – «Униженные и оскорблённые» и «Записки из Мёртвого дома»... Но вскоре, весной 1863-го, журнал «Время» был запрещён, а основанный через некоторое время на его пепелище новый журнал братьев Достоевских «Эпоха», по разным причинам, уже успеха такого ни читательского, ни, соответственно, финансового не имел и через год его издание пришлось прекратить.



И вообще 1864 г. стал одним из самых чёрных в жизни Достоевского: один за другим умирают родные и близкие люди – жена, брат, друг и соратник по литературе поэт *Ал. А. Григорьев*; терпит крах журнальная деятельность; он попадает в жесточайшую и многолетнюю кабалу к кредиторам; всё более мучительными становятся отношения с женщиной, которую он страстно любил – *Аполлиной Суловой*...

Но по закону чёрно-белой полосатости жизни наступает вскоре в судьбе Фёдора Михайловича и светлый период, отмеченный двумя грандиозными событиями: он задумывает и создаёт-пишет первый роман из своего «великого пятикнижия» «*Преступление и наказание*» и встречает на своём жизненном пути *Анну Григорьевну Сниткину*, которой суждено было стать его женой, матерью его детей и незаменимым помощником в творчестве до конца жизни.

Сразу после свадьбы, в апреле 1867 г., спасаясь от кредиторов, Достоевский с молодой женой выехал, как он планировал, на несколько месяцев за границу. Добровольная эмиграция продлилась более 4-х лет, они жили, в основном, в Дрездене и Женеве. На чужбине писатель создаёт один из самых своих любимых романов «*Идиот*», пишет повесть «*Вечный муж*», начинает работу над романом «*Бесы*». Летом 1871 г. Достоевские возвращаются на родину. За границей у них родились две дочери – *Соня* (скончавшаяся вскоре после рождения) и *Люба*, а после возвращения домой – сыновья *Фёдор* и *Алексей* (который тоже умер во младенчестве).

После окончания работы над «Бесами» Достоевский вновь обратился к журнальной деятельности: сначала он становится редактором журнала «*Гражданин*», издаваемого князем *В. П. Мещерским*, на страницах которого появляется-рождается «*Дневник писателя*», а затем,

в 1876 г., основывает и начинает единолично выпускать отдельное издание по типу ежемесячного журнала под таким названием. «Дневник писателя» имел необыкновенный успех у читателей, тираж его рос, умножая славу Достоевского – писателя и публициста. На страницах *ДП* публикуется ряд его новаторских художественных произведений, написанных в жанре «фантастического реализма»: «Бобок», «Кроткая», «Сон смешного человека»...

В перерыве между уходом из «Гражданина» и основанием «Дневника писателя» Достоевский пишет роман-исповедь «*Подросток*», а в последние годы жизни из-под его пера выходит самое, может быть, грандиозное творение писателя – «*Братья Карамазовы*». Он собирался писать продолжение этого романа, но 28 января /9 февраля/ 1881 г. жизнь гения оборвалась...

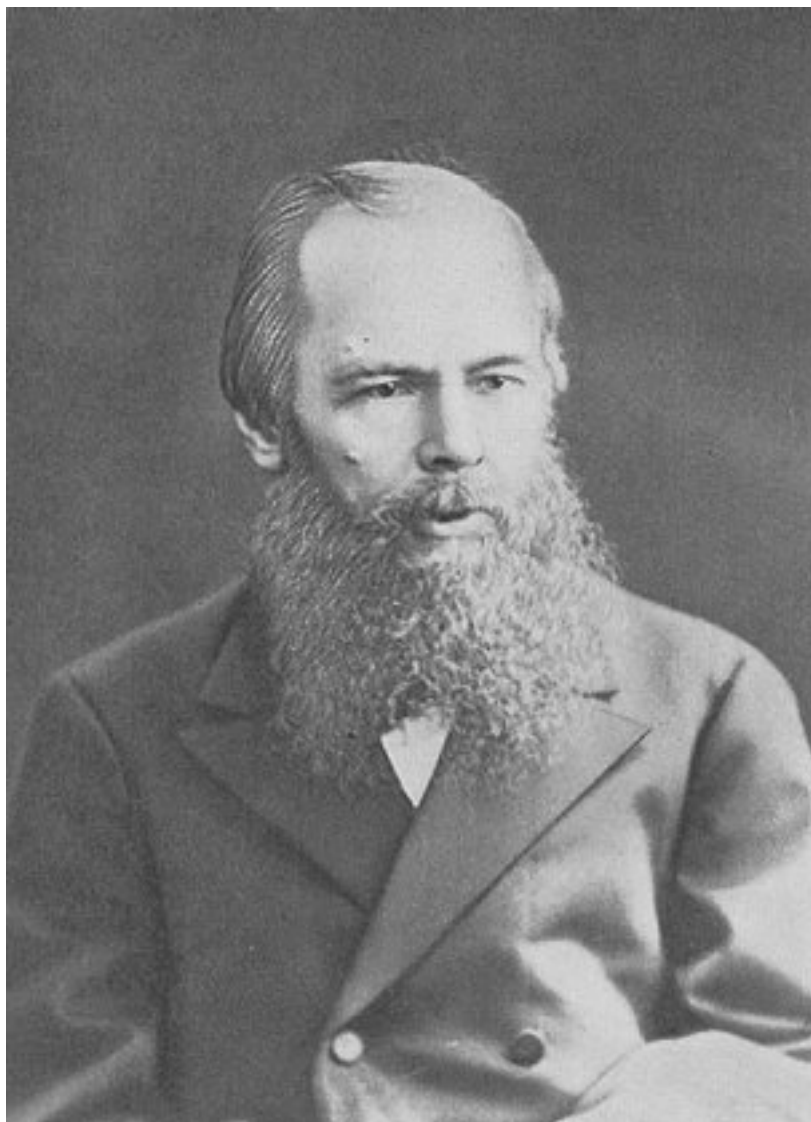
* * *

Незадолго до смерти, когда со всех концов России на имя Достоевского приходили сотни писем от восхищённых читателей и почитателей, газеты и журналы, наоборот, предприняли невиданную травлю автора «Братьев Карамазовых», всячески издеваясь над его пророческой «*Пушкинской речью*» (1880).

И вот издёрганный и больной писатель в одном из писем читает: «Глубокоуважаемый Фёдор Михайлович! Как Ваш единомышленник, как Ваш поклонник, самый ярый, самый страстный (хоть я моложе Вас на целых три десятилетия), умоляю Вас не обращать внимания на поднявшийся лай той своры, которая зовётся текущей прессой. Увы, это удел всякого, кто говорит живое слово, а не твердит в угоду моде пошлые фразы, во вкусе, напр<имер>, современного псевдолиберализма. Верьте, что число Ваших поклонников велико... Вы бросаете семя в самое сердце русского человека, и семя это живуче и плодотворно, я в этом глубоко убеждён...» Под письмом подпись и обратный адрес: земский врач В. Никольский, село Абакумовка Тамбовского уезда.

Как же прав оказался этот молодой земский врач из-под глухomanного Тамбова! Семена, посеянные Достоевским в наших душах, живучи и плодотворны. В той же Пушкинской речи заключительные слова звучали так: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унёс с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем...» И эти слова можно полностью отнести к самому Достоевскому. Нам ещё предстоит разгадывать и разгадывать тайны мира, который создал Достоевский.

Великий русский писатель-пророк.



Раздел I. **ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

Акулькин муж

Рассказ из «Записок из Мёртвого дома» (Ч. 2, гл. IV). Вр, 1862, № 3. (IV)

Основные персонажи: Акулина Анкудимовна (Кудимовна);

Анкудим Трофимыч;

Морозов Филька;

Шишков.

Повествователь «Записок из Мёртвого дома» в душную бессонную ночь в палате острожного госпиталя невольно подслушал эту исповедь арестанта Шишкова, который рассказывал

соседу по койкам, как и почему попал он на каторгу. Это была одна из тех историй, о которых в 1-й главе «Записок» сказано: «А между тем у всякого была своя повесть, смутная и тяжёлая, как угар от вчерашнего хмеля...» Муж, горячо любящий жену, из-за ревности начал бить её смертным боем, а затем и вовсе зарезал... Это – реальная история, которую Достоевский кратко записал на полях *«Сибирской тетради»*. Рассказ стилизован под чужой сказовый тон.

Атеизм

Неосуш. замысел, 1868.

За границей, заканчивая работу над романом *«Идиот»*, Достоевский задумывает ряд сюжетов-замыслов, в том числе и – большого произведения под таким названием. Впервые о нём упоминается в письме к А. Н. Майкову из Флоренции (11 /23/ дек. 1868 г.): «Здесь же у меня на уме теперь 1) огромный роман, название ему «Атеизм» (ради Бога, между нами), но прежде чем приняться за который, мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных. Он поспеет, даже при полном обеспечении в работе, не раньше как через два года. Лицо есть: русский человек нашего общества, *и в летах*, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов, – *вдруг*, уже в летах, теряет веру в Бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличился. (Разгадка психологическая; глубокое чувство, человек и русский человек). Потеря веры в Бога действует на него колоссально. (Собственно действие в романе, обстановка – очень большие). Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попадает на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины – и под конец обретает и Христа и русскую землю, русского Христа и русскую землю. (Ради Бога, не говорите никому; а для меня так: написать этот последний роман, да хоть бы и умереть – весь выскажусь) <...> Но покамест нужно жить! “Атеизм” на продажу не потащу...»

Об «Атеизме» писатель будет упоминать ещё не раз (в письмах к тому же А. Н. Майкову и племяннице С. А. Ивановой), но срочная работа над подготовкой «Идиота» к отдельному изданию и над повестью (рассказом) *«Вечный муж»* мешала приступить к осуществлению замысла. К тому же, как подчёркивал Достоевский, мысль его могла быть осуществлена только в России, ибо нужны были свежие впечатления русской жизни. Однако ж он продолжал разрабатывать сюжет, замысел расширялся, претерпевал изменения и, в конце концов, к лету 1869 г. перерос в новый, под названием – *«Житие Великого грешника»*, из которого, в свою очередь, «выросли» отдельные сюжетные линии трёх последних романов Достоевского – *«Бесы»*, *«Подросток»* и *«Братья Карамазовы»*.

Бедные люди

Роман. *«Петербургский сборник»*, 1846. (I)

Основные персонажи:

Анна Фёдоровна;

Быков;

Горшков;

Девушкин Макар Алексеевич;

Добросёлова Варвара Алексеевна;

Емельян Иванович;

Емельян Ильич (Емеля);

Марков;

Покровский Захар Петрович;

Покровский Пётр;

Ратазяев;

Саша;

Снегирёв;

Федора.



Ф. М. Достоевский. Художник К. А. Трутовский, 1847 г.

Роману предпослан эпиграф – фрагмент рассказа *В. Ф. Одоевского* «Живой мертвец»: «Ох уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже: читаешь... невольно задумываешься, – а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил» (у Одоевского вместо «запретил» – «запретить»).

Первое произведение Достоевского имеет эпистолярную форму. Оно составлено из переписки Девушкина и Вареньки Добросёловой. Перу первого принадлежит 31 письмо, перу второй – 24. Кроме того, в роман включена вставная повесть о студенте Покровском, которую написала Варенька. Действие длится в течение полугода – с начала апреля по конец сентября.

Читателю остаётся неизвестным, как и когда познакомились герои романа, в момент начала действия они живут в соседних домах, из окна Девушкина видно окно квартиры, которую снимает Варенька. Выясняется, что Макар Алексеевич осмеливается, несмотря на пересуды, изредка навещать Вареньку (которая по возрасту ему в дочери годится), они встречаются в церкви, даже, бывает, гуляют за городом, но главный способ их общения – переписка. Из неё читатели и узнают всю жизнь героев, а особенно – жизнь-судьбу Вареньки, которая пересылает Девушкину с одним из писем автобиографическую повесть о своей юности и первой любви.

Название романа, конечно, двузначно. С одной стороны, герои романа в прямом смысле бедные (нищие) люди, с другой, – обделённые счастьем, достойные сожаления и, по Далю, возбуждающие сострадание. Хотя, в общем-то, именно в эти полгода они были как раз счастливы – жили друг для друга, любили друг друга, хотя и не решались сами себе и друг другу в этом признаться до конца. Да и то! Любовь их была обречена с самого начала, их нищета, беззащитность и смиренность тому причиной. И хотя наивный Макар Алексеевич надеется, что их любовь-дружба и жизнь по соседству будут продолжаться вечно, появляется некий богатый господин Быков, который и ранее уже имел виды на Вареньку, делает ей предложение, и бедная девушка вынуждена дать согласие, пойти замуж как на каторгу, а Макар Алексеевич Девушкин остаётся в своём убогом углу доживать-погибать в нищете и одиночестве...

* * *

Сам Достоевский на склоне лет в *«Дневнике писателя»* дважды (январь и ноябрь 1877 г.) свидетельствовал, что «Бедные люди» он начал «вдруг» в январе 1844 г., сразу после окончания перевода *«Евгении Гранде»* О. де Бальзака. Но только 30 сентября начинающий писатель признаётся в письме к брату М. М. Достоевскому: «У меня есть надежда. Я кончаю роман в объёме "Eugenie Grandet". Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверно уже и ответ получу за него. Отдам в "Отечественные записки"». (Я моей работой доволен)...»

Но в указанные сроки Достоевскому уложиться не удалось, он продолжал дорабатывать и переписывать «Бедных людей» снова и снова, и в результате роман был закончен только в мае 1845 г. Сотоварищ его по *Инженерному училищу* и будущий писатель Д. В. Григорович, поселившийся с Достоевским как раз в конце сентября 1844 г. на одной квартире, вспоминал о том, как Достоевский работал над первым своим романом: «Достоевский между тем просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он словом не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисованные...» [Д. в восп., т. 1, с. 207]

Григоровичу и посчастливилось стать первым слушателем дебютного произведения никому ещё не известного писателя. Между прочим, к тому времени Григорович уже опубликовал свой первый большой очерк «Петербургские шарманщики» в программном сборнике литераторов *«натуральной школы»* – альманахе Н. А. Некрасова «Физиология Петербурга», имевшем большой успех, имя его в литературных кругах было уже известно. Автор «Шарманщиков» сразу понял-осознал, какую талантливую вещь написал Достоевский и немедленно отнёс её Некрасову, собиравшему материалы для нового сборника. А дальше произошло то, о чём сам Достоевский с нескрываемой гордостью и внутренним восторгом вспоминал через много лет – в том же ДП (1877, янв.): «Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошёл куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о «Мёртвых душах» и читали их, в который раз не помню. <...> Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днём петербургскую ночь. Стояло прекрасное тёплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лёг, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: «С десяти страниц видно будет». Но, прочтя десять страниц, решили прочесть ещё десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. <...> Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: «Что ж такое что спит, мы разбудим его, это выше

сна!» <...> Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы Бог знает сколько переговори-ли, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о “тогдашнем положении”, разумеется, и о Гоголе, цитую из “Ревизора” и из “Мёрт-вых душ”, но, главное, о Белинском. “Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, – да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!” – вос-торженно говорил Некрасов, трясая меня за плечи обеими руками. “Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!” Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное – чувство было дорого, помню ясно: “У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах хорошо!” Вот что я думал, какой тут сон!..»

Некрасов, передавая на следующий день рукопись «Бедных людей» *В. Г. Белинскому*, восторженно воскликнул: «Новый Гоголь явился!», – на что суровый критик укоризненно ска-зал: «У вас Гоголи-то как грибы растут!» Но по прочтении рукописи «неистовый Виссарион» сам пришёл в восхищение, и именно он уже в первом разговоре с молодым автором очень точно объяснил своеобразие и глубину как таланта самого Достоевского, так и его первого произве-дения: «А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, – да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образеставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг всё понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возведена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..» А рекомендуя *П. В. Анненкову* произведение ещё не известного автора, Белинский подчерк-нул: «...роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не сни-лись никому <...>. Это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит...» [*Д. в восп.*, т. 1, с. 214] Позже *В. Н. Майков* в статье «Нечто о русской литературе в 1846 г.» (*ОЗ*, 1847, № 1), определяя своеобразие таланта автора «Бедных людей», как бы поправит Белин-ского: «И Гоголь и г-н Достоевский изображают действительное общество. Но Гоголь – поэт по преимуществу социальный, а г-н Достоевский – по преимуществу психологический...» И уже сам Достоевский в письме к брату, отвергая упрёк в растянутости «Бедных людей», пояснял, что в романе «слова лишнего нет», так как каждое из них по отдельности и все они вместе служат для анализа душевных состояний персонажей изнутри.

Уже в этом первом произведении Достоевского появилась «героиня», которая во всём творчестве писателя будет играть одну из главных ролей – Литература. Макар Девушкин и Варенька Добросёлова, по существу, являются литераторами, ибо из их писем составлено худо-жественное произведение, среди персонажей есть и «настоящий» почти профессиональный сочинитель Ратазьев, кроме того, герои романа читают книги, обсуждают их, в текст «Бедных людей» искусно вплетены пародийные отрывки.

21 января 1846 г. вышел в свет «Петербургский сборник» с «Бедными людьми», которые его открывали. И сам сборник, и роман Достоевского успех имели необыкновенный. Но ещё до выхода некрасовского альманаха начинающий писатель успел уже вкусить сладкие плоды лите-ратурной славы. В письмах той поры к старшему брату Михаилу Достоевский просто задыха-ется от счастья: «Я бываю весьма часто у Белинского. Он ко мне донельзя расположен <...> о “Бедных людях” говорит уже пол-Петербурга...» (8 октября 1845 г.); «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдёт до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любо-пытство насчёт меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвёт на себе

волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. <...> Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет сделать. Белинский любит меня как нельзя более. А днях воротился из Парижа поэт Тургенев <...> и с первого раза привязался ко мне такую привязанностию, такую дружбой, что Белинский объясняет её тем, что Тургенев влюбился в меня. <...> я откровенно тебе скажу, что я теперь упоён собственною славой своей...» (16 ноября 1845 г.)

Однако отзывы критиков были полярно противоположны. Если Белинский несколько раз (ОЗ, 1846, № 2, 3) и (С, 1847, № 1, 11; 1848, № 1) неизменно высоко оценивал первое произведение Достоевского, если А. А. Григорьев («Ведомости С.-Петербургской городской полиции», 1846, № 33; «Финский вестник», 1846, № 9), В. Н. Майков (ОЗ, 1847, № 1) считали появление «Бедных людей» событием в русской литературе, то со страниц, к примеру, «Иллюстрации» и «Северной пчелы» на автора и его роман вылились потоки ругани и злобных насмешек. Ещё бы! Издателем «Иллюстрации» был Н. В. Кукольник, а «Северной пчелы», соответственно, – Ф. В. Булгарин, произведения которых в романе Достоевского стали объектами язвительной пародии. Но дело даже не в пародии (она была следствием), а в том, что Кукольник с Булгариным отлично понимали: с появлением «Бедных людей» их творчество становится вчерашним днём, неактуальным, невостребованным, а «*натуральная школа*» (термин Булгарина), наоборот, выдвигается в первый ряд, завоёвывает умы и сердца читателей.

Достоевский обиду маститых литераторов вполне понимал и, судя по всему, не обижался. Тем более, цену себе он уже знал как никто другой. В письме всё к тому же главному своему confidentу Михаилу он пишет (1 фев. 1846 г.): «Ну, брат! <...> В “Иллюстрации” я читал не критику, а ругательство. В “Северной пчеле” было чёрт знает что такое. Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали Пушкина...» Можно было бы посчитать такое заявление нескромным, но молодой писатель в данном случае почти дословно цитирует начало статьи-рецензии Белинского на «Петербургский сборник», а чуть далее в своём письме Достоевский и вовсе как бы передаёт слово авторитетному критику: «Зато какие похвалы слышу я, брат! Представь себе, что наши все и даже Белинский нашли, что я даже далеко ушёл от Гоголя...»

К сожалению, последующие произведения Достоевского («Двойник», «Роман в девяти письмах», «Господин Прохарчин», «Хозяйка») уже не вызовут восторга ни у «наших» (то есть – Некрасова, Тургенева, Григоровича, Панаева), ни у Белинского, который в своих последних отзывах о «Бедных людях» всё строже указывал на недостатки произведения, в первую очередь – в языке и стиле. В 1847 г., подготавливая роман к отдельному изданию, Достоевский в свете этих замечаний-советов сократил длинноты, сделал стилистическую правку текста. Затем ещё дважды, при подготовке своих собраний сочинений в 1860 и 1865 гг., писатель вносил правку в текст романа.

«Бедные люди» по праву занимают самое значительное место в творчестве «раннего» Достоевского. Белинский подчеркнул в рецензии на «Петербургский сборник», что «так ещё никто не начинал из русских писателей». Сегодня можно смело добавить – и после Достоевского не начал!

БѢДНЫЕ ЛЮДИ.

РОМАНЪ

Федора Достоевскаго.



С. ПЕТЕРБУРГЪ,
ВЪ ТИПОГРАФИИ СЛАВКА ПРАЦА.

—
1847.

Белые ночи

Сентиментальный роман (*Из воспоминаний мечтателя*). Повесть. ОЗ, 1848, № 12.
(II)

Основные персонажи:

Бабушка;

Жилец;

Мечтатель;

Настенька.

Повести предпослан эпиграф – неточная цитата из стихотворения *И. С. Тургенева* «Цветок»: «...Иль был он создан для того, / Чтобы побыть хотя мгновенье / В соседстве сердца твоего?..» В журнальном варианте имелось посвящение поэту *А. Н. Плещееву*.

Произведение состоит из четырёх глав-ночей (Ночь первая. Ночь вторая...), вставного небольшого рассказа «История Настеньки» и завершается главкой-заключением «Утро».

Герой повести, молодой бедный совершенно одинокий человек, который уже восемь лет живёт в Петербурге, но так и не нашёл знакомых. Он поэт по натуре, мечтатель, он способен, как ему кажется, быть счастливым и в одиночестве, но... так хочется порой поделиться с кем-нибудь своими радостями и горестями! Однажды, возвращаясь поздно вечером после загородной прогулки домой, в свой закоптелый угол, Мечтатель видит стоящую у перил канала девушку. Никогда не решился бы он подойти к ней (а так хотелось-мечталось!), если бы не случай: прохожий нетрезвый господин проявил к девушке недвусмысленное внимание, Мечтатель бросается на защиту...

И вот, так случайно познакомившись, Мечтатель и Настенька ещё в течение трёх вечеров встречаются, общаются, исповедуются друг перед другом и – расстаются. Дело в том, что у Настеньки есть жених, который год назад уехал по делам в Москву, обещав ровно через год вернуться и жениться на Настеньке. И вот, как ей стало известно, жених уже три дня в Петербурге, но вестей о себе не подаёт. Мечтателю и выпадает роль конфидента и утешителя бедной девушки. Он, разумеется, влюбляется в Настеньку всем сердцем, но даже и мечтать боится о взаимности, хотя и видит, что она с ним чрезвычайно ласкова... Увы, пропавший было жених объявляется, счастливая Настенька кидается ему в объятия, а бедный Мечтатель остаётся в своём углу опять со своим неизбывным одиночеством, грёзами и чуждыми воспоминаниями об этих нескольких белых ночах. Он счастлив воспоминаниями, он благодарит и благословляет Настеньку за дарованное ею счастье: «Да будет ясно твоё небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..»

* * *

«Белые ночи» Достоевский написал в сентябре-ноябре 1848 г. Произведение это стоит несколько особняком в его творчестве. По светлости и поэтичности тона его можно сопоставить, разве что, только с рассказом «*Маленький герой*» («*Детская сказка*»), который писатель позже создаст-напишет в заключении. По существу это – поэма, большое стихотворение в прозе, посвящённое теме мечтательства как образа жизни, как способа существования и выживания.

Герои-мечтатели появляются уже в первом же произведении писателя, та же *Варенька Добросёлова*, к примеру, так сама себя характеризует: «Я была слишком мечтательна...» Чуть позже, в фельетоне «*Петербургская летопись*» (1847), Достоевский обозначит эту одну из самых кардинальных тем и этот один из самых главных типов во всём его последующем творчестве так: «В характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностью, и человек делается не человеком, а каким-то странным существом среднего рода – мечтателем». Впоследствии мечтателями станут и *Неточка Незванова*, и *Иван Петрович*, и *Подпольный человек*, и *Игрок*, и *Раскольников*, и князь *Мышкин*, и многие, многие другие герои в мире Достоевского.

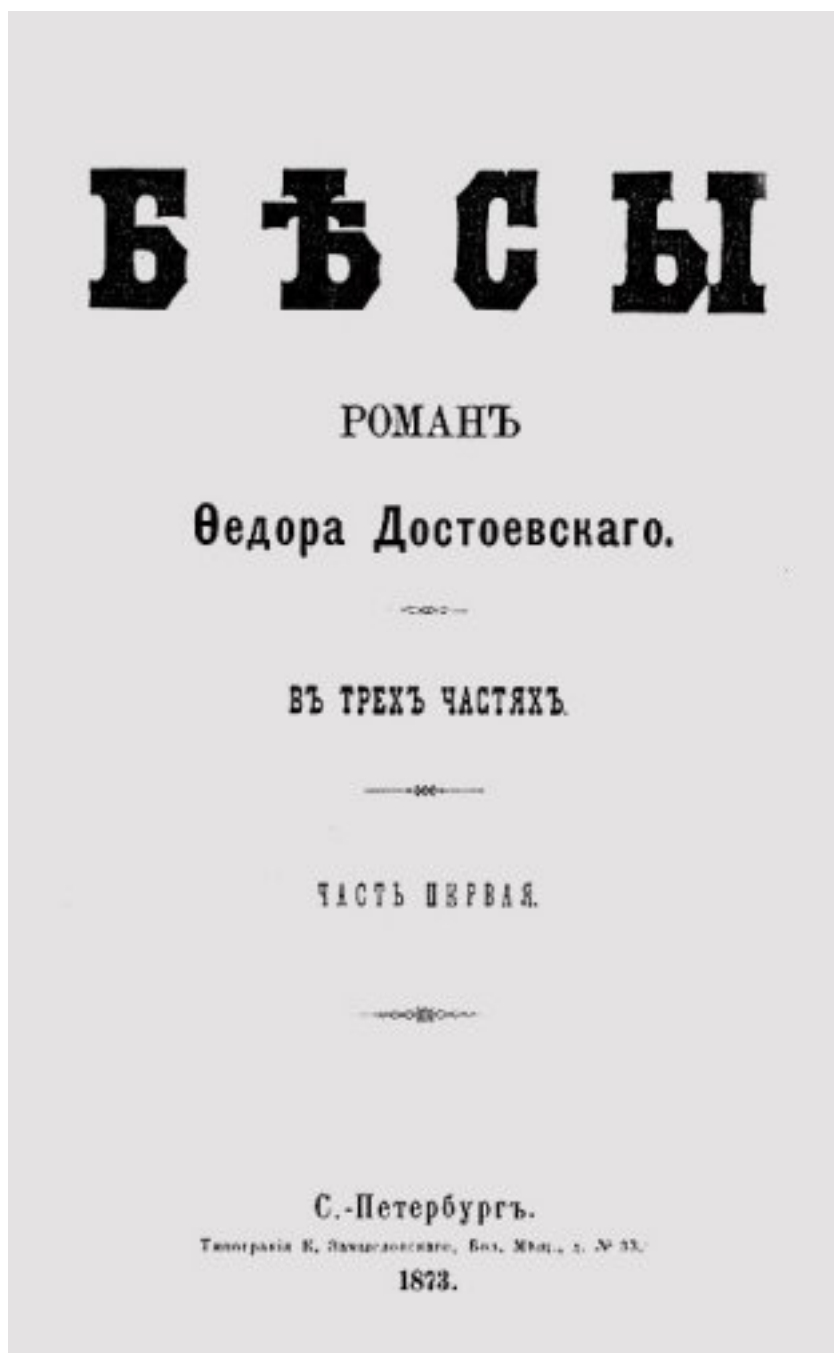
Уже современники писателя оценили «Белые ночи» практически единодушно высоко. Такие авторитетные критики, как А. В. Дружинин (*С*, 1849, № 1), С. С. Дудышкин (*ОЗ*, 1849, № 1), А. А. Григорьев (*РСл*, 1859, № 5), Е. Тур («Русская речь», 1861, № 89) и ряд других особо подчёркивали, что это лучшее произведение в русской литературе за весь 1848-й год и что оно несравненно выше предыдущих произведений самого Достоевского – «*Двойника*», «*Слабого сердца*», «*Хозяйки*»...

Бесы

Роман в трёх частях. Впервые (без главы «У Тихона»): *РВ*, 1871, № 1, 2, 4, 7, 9—11; 1872, № 11, 12. (X, XI, XII)

Основные персонажи:

Алексей Егорович;
Алёна Фроловна;
Блюм Андрей Антонович (фон Блюм);
Верховенский Пётр Степанович (Петруша);
Верховенский Степан Трофимович;
Виргинская (девица Виргинская);
Виргинская Арина Прохоровна;
Виргинский;
Гаганов Артемий Павлович;
Гаганов Павел Павлович;
Г—в Антон Лаврентьевич;
Гимназист;
Дроздова (Тушина) Прасковья Ивановна;
Иван Осипович;
Иванов Анисим;
Капитон Максимович;
Кармазинов Семён Егорович;
Кириллов Алексей Нильч;
Лебядкин Игнат Тимофеевич (капитан Лебядкин);
Лебядкина Марья Тимофеевна (Хромоножка);
Лембке Андрей Антонович, фон;
Лембке Юлия Михайловна, фон;
Липутин Сергей Васильевич;
Лямин;
Матрёша;
Настасья;
Семён Яковлевич;
Ставрогин Николай Всеволодович;
Ставрогина Варвара Петровна;
Телятников Алексей;
Тихон (отец Тихон);
Толкаченко;
Тушина Лизавета Николаевна (Лиза);
Улитина Софья Матвеевна;
Федька Каторжный;
Флибустьеров Василий Иванович;
Хромой;
Шатов Иван Павлович;
Шатова Дарья Павловна;
Шатова Мария Игнатьевна (Marie);
Шигалев;
Эркель.



Роману предпосланы два эпиграфа: две строфы из «Бесов» А. С. Пушкина («Хоть убей, следа не видно, / Сбились мы, что делать нам? / В поле бес нас водит, видно, / Да кружит по сторонам. / ... / Сколько их, куда их гонят, / что так жалобно поют? / Домового ли хоронят, / Ведьму ль замуж выдают?») и стихи 32—36 главы VIII *Евангелия* от Луки («Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.»).

Сам автор объяснял смысл заглавия романа, эпиграфов, его идейно-философской концепции в письме к А. Н. Майкову (9 /21/ окт. 1870 г.): «Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли

бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть. Россия выблевала вон эту пакость, которую её окормили, и, уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского. И заметьте себе, дорогой друг: кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и Бога. Ну, если хотите знать, – вот эта-то и есть тема моего романа. Он называется “Бесы”, и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней...»

Место действия в романе – тихий провинциальный город центральной России. Хотя он и не назван ни разу по имени, вполне определённо можно сказать, что это – *Тверь*, где Достоевскому довелось жить несколько месяцев после Сибири. Подобно Твери, губернский город в «Бесах» разделён на две части рекой, через которую перекинут понтонный мост. Заречье в романе, где жили брат и сестра Лебядкины, напоминает реальное Заволжье, фабрика Шпигулина напоминает текстильную фабрику Каулина; некоторые реальные лица, связанные с Тверью, послужили прототипами героев романа – *Тихон Задонский*, *М. А. Бакунин*, тверской губернатор *П. Т. Баранов*, его супруга, чиновник при губернаторе *Н. Г. Левенталь*...

Повествование ведётся от имени хроникёра Антона Лаврентьевича Г—ва. Начинает он его «несколькими подробностями из биографии многотимого Степана Трофимовича Верховенского». И эта предыстория основного действия занимает 20 лет – с 1849 по 1869 г. В это двадцатилетие сам Степан Трофимович из передового профессора, либерала, «человека 40-х годов» превратился постепенно в простого домашнего учителя и, практически, в обыкновенного приживальщика в доме генеральши Ставрогиной. Весьма характерно, что он воспитывал сына хозяйки дома, Николая Ставрогина, и совершенно не занимался воспитанием родного сына Петруши – в результате из обоих выросли-получились «бесы».

И вот в реальном романном времени, буквально всего за месяц, с 12 сентября по 11 октября 1869 г., тихий до этого, полусонный городок, где текла своя привычная жизнь, сотрясают одна за другой цепь катастроф и смертей. Раньше за события здесь считались балы и пикники, местный бомонд развлекался сплетнями. Некоторое разнообразие в эту жизнь-существование вносила борьба за негласную власть над обществом между губернаторшей фон Лембке и генеральшей Ставрогиной. Обывателю казалось, что драматичнее и напряжённее этой борьбы ничего и быть не может. Но вот незадолго до начала действительно роковых событий в этот губернский город начинают съезжаться участники драмы. Года за полтора до этого возвращается из-за границы Шатов; за два месяца – въехал новый губернатор фон Лембке, с ним вместе чиновник Блюм; приблизительно в это же время вернулась из Швейцарии Варвара Петровна Ставрогина и появился мрачный философ Шигалев; менее чем за месяц – объявились в городе Лебядкин с сестрой и беглый Федька Каторжный; за две недели – Дроздовы и Дарья Шатова; за неделю – супруга губернатора и её родственник писатель Кармазинов; за пять дней до «открытия занавеса» приехал будущий самоубийца инженер Кириллов; ну и, наконец, 12 сентября, в день начала хроники-трагедии, прибыли в город главный герой спектакля *Nicolas Ставрогин* и главный режиссёр *Петруша Верховенский*.

Благодаря усиленным действиям и хитросплетениям последнего и начался в конце сентября апокалипсис местного значения в этом городе: пожар на Шпигулинской фабрике – убийство брата и сестры Лебядкиных – смерть Лизы Тушиной – убийство Шатова – самоубийство Кириллова – смерть Степана Трофимовича Верховенского – самоубийство Ставрогина...

* * *

В основе сюжета романа лежат реальные события. 21 ноября 1869 г. пять членов тайного общества «Народная расправа» во главе с *С. Г. Нечаевым* убили студента Петровской земледельческой академии *И. И. Иванова*, заподозренного ими в предательстве. «Бесы» задумывались поначалу как роман-памфлет на западников и нигилистов, но в итоге получился роман-трагедия о «болезни» всего русского общества. Задуман он был и частично написан за грани-

цей. Закончив в конце 1868 г. работу над «Идиотом», писатель весь следующий год посвятил разработке нескольких сюжетных замыслов, среди которых самый значительный – «Житие великого грешника», и написанию повести «Вечный муж». Началом создания непосредственно «Бесов» можно считать план романа «Зависть», который появился в рабочих тетрадях Достоевского в начале 1870 г.: в намеченных действующих лицах уже можно угадать будущих героев «Бесов»: Князь А. Б. – Ставрогин, Учитель – Шатов, мать А. Б. – Варвара Петровна Ставрогина, Воспитанница – Дарья Шатова, Красавица – Лиза Тушина, Картузов – Лебядкин. На данном этапе предполагался чисто психологический роман с «романтическим» сюжетом. Злободневностью, памфлетностью и тенденциозностью замысел наполняется, когда автор решил во главу угла поставить «нечаевское дело».



Страница черновика «Бесов».

Современники восприняли «Бесов» в одном ряду с романами В. П. Ключникова «Марево» (1864), В. В. Крестовского «Панургово стадо» (1869), А. Ф. Писемского «Взбаламученное море» (1863), Н. С. Лескова «Некуда» (1864), «На ножах» (1871) и другими «антинигилистическими» произведениями того времени. Достоевский, находясь за границей, внимательно следил за всеми более менее значительными новинками русской литературы. Чрезвычайно интересен в этом плане его отзыв на новый роман Лескова «На ножах» из письма к А. Н. Майкову от 18/30/ января 1871 г.: «Много вранья, много чёрт знает чего, точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества...» В своём произведении Достоевский

именно и показывает, что «нигилисты» 60-х годов вроде Нечаева не с Луны свалились. Посылая наследнику престола А. А. Романову отдельное издание «Бесов», автор в сопроводительном письме от 10 февраля 1873 г. разъясняет: «Это – почти исторический этюд, которым я желал объяснить возможность в нашем странном обществе таких чудовищных явлений, как нечаевское преступление. Взгляд мой состоит в том, что эти явления не случайность, не единичны, а потому и в романе моём нет ни списанных событий, ни списанных лиц. Эти явления – прямое последствие вековой оторванности всего просвещения русского от родных и самобытных начал русской жизни. Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже пришли к убеждению о совершенной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности. Всего ужаснее то, что они совершенно правы; ибо, раз с гордостью назвав себя европейцами, мы тем самым отреклись быть русскими. В смущении и страхе перед тем, что мы так далеко отстали от Европы в умственном и научном развитии, мы забыли, что сами, в глубине и задачах русского духа, заключаем в себе, как русские, способность, может быть, принести новый свет миру, при условии самобытности нашего развития. Мы забыли, в восторге от собственного унижения нашего, непреложнейший закон исторический, состоящий в том, что без подобного высокомерия о собственном мировом значении, как нации, никогда мы не можем быть великою нацией и оставить по себе хоть что-нибудь самобытное для пользы всего человечества. Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так “высокомерны” в своем самомнении и тем-то именно и пригодились миру, тем-то и внесли в него, каждая, хоть один луч света, что оставались сами, гордо и неуклонно, всегда и высокомерно самостоятельными.

Так думать у нас теперь и высказывать такие мысли значит обречь себя на роль пария. А между тем главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, развившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моем. Далеко не успел, но работал совестливо...»

Именно в период работы над «Бесами» обострилось и без того резко отрицательное отношение писателя к современной буржуазной Европе – длительное пребывание за границей и тоска по России немало этому способствовали. И в этот период достигло пика враждебное отношение Достоевского к русским *западникам* вроде покойного В. Г. Белинского и здравствующего И. С. Тургенева, на которых он и возлагал ответственность за порождение Нечаевых. А Нечаевы – это бесы, которые не только не понимают истинного пути развития России, но и губят её, разрушают изнутри. В нечаевском деле Достоевского особенно заинтересовал «Катехизис революционера» – один из программных документов этой революционной организации. В сюжете романа теоретические пункты «Катехизиса» как бы воплощаются в жизнь, реализуются на самом деле. Пётр Верховенский со своими «бесами» создаёт беспорядки в городе, наводит смуту – сплетни, интриги, поджоги, скандалы, богохульство, в своих целях он использует власть в лице играющих в либералов и заигрывающих с «передовой» молодёжью супругов Лембке. «Катехизис» Нечаева предписывал, чтобы революционер задавил в себе все личные чувства – «родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести» – ради общего революционного дела. В соответствии с этим предписанием и действует Верховенский-младший со своими сообщниками-подручными.

Рецензенты того времени упрекали Достоевского за то, что он слишком много и подробно использовал в «Бесах» судебную хронику. Но к моменту начала процесса над нечаевцами роман в основных чертах уже сложился, и начавшийся процесс, подробности судебного разбирательства лишь уточняли концепцию автора, добавляли характерные детали в повествование. Произведение становилось всё злободневнее – объектами художественного переосмысления стали теория и тактика конкретной революционно-террористической организации. Но вместе

с тем в литературе о Достоевском сложилось мнение, что «Бесы» в психологическом плане – автобиографический роман, в нём отразились воспоминания автора о собственной «революционной» молодости. Памфлетно изображая деятельность нечаевцев, он вводил в текст идеи и отдельные черты-детали, характерные не столько для радикальной молодёжи 1860-х, сколько для *петрашевцев*.

Критики с самого начала отмечали сложность поэтики романа Достоевского, определяемой памфлетностью, с одной стороны, и сложной философско-идеологической проблематикой, с другой. Карикатура, пародия соседствуют в романе с трагедией, уголовная газетная хроника – с философскими диалогами. В сюжетном и композиционном отношении «Бесы» поначалу производят впечатление хаоса, особенно по сравнению с двумя предыдущими романами – «Преступление и наказание» и «Идиот». Но на самом деле и в «Бесах» проявилась гениальная сюжетная изобретательность Достоевского, его поразительное умение создавать в повествовании интригу, увлечь читателя. Практически все фабульные линии в романе устремлены к центральному событию – убийству Шатова. Первая и последняя главы, посвящённые судьбе Степана Трофимовича, как бы закольцовывают роман. Ведь именно он, как уже упоминалось, буквально породил одного из главных «бесов» и воспитал другого. С двумя основными персонажами – Ставрогиным и Верховенским-младшим – связаны все сюжетные разветвления и узлы.

В «Бесах», с их памфлетно-сатирической направленностью, особенно ярко проявился талант Достоевского – критика, пародиста и полемиста. Произведение это можно назвать своеобразным литературным салоном: в нём действуют семь героев-литераторов и авторов вставных текстов, не считая целой группы безымянных писателей, участвующих в массовых сценах. Особенно колоритен пародийный образ «передового» писателя Кармазинова, прообразом которого послужил Тургенев.

Среди откликов на первые главы романа стоит отметить суждение *Н. Н. Стрхова* в письме к автору от 12 апреля 1871 г.: «Во второй части чудесные вещи, стоящие наряду с лучшими, что Вы писали. Нигилист Кириллов удивительно глубок и ярок. Рассказ сумасшедшей, сцена в церкви и даже маленькая сцена с Кармазиновым – всё это самые верхи художества. <...> Но впечатление в публике до сих пор очень смутное; она не видит цели рассказа и теряется во множестве лиц и эпизодов, которых связь ей не ясна. <...> Очевидно – по содержанию. По обилию и разнообразию идей Вы у нас первый человек, и сам Толстой сравнительно с Вами однообразен. <...> Но очевидно же: Вы пишете большею частью для избранной публики, и Вы загромаждаете Ваши произведения, слишком их усложняете. Если бы ткань Ваших рассказов была проще, они бы действовали сильнее. <...> и весь секрет, мне кажется, состоит в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен...» [*ЛСС*, т. 12, с. 258]

Достоевский близко к сердцу принял последнее суждение и, в общем-то, согласился с ним, признаваясь в ответном письме: «Вы ужасно метко указали главный недостаток. Да, я страдал этим и страдаю; я совершенно не умею до сих пор (не научился) совладать с моими средствами. Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии. Всё это изумительно верно сказано Вами, и как я страдал от этого сам уже многие годы, ибо сам сознал это. Но есть и того хуже: я, не спросясь со средствами своими и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам...»



Страница черновика «Бесов».

Когда большая часть романа была опубликована, появились и развёрнутые рецензии. Демократическая и либеральная критика, разумеется, негативно оценила «антинигилистический» роман автора «Записок из Мёртвого дома». Особенно резкими стали отзывы о «Бесах» с конца 1872 г., когда Достоевский согласился стать редактором «реакционного» журнала «Гражданин» князя В. П. Меццеского. Весьма характерна для той ситуации эпиграмма Д. Д. Минаева «На союз Ф. Достоевского с кн. Меццеским» (И, 1873, 11 фев., № 2):

«Две силы взвесивши на чашечках весов,
Союзу их никто не удивился.
Что ж! первый дописался до «Бесов»,
До чёртиков другой договорился».

Общим местом в «передовой» критике того времени стало объявлять автора сумасшедшим, произведение – плодом его расстроенного воображения и клеветой на молодое поколение. Подобные отзывы появлялись в «Искре», «Деле», «Биржевых ведомостях», «Сыне отечества», «Одесском вестнике», «Голосе», «Новостях», «Новом времени»... Из этого ряда несколько выделялись рецензии В. П. Буренина в «С.-Петербургских ведомостях» (они периодически публиковались с марта 1871 г. по январь 1873 г.), который настойчиво подчёркивал

отличие романа «Бесы» от рядовых «антинигилистических» романов Лескова, Маркевича и прочих: по мнению рецензента, произведение Достоевского – «плод искреннего убеждения, а не низкопоклонства пред грубыми и плотоядными инстинктами толпы, как у беллетристических дел мастеров...»

В современной Достоевскому критике особого внимания заслуживают, конечно, обстоятельные статьи о «Бесах» народников П. Н. Ткачёва «Больные люди» («Дело», 1873, № № 3, 4) и Н. К. Михайловского «Литературные и журнальные заметки» (ОЗ, 1873, № 2). Особый оттенок рецензии Ткачёва придаёт то обстоятельство, что он сам проходил по делу Нечаева, так что никак не мог беспристрастно отнестись к роману о своих товарищах по общему делу. Ткачёв ставит «Бесы» в один ряд с аналогичными по теме романами Лескова-Стебницкого и резко упрекает автора в отходе от прежних прогрессивных взглядов 1840-х («Бедные люди») и 1860-х («Записки из Мёртвого дома») годов. По мнению рецензента, автор «Бесов» совершенно не знает современную молодёжь, судит о ней по газетным сообщениям и собственным фантазиям, рождая в результате не художественные образы нигилистов, а «манекены», которые не живут, а бредят...

Михайловский, в отличие от Ткачёва и многих других критиков, в тоне более сдержан и в оценке романа более объективен. Он отказывается от сопоставления «Бесов» с романами Лескова, Крестовского и Ключникова, утверждая, что оно справедливо только по отношению к третьестепенным героям романа, в целом же ставя произведение Достоевского несравненно выше по таланту. Кроме того, на тональность статьи критика «Отечественных записок» влияло уважительное отношение к прошлому Достоевского-петрашевца и неприятие революционно-экстремистских приёмов Нечаева. Поэтому Михайловский упрекает Достоевского не за памфлетность романа, а как раз за чересчур серьёзное отношение к нечаевщине, смещение акцентов, необоснованные обобщения: «Нечаевское дело <...> не может служить темой для романа с более или менее широким захватом. Оно могло бы доставить материал для романа уголовного, узкого и мелкого, могло бы, пожалуй, занять место и в картине современной жизни, но не иначе как в качестве третьестепенного эпизода...» Михайловский разделил героев романа на три категории: 1) марионеточные фигуры нигилистов, в которых как раз и проглядывает «стебнищизм»; 2) герои, к коим «можно отыскать параллели в произведениях других наших романистов», но которые «в то же время суть самостоятельные создания г. Достоевского» (Верховенский-старший, Кармазинов, супруги Лембе...), именно эти герои наиболее удачны, по мнению критика; и, наконец, 3) излюбленные герои Достоевского – монотипы-теоретики: Ставрогин, Шатов, Кириллов, Пётр Верховенский... Михайловский посчитал их бледными, претенциозными, искусственными потому, что автор стремился представить своих исключительных героев носителями популярных идей в обществе, в то время как сами они представляют собой «исключительные психологические феномены», которые «уже сами по себе составляют нечто трудно поддающееся обобщениям».

Консервативная пресса в основном оценила «Бесы» положительно. К примеру, М. А. Загуляев в «Journal de St. Petersburg» назвал новое произведение Достоевского лучшим романом года, а В. Г. Авсеенко (РМ и РВ) особенно одобрительно отзывался о памфлетном изображении нигилистов в романе.

Читатели-современники также восприняли новый роман Достоевского неоднозначно и многие из них негативно. Типичным для радикально настроенной молодёжи того времени можно считать, к примеру, свидетельство писательницы Е. П. Султановой-Летковой: «...молодёжь в то время непрерывно вела счёты с Достоевским и относилась к нему с неугасаемо критическим отношением после его “патриотических” статей в “Дневнике писателя”. О “Бесах” я уже и не говорю...» [Д. в восп., т. 2, с. 454]

Но говорить-писать об этом романе продолжали и продолжают до сих пор. Ещё в 1875 г. молодой критик Вс. С. Соловьёв прозорливо написал, что о «Бесах» можно будет судить объ-

ективно только в будущем, когда улягутся сиюминутные страсти, когда «спокойный взор человека, находящегося вне нашей атмосферы, в известном отдалении от нашей эпохи, увидит итог современных явлений, их результаты...» [*СнбВед*, 1875, № 32] Действительно, результаты и последствия деятельности «бесов», описанных Достоевским, проявились в полной мере лишь в XX в. Это произведение вполне можно считать романом-предупреждением, романом-предвидением. Увы, современники не очень внимательно его прочитали...

В XX в. революционеры всех мастей яростно боролись с этой книгой, А. М. Горький небезуспешно выступал против постановки «Бесов» на сцене МХАТа в 1913 г., в Советском Союзе этот роман долгое время не издавался и был зачислен советским литературоведением в разряд «реакционных».

Но не стоит думать, будто злободневность «Бесов» в наши дни потускнела и евангельский эпиграф к роману полностью претворился в жизнь. Увы, разгул «бесовства» в России (да и в мире!) не прекратился, он просто принял другие формы. Экстремизм революционного, религиозного, национального и любого другого толка пока, увы, неистребим. Роман Достоевского продолжает оставаться злободневным.

Бобок

(Записки одного лица). Рассказ. Гр, раздел ДП (VI), 1873, № 6, 5 фев. (XXI)

Основные персонажи:

Авдотья Игнатьевна;

Берестова Катись;

Иван Иванович;

Клиневич Пётр Петрович;

Лавочник;

Лебезятников Семён Евсеевич;

Молодой человек;

Первоедов Василий Васильевич;

Платон Николаевич;

Тарасевич.

В начале предуведомляется, что это – «Записки одного лица». Герой-рассказчик (Иван Иванович), литератор-неудачник, спился до такой степени, что подвержен галлюцинациям и сам понимает, что производит впечатление человека помешанного. Попадая случайно на похороны дальнего родственника, он задерживается на кладбище, задремывает на могильной плите и вдруг начинает слышать разговор-беседу мертвецов. Один из них так объясняет такую фантазмагорию: «...наверху, когда ещё мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь ещё раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. <...> продолжается жизнь как бы по инерции. Всё сосредоточенно <...> где-то в сознании и продолжается ещё месяца два или три... иногда даже полгода... Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё ещё вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное, про какой-то бобок: “Бобок, бобок”, – но и в нём, значит, жизнь всё ещё теплится незаметною искрой...»

Иван Иванович с удивлением слышит, что и в могилах жизнь, так сказать, ничем не отличается от жизни наверху, люди остаются такими же, какими были, заботы и мысли их так же мелочны, сиюминутны, низменны, в порядке вещей чинопочитание, зависть, разврат (или, по крайней мере, мечты и разговоры о разврате), сплетни... Но оказывается, что кладбище всё же имеет кардинальное преимущество перед живой жизнью – здесь уж совершенно можно отбросить последние условности и приличия. Клиневич, взявший на себя роль старшего в кладбищенском обществе, формулирует кредо могильного существования, которое с восторгом единодушно (единотрубно!) одобряется: «– <...> Главное, два или три месяца жизни и в конце концов – бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! Я предлагаю ничего не стыдиться! <...> На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Чёрт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! <...> Заголимся и обнажимся!

– Обнажимся, обнажимся! – закричали во все голоса...»

Но только мертвецы намереваются весело приступить к осуществлению задуманного «обнажения», как подслушивающий живой Иван Иванович чихнул и спугнул обитателей могил – они затихли. Иван Иванович обещает обязательно ещё навестить кладбищенскую компанию и послушать их разговоры, причём не только в этом, третьем, разряде, где он задремал на могильном камне, но и в остальных. В последних строках рассказа объясняется-обосновывается его появление на страницах именно этого издания: «Снесу в “Гражданин”; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает».

* * *

Одна из главных причин, почему Достоевский согласился с января 1873 г. стать редактором *«Гражданина»* – желание отдохнуть от «художественной работы». Однако уже в январе появляется замысел этого рассказа. Толчком послужила заметка Л. К. Панютина (псевд. Нил Адмирари) в газете *«Голос»* (1873, № 14, 14 янв.), в которой *«Дневник писателя»* сопоставлялся с *«Записками сумасшедшего»* Н. В. Гоголя и грубо намекалось, что его автор, как и Поприщин, не в своём уме, и, дескать, это хорошо видно по портрету Достоевского кисти В. Г. Перова, как раз выставленному в Академии художеств: «Это портрет человека, истомлённого тяжким недугом...» Иван Иванович, герой-рассказчик «Бобка» начинает как бы с отповеди Панютину: «Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: “Всё-таки ты, говорит, литератор”. Я дался, он и выставил. Читаю: “Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо”...»

В финале рассказа упоминается, как уже говорилось, и портрет самого Достоевского. Видимо, Панютин «подсказал» писателю ориентацию «Записок одного лица» на «Записки сумасшедшего». К примеру, рубленый слог Ивана Ивановича напоминает стиль дневника гоголевского героя, встречаются и смысловые переклички – Поприщин: «Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто ещё не видывал и не слыхивал»; Иван Иванович: «Со мной что-то странное происходит. <...> Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи». Не исключено, что при работе над своим рассказом Достоевский помнил и о другом *фельетоне* того же Панютина, который появился в «Голосе» за 2,5 года до того (1870, № . 211, 2 авг.) и был посвящён ритуальным гуляниям на Смоленском кладбище: у Панютина герой-фельетонист также засыпает среди могил и как бы вступает в разговор с мертвецом, который среди прочего характеризует своих соседей-покойников... Несомненная идейно-эстетическая близость связывает «Бобок» с «фантастическим» рассказом В. Ф. Одоевского «Живой мертвец» (1844), а также с прежде написанными произведениями самого Достоевского. Можно вспомнить князя Валковского из *«Униженных и оскорблённых»*, который не только теоретизирует на тему «обнажения», но и в самом деле душевно «обнажается и заголяется» перед автором-повествователем; можно вспомнить и героя *«Записок из подполья»*, который поставил себе целью достичь в своей исповеди запредельной правды, полностью «заголиться и обнажиться» перед читателем. Покойники в «Бобке» ощущают вонь, но не плоти, а как бы души, вонь эта – «нравственная», по толкованию «философа» Платона Николаевича. Толкование это можно соотнести с поэтическим утверждением Ф. И. Тютчева: «Не плоть, а дух растлился в наши дни» («Наш век», 1851) и с гоголевской темой «мёртвых душ» – мертвецы из рассказа Достоевского утратили, «умертвили» свои души ещё в земной жизни...

«Бобок» наполнен литературной полемикой. В частности, вдумчивый читатель рассказа не мог не провести аналогии с «клубничной» литературой того времени, и в первую очередь, с нашумевшим эротическим романом П. Д. Боборыкина «Жертва вечерняя» (1868, 2-е издание – 1872), и недаром название рассказа Достоевского перекликается с фамилией Боборыкина (один из его псевдонимов – «Боб» был переделан фельетонистом В. П. Бурениным в «Пьера Бобо»).

Но, конечно, главное в произведении Достоевского не полемические и пародийные мотивы, а его идейно-философское наполнение. Современники этого не заметили, обратив внимание лишь на «патологичность» темы. Доходило до курьёзов: так, анонимный обозреватель журнала «Дело» (1873, № 12), словно совершенно не заметив в «Бобке» язвительной иронии писателя по поводу печатных намёков на его, якобы, умственное расстройство, ничтоже

сумняшеся пишет: «Положим, что всё это фантастические рассказы, но самый уже выбор таких сюжетов производит на читателя болезненное впечатление и заставляет подозревать, что у автора что-то неладно в верхнем этаже...» Лишь в XX в. «Бобок» был исследован и оценён по достоинству в работах А. Белого, Л. П. Гроссмана, К. О. Мочульского, М. М. Бахтина и др.

Достоевский намеревался, как видно из финальных строк «Бобка», продолжить цикл «кладбищенских» рассказов, но этот замысел не осуществился. Герой-рассказчик Иван Иванович появится ещё раз на страницах *ДП* (*Гр*, 1873, № 10) в статье «Полписьма “одного лица”», где ему будет дана развёрнутая характеристика.

Борис Годунов

Неосущ. замысел, 1842. (XXVIII₁)

Сохранились свидетельства о ранних драматургических опытах Достоевского – «*Мария Стюарт*», «*Борис Годунов*», «*Жид Янкель*». В частности, старший брат писателя М. М. Достоевский писал опекуну П. А. Карепину 25 сентября 1844 г.: «Я читал, с восхищением читал его драмы. Нынешней зимою они явятся на петербургской сцене...» [ЛН, т. 86, с. 365] А младший брат А. М. Достоевский уже после смерти Фёдора Михайловича в открытом письме к А. С. Суворину, опубликованном в «Новом времени» (1881, № 1778, 8 фев.), утверждал: «Ещё в 1842 г., то есть гораздо ранее “Бедных людей”, брат мой написал драму “Борис Годунов”. Автограф лежал часто у него на столе, и я – грешный человек – тайком от брата нередко зачитывался с юношеским восторгом этим произведением. Впоследствии, уже в очень недавнее время, кажется в 1875 г., я в разговорах с братом покаялся ему, что знал о существовании его “Бориса Годунова” и читал эту драму. На вопрос мой: “Сохранилась ли, брат, эта рукопись?”, он ответил только, махнув рукой: “Ну, полно! Это... это детские глупости!”...» Доктор А. Е. Ризенкамф вспоминал, как ещё 16 февраля 1841 г. на вечере у своего брата Михаила Михайловича Достоевский «читал отрывки из двух драматических своих опытов: “Марии Стюарт” и “Бориса Годунова”...» [ЛН, т. 86, с. 328]

Примечательно, что, судя по названиям, начинающий писатель собирался переписать-переделать по своему драматические сюжеты европейской и отечественной классики. Так никогда и не создаст Достоевский драматургическое произведение, хотя его романы насквозь пронизаны драматургией, сценичны. Более того, в ответ на просьбу начинающей писательницы В. Д. Оболенской разрешить ей переделку «*Преступления и наказания*» для сцены, Достоевский написал (20 янв. 1872 г.): «Насчет же Вашего намерения извлечь из моего романа драму, то, конечно, я вполне согласен, да и за правило взял никогда таким попыткам не мешать; но не могу не заметить Вам, что почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере вполне.

Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме...»

Однако писатель-романист не раз возвращался к идее написания пьесы. Он, к примеру, по воспоминаниям артистки А. И. Шуберт, сам собирался инсценировать «*Неточку Незванову*» и в письме к ней (14 марта 1860 г.) обещал попробовать написать специально для неё «комедийку, хоть одноактную», а буквально за десять дней до смерти в разговоре с А. С. Сувориным Достоевский обмолвился, что летом «надумывал один эпизод из “*Братьев Карамазовых*” обратить в драму...» (НВр, 1881, 1 фев.) Стоит упомянуть, что в бумагах Достоевского сохранилась сатирическая одноактная пьеса-фельетон в стихах «*Борьба нигилизма с честностью (Офицер и нигилистка)*».

<Борьба нигилизма с честностью (Офицер и нигилистка)>

(Сцена почище комедии)>. 1864—1873. (XVII)

Основные персонажи:

Нигилистка;

Офицер.

Одноактная пьеса-фельетон в стихах. Отставной офицер, задумав, наконец, в 40 лет жениться и исполнить закон природы о продолжении рода. Он наслышан о нигилистах и решает перед этим всех их истребить, переколоть своей шпагой. И вскоре встречается на своём пути Нигилистку. Они вступают в диалог-диспут: тут и лягушки (привет Базарову!), и фиктивные браки (салют героям *Н. Г. Чернышевского!*), и редактор демократического журнала «Дело» *Г. Е. Благовестлов...* В финале Нигилистка спасается бегством, Офицер застывает столбом, увидев «прелесть мелькнувшей из-под платья пяточки», а на горизонте появляется тень *А. А. Краевского* как сатирический символ «гласности» в либеральном её понимании ...

* * *

Первая запись, связанная с этим замыслом, появилась в рабочей тетради в середине 1864 г. под названием «Борьба нигилизма с честностью». В следующем году, работая над «*Крокодилом*», Достоевский продолжил разрабатывать сюжет, намереваясь включить стихотворный *фельетон* в текст повести – после иронического определения понятия «нигилизм» в планах «Крокодила» следовала пометка: «Достал стишки “Офицер и нигилистка”. – С учением соглашась...» Оба произведения связывала полемическая направленность, в основном, против лагеря «*Современника*». Однако работа над фельетоном и рассказом была прервана с прекращением издания «*Эпохи*». К своей сценке в стихах Достоевский вернулся в пору редактирования «*Гражданина*» (1873—1874). В те годы в связи с открытием высших женских курсов в Петербурге и Москве вновь обострился интерес к женскому вопросу. Намереваясь использовать свой стихотворный фельетон в полемике по этому вопросу с демократической журналистикой Достоевский и сделал новую его редакцию, однако в печати он так и не появился. Скорее всего, писатель, даже предпослав фельетону шутовское введение-оправдание как бы от редакции за слабые художественные достоинства («безрассудный хам», «верх нелепости», «произведение бездарности»), всё же не решился представить его на суд широкой публики и «литературных врагов».

Брак

(Роман, вместо Совр<еменного> человека). Неосущ. замысел, 1864—1865. (V).

В записной тетради сохранился краткий, но детальный план этого романа в трёх частях о трагической судьбе героини с характером, как указал Достоевский в скобках, княжны *Кати* из «*Неточки Незвановой*» – «вся противуречие и насмешка».

Братья Карамазовы

Роман в четырёх частях с эпилогом. РВ, 1879, № 1—2, 4—6, 8—11; 1880, № 1, 4, 7—11. (XIV, XV)

Основные персонажи:

Андрей;
Афанасий;
Варвинский;
Великий инквизитор;
Верховцев Иван;
Верховцева Агафья Ивановна;
Верховцева Катерина Ивановна;
Ворохова;
Врублевский;
Герцеништубе;
Горсткин (Лягавый);
Дарданелов;
Жучка-Перезвон;
Зосима (старец Зосима);
Иисус Христос;
Ильинский Павел (Ильинский батюшка);
Иосиф (отец Иосиф);
Ипполит Кириллович;
Калганов Пётр Фомич;
Карамазов Алексей Фёдорович (Алёша);
Карамазов Дмитрий Фёдорович (Митя);
Карамазов Иван Фёдорович;
Карамазов Фёдор Павлович;
Карамазова (Миусова) Аделаида Ивановна;
Карамазова Софья Ивановна;
Карташов;
Красоткин Николай (Коля);
Красоткина Анна Фёдоровна;
Кутузов Григорий Васильевич;
Кутузова Марфа Игнатьевна;
Лизавета Смердящая;
Макаров Михаил Макарович;
Максимов;
Марья Кондратьевна;
Миусов Пётр Александрович;
Михаил;
Московский доктор;
Муссялович;
Нелюдов Николай Парфёнович;
Николай (отец Николай);
Паисий (отец Паисий);
Перхотин Пётр Ильич;

Повествователь;
Поленов Ефим Петрович;
Ракитин Михаил Осипович;
Самсонов Кузьма Кузьмич;
Светлова Аграфена Александровна (Грушенька);
Смердяков Павел Фёдорович;
Смуров;
Снегирёв Илья (Илюшечка);
Снегирёв Николай Ильич;
Снегирёва Арина Петровна;
Снегирёва Варвара Николаевна;
Снегирёва Нина Николаевна;
Трифон Борисович;
Трифонов;
Феня;
Ферапонт (отец Ферапонт);
Фетюкович;
Хохлакова Елизавета (Лиза, Lise);
Хохлакова Катерина Осиповна;
Чёрт;
Шмерцов Маврикий Маврикиевич.

БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ

РОМАНЪ

Истинно, истинно говорю вамъ: если пшеничное зерно, падши въ землю, не умреть, то останется одно; а если умреть, то принесетъ много плода.

(Евангеліе отъ Іоанна. Глава XII, 24.)

ОТЪ АВТОРА.

Начинаю жизнеописаніе героя моего, Алексѣя Фёдоровича Карамазова, нахожусь въ нѣкоторомъ недоумѣніи. А именно: хотя я и называю Алексѣя Фёдоровича моимъ героемъ, но однако самъ знаю что человѣкъ онъ отнюдь не великій, а посему и предвижу неизбежные вопросы въ родѣ такихъ: чѣмъ же замѣчателенъ нашъ Алексѣй Фёдоровичъ? что вы выбрали его своимъ героемъ? Что сдѣлалъ онъ такого? Кому и чѣмъ извѣстенъ? Почему я, читатель, долженъ тратить время на изученіе фактовъ его жизни?

Послѣдній вопросъ самый роковой, ибо на него могу лишь отвѣтить: „Можетъ-быть увидите сами изъ романа“. Ну а коль прочтутъ романъ и не увидятъ, не согласятся съ примѣчателностью моего Алексѣя Фёдоровича? Говорю такъ потому что съ прискорбіемъ это предвижу. Для меня онъ примѣчателенъ, но рѣшительно сомнѣваюсь успѣю ли это доказать читателю. Дѣло въ томъ, что это покажу и дѣлать,

Первая страница первого издания «Братьев Карамазовых».

Роман имеет посвящение *Анне Григорьевне Достоевской* и эпиграф из *Евангелия* от *Иоанна*: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода» (гл. XII, ст. 24). Состоит роман из предисловия «От автора», 4-х частей и «Эпилога». Кроме того роман имеет сквозное деление на 12 озаглавленных «книг», которые, в свою очередь, поделены на главы, имеющие свои названия («Фёдор Павлович Карамазов», «Первого сына спровадил» и т. д.). В предисловии «От автора» сообщается, что посвящён роман жизнеописанию Алексея Фёдоровича Карамазова и что это только первая часть дилогии, причём главным романом будет второй, первый же «роман произошёл ещё тринадцать лет назад».

Место действия романа – захолустный городок Скотопригоньевск, прототипом которого послужила *Старая Русса*. В центре повествования – семейство Карамазовых: отец, три законных сына и один побочный. По существу, основная фабульная линия первого романа связана со старшим из братьев Карамазовых – Дмитрием. Всем в городке было известно, что отец-сластолюбивый и его старший сын соперничают из-за красавицы Грушеньки Светловой. И вот Фёдора Павловича обнаруживают убитым. Естественно, подозрение падает на Дмитрия. В

результате судебного разбирательства это обвинение как бы подтверждается, и Дмитрий Карамазов получает по приговору двадцать лет каторжных работ. Но произошла ужасная судебная ошибка, и лишь немногие герои романа знают, что доподлинный преступник – лакей Смердяков, который, убив своего кровного отца, наложил затем на себя руки, а его вольным или невольным вдохновителем-подстрекателем является Иван Карамазов...

* * *

«Братья Карамазовы» – последний роман Достоевского. Уже с начала 1860-х гг., после прочтения и осмысления романов *Виктора Гюго*, в первую очередь, «Отверженных» (1862), русского писателя занимала мысль о создании романа-эпопеи, построенного на материале текущей действительности, энциклопедического по охвату материала. Новый толчок эти замыслы получили после появления «Войны и мира» (1863—1869) *Л. Н. Толстого*. В определённой мере подступами к «Братьям Карамазовым» послужили замыслы: «Атеизм» и «Житие великого грешника». Лишь в 1878 г. Достоевский приступает непосредственно к созданию своей эпопеи. Для понимания грандиозности задачи, поставленной перед собою писателем, стоит вспомнить его суждение из «Предисловия к публикации перевода романа *В. Гюго “Собор Парижской Богоматери”*», где подчёркивалось, что основная во всём искусстве XIX в. идея – это идея «восстановления погибшего человека, задавленного несправедливо гнётом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков», и что «хоть к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и вековечно, как, например, “Божественная комедия” выразила свою эпоху...»

Основная фабульная линия романа также давно уже хранилась в памяти писателя и даже была зафиксирована на бумаге. В самом начале «Записок из Мёртвого дома» (ч. 1, гл. I) рассказана история некоего каторжника (*Дмитрия Ильинского*), осуждённого за убийство отца на 20 лет каторги, но считавшего себя невиновным. А во второй части (гл. VII) сообщалось: «На днях издатель «Записок из Мёртвого дома» получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и десять лет страдал в каторжной работе напрасно <...> Нечего говорить и распространяться о всей глубине трагического в этом факте, о загубленной ещё молодости жизни под таким ужасным обвинением. Факт слишком понятен, слишком поразителен сам по себе...» Из последних слов видно, как сильно поразила эта трагическая история самого Достоевского. Через десять с лишним лет автор «Записок из Мёртвого дома», ещё работая над «*Подростком*», заносит в рабочую тетрадь краткий сюжет нового романа: «13 сент<ября> 74 <г.> Драма. В Тобольске, лет двадцать назад, вроде истории Иль<ин>ского. Два брата, старый отец, у одного невеста, в которую тайно и завистливо влюблён второй брат. Но она любит старшего. Но старший, молодой прапорщик, кутит и дурит, ссорится с отцом. Отец исчезает. <...> Старшего отдают под суд и осуждают на каторгу. <...> Брат через 12 лет приезжает его видеть. Сцена, где безмолвно понимают друг друга.

С тех пор еще 7 лет, младший в чинах, в звании, но мучается, ипохондрит, объявляет жене, что он убил.

<...> День рождения младшего. Гости в сборе. Выходит: “Я убил”. Думают, что удар...»

Эта краткая сюжетная схема психологической семейной драмы, даже соединившись с религиозными, философскими и социальными пластами замысла «Жития великого грешника», не выросла бы в роман-эпопею «Братья Карамазовы» без «*Дневника писателя*» за 1876—1877 гг. Многие темы, поднятые и исследованные Достоевским в ДП (разложение дворянской семьи, экономический кризис в России, истребление лесов, обнищание русской деревни, кризис православной веры и размах сектантства, состояние суда и адвокатуры, в более широком плане – прошлое, настоящее и будущее России...), нашли впоследствии отражение в его

последнем произведении. Сам писатель подчёркивал в одном из писем: «...готовясь написать один очень большой роман, я и задумал погрузиться специально в изучение – не действительности, собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего. Одна из самых важных задач в этом текущем, для меня, например, молодое поколение, а вместе с тем – современная русская семья, которая, я предчувствую это, далеко не такова, как всего ещё двадцать лет назад. Но есть и ещё многое кроме того...» (Х. Д. Алчевской, 9 апр. 1876 г.).

В конце декабря 1877 г., попрощавшись с читателями *ДП*, как он предполагал, всего на год («В этот год отдыха от срочного издания я и впрямь займусь одной художнической работой, сложившейся у меня в эти два года издания “Дневника” неприметно и невольно...»), Достоевский набросал в записной тетради своеобразный план-обязательство: «Memento. На всю жизнь.

- 1) Написать русского Кандида.
- 2) Написать книгу о Иисусе Христе.
- 3) Написать свои воспоминания.
- 4) Написать поэму «Сороковины».

NB. (Всё это, кроме последнего романа и предполагаемого издания «Дневника», т. е. *minimum* на 10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет.)»

Жить ему оставалось не 10, а всего 3 года, но так получилось, что почти весь план был писателем в какой-то мере выполнен, ибо все эти замыслы (кроме воспоминаний) нашли своё отражение в последнем романе. Поэма «Сороковины» должна была представлять из себя «Книгу странствий», в которой описываются «мытарства 1 (2, 3, 4, 5, 6 и т. д.)» (в девятой книге «Братьев Карамазовых» глава III носит название «Хождение души по мытарствам. Мытарство первое», глава IV – «Мытарство второе», глава V – «Третье мытарство», и посвящены эти главы мытарствам Мити, душа которого проходит в романе через гибель и воскресение), а среди черновых набросков к «Сороковинам» есть разговор Молодого человека с сатаной, явно предвосхищавший сцену беседы Ивана с Чёртом. Замысел книги о Иисусе Христе воплотился в какой-то мере в поэме «Великий инквизитор». Ну, а тема «русского Кандида» нашла отражение, к примеру, в главе «Бунт», где поднимаются и исследуются те же проблемы, что и в философской повести французского писателя Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759), в частности: может ли человеческий разум принять мир, созданный Богом, при наличии в этом мире зла, страданий невинных людей?

В то время, когда писатель уже собирал подготовительные материалы к роману, непосредственно работал над планом, произошло трагическое событие, которое сыграло свою роль в творческой судьбе «Братьев Карамазовых» – 16 мая 1878 г., не прожив и трёх лет, умер младший сын Достоевских *Алёша*. Писатель так тяжело переживал утрату, что более месяца не мог работать. Жена А. Г. Достоевская вспоминала: «Фёдор Михайлович был страшно поражен этой смертью. Он как-то особенно любил Лёшу, почти болезненной любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится. Фёдора Михайловича особенно угнетало то, что ребёнок погиб от эпилепсии, – болезни, от него унаследованной...» [Достоевская, с. 345] По совету жены Достоевский вместе с *Вл. С. Соловьёвым* во второй половине июня совершает поездку в *Оптину пустынь*, где в молитвах и беседах со старцами и монахами провёл несколько дней. Впечатления от поездки дали писателю обильный материал для первых книг романа, для сюжетной линии, связанной с монастырским периодом жизни Алексея Карамазова, со старцем Амвросием.

Все свои крупные романы, начиная с «Преступления и наказания», Достоевский публиковал в журнале М. Н. Каткова «Русский вестник». Но так получилось, что «Подросток», предшествующий «Братьям Карамазовым», по инициативе Н. А. Некрасова появился на страницах демократических «Отечественных записок». Последний роман был ещё до написания первых глав обещан снова в катковский журнал (после смерти Некрасова о продолжении сотрудниче-

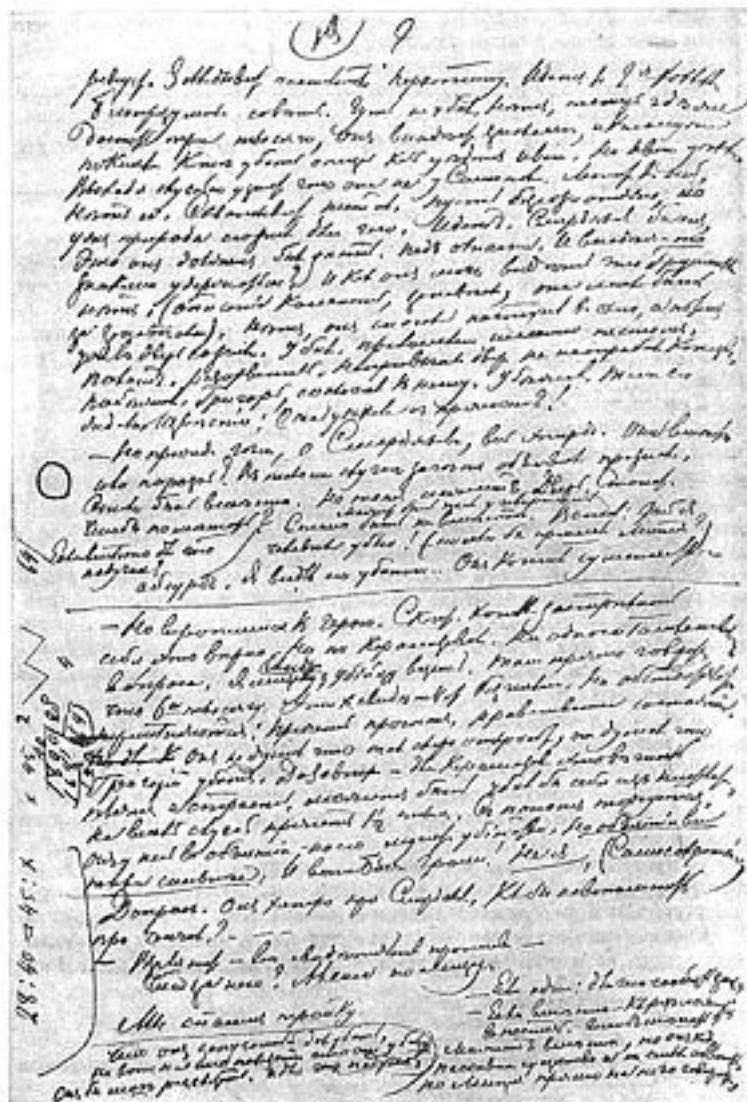
ства с «ОЗ» и речи быть не могло) и за него, как всегда, был получен писателем аванс. В письме от 11 июля 1878 г. к С. А. Юрьеву, который предлагал ему отдать новый роман в задуманный им журнал (будущая «Русская мысль»), Достоевский, обещая подумать, сообщил интересные подробности о методах своей писательской работы, уникальных для литературы вообще и русской литературы XIX в. в частности: «Роман я начал и пишу, но он далеко не закончен, он только что начат. И всегда у меня так было: я начинаю длинный роман (NB. Форма моих романов 40—45 листов) с середины лета и довожу его почти до половины к новому году, когда обыкновенно является в том или другом журнале, с января, первая часть. Затем печатаю роман с некоторыми перерывами в том журнале, весь год до декабря включительно, и всегда кончаю в том году, в котором началось печатание. До сих пор еще не было примера перенесения романа в другой год издания...»

Так и не осуществилась мечта Достоевского хоть один свой роман написать-создать без спешки, отделивая, и уже в готовом виде предлагать в журналы. Только свой самый первый роман *«Бедные люди»* (сравнительно небольшой по объёму) переписывал он несколько раз, тщательно редактируя. Писателя угнетали условия его работы, но он даже как бы и гордился (совершенно в духе своих героев!) своим особым в этом отношении положением. «Я убеждён, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я *постоянно* пишу, Тургенев умер бы от одной мысли...» писал он А. В. Корвин-Круковской ещё 17 июня 1866 г., в пору работы над *«Преступлением и наказанием»* и *«Игроком»*, практически одновременно. С *«Братьями Карамазовыми»* даже и предварительные прогнозы автора не оправдались: работа над романом затянулась почти на три года, печатание в журнале с перерывами – на два.

Увеличение сроков работы связано было и с тем, что в ходе её и сюжет романа, и его содержательно-философское наполнение чрезвычайно усложнились. Хотя действие первого романа формально было отнесено к середине 1860-х гг., но Достоевский уже и его наполнил животрепещущими проблемами текущего времени – в нём много откликов на события российской общественной жизни конца 1870-х, полемики с произведениями и статьями, появившимися на страницах журналов именно в это время и т. д. Но при всей злободневности, «фельетонности» содержания в *«Братьях Карамазовых»* с наибольшей силой проявилось и непревзойдённое мастерство Достоевского-романиста в соединении сиюминутного и вечного, быта и философии, материи и духа. Главная и глобальная тема романа, как уже упоминалось, – прошлое, настоящее и будущее России. Судьбы уходящего поколения (отец Карамазов, штабс-капитан Снегирёв, Миусов, госпожа Хохлакова, Полёнов, старец Зосима...) как бы сопоставлены и в чём-то противопоставлены судьбам представителей из «настоящего» России (братья Карамазовы, Смердяков, Ракин, Грушенька, Варвара Снегирёва...), а на авансцену уже выходят представители совсем юного поколения, «будущее» страны, которым, вероятно, суждено было стать основными героями второго романа (Лиза Хохлакова, Коля Красоткин, Карташов, Смулов...)

Глобальность темы, глубина поставленных в романе «мировых» вопросов способствовали тому, что в нём ещё шире, чем в предыдущих произведениях Достоевского, отразился контекст русской и мировой истории, литературы, философии. На страницах романа упоминаются и в комментариях к нему перечислены сотни имён и названий произведений. Необыкновенно широк диапазон философских источников *«Братьев Карамазовых»* – от Платона и Плотина до Н. Ф. Фёдорова и Вл. С. Соловьёва. Но особо следует выделить в этом плане произведения русских религиозных мыслителей (Нил Сорский, *Тихон Задонский* и др.), провозглашавших идеал цельного человека, у которого различные духовные силы и способности находятся в единстве, а не противоречат друг другу, у которого нет борьбы между мыслью и сердцем, теоретическим разумом и нравственным началом, что, по мнению Достоевского, как раз противоположно западному рационализму, ведущему человечество в тупик. И, конечно,

особенно важную роль в идейно-нравственном содержании «Братьев Карамазовых» играет *Евангелие* – эпиграф, в котором заключена надежда на возрождение России после периода упадка и разложения, обильное цитирование евангельских текстов, постоянные разговоры и споры героев об евангельских притчах...



Страница черновика «Братьев Карамазовых».

Сохранилось несколько свидетельств о предполагаемом содержании второго романа «Братьев Карамазовых».

1) А. Г. Достоевская: «Издавать “Дневник писателя” Федор Михайлович предполагал в течение двух лет, а затем мечтал написать вторую часть “Братьев Карамазовых”, где появились бы почти все прежние герои, но уже через двадцать лет, почти в современную эпоху, когда они успели бы многое сделать и многое испытать в своей жизни...»; «...действие переносилось в восьмидесятые годы. Алёша уже являлся не юношей, а зрелым человеком, пережившим сложную душевную драму с Лизой Хохлаковой, Митя возвращается с каторги...». (Жена писателя допустила некоторую неточность: в предисловии к первому роману указано, что он «произошёл <...> тринадцать лет назад...»)

2) А. С Суворин: «Алеша Карамазов должен был явиться героем следующего романа, героем, из которого он хотел создать тип русского социалиста, не тот ходячий тип, который мы знаем и который вырос вполне на европейской почве...»; «Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он (Алёша. – *Ред.*) совершил бы политическое преступле-

ние. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером...»

3) Некий аноним Z («Новороссийский телеграф», 1880, 26 мая): «...из кое-каких слухов о дальнейшем содержании романа, слухов, распространившихся в петербургских литературных кружках, я могу сказать <...> что Алексей делается со временем сельским учителем и под влиянием каких-то особых психических процессов, совершающихся в его душе, он доходит даже до идеи о цареубийстве...»

4) Н. Гофман, немецкая исследовательница (опять же, со слов А. Г. Достоевской): «Алёша должен был – таков план писателя – по завещанию старца Зосимы, идти в мир, принять на себя его страдание и вину. Он женится на Лизе, потом покидает её ради прекрасной грешницы Грушеньки, которая пробуждает в нём «карамазовщину». После бурного периода заблуждений, сомнений и отрицаний, оставшись одиноким, Алёша возвращается опять в монастырь; он окружает себя детьми – им герой Достоевского посвящает всю свою жизнь: искренне любит их, учит, руководит ими...» [*Достоевская*, с. 503]

Во всех этих свидетельствах при разногласиях и разночтениях есть точки соприкосновения, и с абсолютной уверенностью можно сказать, что ненаписанный второй том «Братьев Карамазовых» был бы ещё более пророческим и провидческим, чем, скажем, «Бесы». Между прочим, в своих «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская высказала поразительную мысль-предположение, что-де, если бы даже её муж и оправился от своей смертельной болезни, которая свела его в могилу в конце января 1881 г., он непременно бы умер через месяц, узнав о злодейском убийстве 1-го марта царя-освободителя народовольцами.

По мере печатания последнего романа и особенно после триумфальной «Пушкинской речи» (8 июня 1880 г.) слава Достоевского росла и ширилась. Ни одно его предыдущее произведение не вызывало такого бурного внимания критики: за один только 1879 г. в столичной и провинциальной печати появилось несколько десятков отзывов. Многие рецензенты отмечали напряжённость сюжета, злободневность содержания, резкую исключительность героев, налёт мистицизма при несомненном реализме изображения. Характерным в этом плане можно считать суждение, сформулированное рецензентом «Голоса» (1879, № 156): «Несмотря на всю чудовищность и дикость положений, в которые ставятся его действующие лица, несмотря на несообразность их действий и мыслей, они являются живыми людьми. Хотя читателю иногда приходится <...> чувствовать себя в обстановке дома сумасшедших, но никогда в обстановке кабинета восковых фигур <...> в романах г-на Достоевского нет фальши...»

Из всего изобилия разборов «Братьев Карамазовых», появившихся при жизни автора, наиболее значимы: К. Н. Леонтьев «О всемирной любви», Н. К. Михайловский «Записки современника», В. П. Буренин «Литературные очерки», М. А. Антонович «Мистико-аскетический роман».

Отправляя 8 ноября 1880 г. в редакцию «Русского вестника» «Эпилог» романа Достоевский в сопроводительном письме писал Н. А. Любимову: «Ну вот и кончен роман! Работал его три года, печатал два – знаменательная для меня минута. К Рождеству хочу выпустить отдельное издание. Ужасно спрашивают, и здесь, и книгопродавцы по России; присылают уже деньги.

Мне же с Вами позвольте не прощаться. Ведь я намерен еще 20 лет жить и писать...»

Уверенность писателя в том, что новый его роман будет иметь «ужасный» успех полностью оправдалась: когда отдельное двухтомное издание «Братьев Карамазовых» вышло в начале декабря 1880 г., то буквально в несколько дней была раскуплена половина трёхтысячного тиража – для того времени ажиотаж небывалый. Предсказание же Фёдора Михайловича о 20 годах жизни и работы впереди, увы, не сбылось – жить ему оставалось меньше трёх месяцев и второй книге романа так и не суждено было появиться на свет.

Для читателей Алёша Карамазов так и остался навек – кротким послушником...

Введение

Статья I из цикла «Ряд статей о русской литературе». Вр, 1861, № 1, без подписи. (XVIII)

«Введение», открывая «Ряд статей о русской литературе», носит во многом обобщающе-теоретический характер, уточняя и разъясняя основные положения «почвенничества». Состоит эта вводная статья из 5 глав и довольно обширна по объёму (заняла в журнале 35 страниц). Построена она в виде диалога автора с воображаемыми собеседниками-европейцами, которые имеют о России совершенно превратное мнение. Квинтэссенция рассуждений писателя по этому поводу заключена в следующем утверждении: «Да, мы веруем, что русская нация – необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нём всё наоборот. Все европейцы идут к одной и той же цели, к одному и тому же идеалу; это бесспорно так. Но все они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны друг к другу до непримиримости, всё более и более расходятся по разным путям, уклоняясь от общей дороги...» И далее Достоевский горячо отстаивает убеждение, что «русский путь» к идеалу единственно верный и проделать его можно только, если образованная часть общества соединится с «почвой», и тогда, утверждает писатель, «кто знает, господа иностранцы, может быть, России именно предназначено <...> проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений ваших; согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения и, наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних, сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, ещё неизвестную в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собою...»

Великолепная мысль. Иметь в виду

Идея романа. Неосущ. замысел, 1870. (XII).

Эта запись в рабочей тетради на полстранички с подробным планом романа о писателе, который вследствие припадков «впал в отупение способностей и затем в нищету», появилась 16 /28/ февраля 1870 г., когда Достоевский начинал работу над *«Бесами»*. Ранее, в образе *Ивана Петровича («Униженные и оскорблённые»)*, Достоевский в какой-то мере использовал автобиографические черты. Задумывая данный сюжет, писатель намеревался ещё более откровенно и детально показать-объяснить своё положение «особняком» в русской литературе, свои эстетические воззрения, попытки воплощения в творчестве своей заветной идеи о «новом слове», почти невыносимые условия своей жизни и творческой деятельности... Герой-романист здесь не только страдает эпилепсией, но и вынужден писать к сроку, «на заказ», его недооценивают критика и пр., в записи упоминаются имена *И. С. Тургенева*, *М. Е. Салтыкова-Щедрина*, *И. А. Гончарова* и др. Чрезвычайно интересен в этом плане следующий фрагмент: «Ну, положим, с графом Л. Толстым или с г<осподином> Тургеневым <...> не равняю; *даже* с другим графом Толстым не равняю, но реалист Писемский – это другое дело! Ибо это водевиль французский, который выдают нам за русский реализм...»

В какой-то мере часть этого замысла отразилась позже в «Бесах» при создании образа романиста *Кармазинова*, других героев-литераторов и сцен-эпизодов вроде «кадрилы литературы».

Весенняя любовь

Неосущ. замысел, 1859. (III)

Это должен был быть роман (повесть) о любви, о сложных в психологическом плане взаимоотношениях главных героев «князя» и «литератора» и их соперничестве в любовном треугольнике... Наброски к плану Достоевский делал, по крайней мере, трижды: 23 июня, 23 ноября 1859 г. и 7 января 1860 г. Это был период подготовки к отъезду из Сибири и первых месяцев свободной жизни в *Твери*, затем в Петербурге, период возвращения в литературу. Перед автором «*Бедных людей*» стояла глобальная задача – восстановить своё писательское имя в глазах читающей публики, выступить в печати с произведением, которое по значимости не уступало бы его дебютному роману. Первые послекаторжные повести «*Дядюшкин сон*» и «*Село Степанчиково и его обитатели*» таких ожиданий не оправдали. Достоевский возлагал большие надежды в этом плане на «Весеннюю любовь», предполагая, видимо, такой же успех, какой выпал на долю нового романа *И. С. Тургенева* «Дворянское гнездо» (1859), который и самого Достоевского привёл в восхищение. Во многом этот замысел был и ориентирован на роман Тургенева, больше того, заглавие будущего произведения было «подсказано» статьёй-рецензией *П. В. Анненкова* «Наше общество в “Дворянском гнезде” Тургенева», где судьба тургеневской героини Лизы Калитиной сравнивалась с цветком, погибшим среди весны от неожиданного мороза...

Вряд ли «Весенняя любовь», будь она написана, повторила бы успех «Дворянского гнезда», с которым наверняка её бы сопоставляла-сравнивала читающая и критикующая публика. Достоевский, в конце концов, от этого замысла отказался и лишь частично использовал отдельные сюжетные коллизии плана, связанные с темой любви и взаимоотношениями героев-соперников, в романе «*Униженные и оскорблённые*», к работе над которым приступил с середины 1860 г.

Вечный муж

Рассказ. «Заря», 1870, № 1, 2. (IX)

Основные персонажи:

Багаутов Степан Михайлович;

Вельчанинов Алексей Иванович;

Голубчиков Дмитрий (Митенька);

Захлебнин Федосей Петрович;

Захлебнина Катерина Федосеевна;

Захлебнина Надежда Федосеевна;

Лобов Александр;

Марья Никитишина;

Марья Сысоевна;

Погорельцев Александр Павлович;

Погорельцева Клавдия Петровна;

Предпосылов;

Трусоцкая Лиза;

Трусоцкая Наталья Васильевна;

Трусоцкая Олимпиада Семёновна;

Трусоцкий Павел Павлович.

Павел Павлович Трусоцкий, проживающий в губернском городе Т. (в черновых материалах название города указывается полностью – *Тверь*), был вполне благополучным человеком: служил чиновником, получал хороший оклад, имел жену и дочь, пользовался, как ему казалось, уважением местного бомонда, к которому по праву принадлежал... И вдруг всё обрушилось в один миг: мало того, что супруга скоропостижно скончалась, но из её интимных писем несчастный муж узнаёт, что он был долгие годы рогоносцем, посмешищем общества, и восьмилетняя Лиза вовсе не его дочь. Трусоцкий приезжает вместе с девочкой в Петербург, разыскивает её настоящего отца, Вельчанинова, с целью отомстить. И мщение обманутому мужу удаётся в полной мере: он изматывает бывшего любовника своей жены морально, чуть не убивает физически, доводит до болезни и смерти Лизу... Через два года Вельчанинов встречает случайно Трусоцкого на железной дороге: тот снова женат, рядом с молодой женой новый любовник...

* * *

Безмерно ревнивый муж в качестве главного героя произведения уже появлялся в раннем рассказе Достоевского (1848) – «*Чужая жена и муж под кроватью*». В то время молодой писатель, не имеющий опыта семейной жизни и пробующий свои силы в разных жанрах, создал вполне традиционный комический, водевильный образ мужа-рогоносца. Взявшись за сходный сюжет в конце 1860-х, Достоевский создаёт психологическое исследование трагедии обманутого мужа. Хотя, по мнению многих исследователей, канву повести составили перипетии сибирского романа А. Е. Врангеля с замужней женщиной (Е. И. Гернгросс) и семейная жизнь С. Д. Яновского, но в психологический портрет мужа-ревнива писатель, надо полагать, вложил и немало личного. К тому времени он был уже второй раз женат и пережил страстный мучительный роман с А. П. Суловой, так что о чувстве жгучей ревности знал не понаслышке и, к слову, оставался ревнивцем до последних дней жизни. В качестве характерного примера можно вспомнить один только эпизод. Случилось это в мае 1876 г., уже после написания «Вечного мужа». А. Г. Достоевская в один из недоброй памяти весенних дней вздумала легкомыс-

ленно пошутить: переписала слово в слово грязное анонимное письмо из романа *С. И. Сазоновой (Смирновой)* «Сила характера», который только-только, буквально накануне, прочёл в «*Отечественных записках*» муж, и отправила его почтой на имя Фёдора Михайловича. На другой день, после весёлого и шумного семейного обеда, когда супруг удалился со стаканом чая к себе в кабинет читать свежие письма и уже должен был, по плану Анны Григорьевны, узнать из анонимного послания, что-де «близкая ему особа так недостойно его обманывает» и что ему стоит посмотреть-узнать, чей это портрет она «на сердце носит», – шутница пошла к нему, дабы вместе посмеяться. А кончилось всё чуть ли не трагически: Достоевский устроил жуткую сцену, сорвал с шеи жены цепочку с медальоном (поранив до крови) и увидел в медальоне портрет «с одной стороны – портрет нашей Любочки, с другой – свой собственный». А затем признался: «—Ведь я в гневе мог задушить тебя! Вот уж именно можно сказать: Бог спас, пожалел наших деток! И подумай, хоть бы я и не нашёл портрета, но во мне всегда оставалась бы капля сомнения в твоей верности, и я бы всю жизнь этим мучился. Умоляю тебя, не шути такими вещами, в ярости я за себя не отвечаю!..» [*Достоевская*, с. 316]

«Вечный муж» был написан в осенние месяцы 1869 г., в Дрездене, для нового журнала «Заря», издаваемого *В. В. Кашипиревым*. Достоевского подтолкнула на это личная просьба фактического редактора «Зари» *Н. Н. Страхова*, давнего знакомого и соратника по журналам «*Время*» и «*Эпоха*». Писателю показалась привлекательной и *славянофильская* программа затеянного Кашипиревым и Страховым издания. А, кроме того, писатель хотел в какой-то мере решить и часть острых финансовых проблем, «быстро» написав повесть всего лишь «листа в 2 печатных», прежде чем приступить к созданию очередного большого романа («*Бесы*»). Поначалу в конце февраля 1869 г. был составлен подробнейший «План для рассказа (в “Зарю”»)» Однако вскоре Достоевский отложил этот сюжет и написал совсем другое произведение. Работа над «Вечным мужем» оказалась сложнее, чем предполагал автор, объём «рассказа» увеличился в несколько раз, он потребовала от писателя немало сил и нервов. В результате, отправив рукопись в редакцию, Достоевский в письме к племяннице *С. А. Ивановой* от 14/26/ декабря 1869 г. в сердцах признавался: «Я был занят, писал мою проклятую повесть в “Зарю”. Начал поздно, а кончил всего неделю назад. Писал, кажется, ровно три месяца и написал одиннадцать печатных листов minimum. Можете себе представить, какая это была каторжная работа! Тем более, что я возненавидел эту мерзкую повесть с самого начала...»

Интересно, что вплоть до окончания работы над этим произведением и даже после публикации автор так и не определился до конца с его жанром и в письмах называл «Вечного мужа» то рассказом, то, чаще, повестью, то даже романом, в критике, как правило, применяется обозначение «повесть», что является обоснованным (и по объёму, и по количеству действующих лиц), но при публикациях произведения устоялся подзаголовок-обозначение – «Рассказ». В самый последний момент определился писатель и с названием, придумав его, скорее всего, по аналогии с выражением «вечный жид» – как легендарный еврей Агасфер осуждён Богом на вечные скитания, так Трусоцкий обречён быть вечно мужем-рогоносцем. Помнил, несомненно, Достоевский и роман «Вечный жид» французского писателя Эжена Сю, о котором писал ещё в самой ранней юности, 4 мая 1845 г., старшему брату: «“Вечный жид” недурен. Впрочем, Сю весьма недалёк...» И вообще, в этом произведении, как и всегда у Достоевского, немало литературных ассоциаций, аналогий, скрытого цитирования, пародийных мотивов. Особенно в этом плане интересны сюжетные переключки с комедией «Провинциалка» (1851) *И. С. Тургенева* и рассказом «Для детского возраста» (1863) *М. Е. Салтыкова-Щедрина*.

Современная Достоевскому критика не очень высоко оценила повесть-рассказ «Вечный муж», не поняв сложности художественно-психологических мотивировок поведения героев. Наиболее, может быть, адекватным оказался отзыв в «*Голосе*» (1870, № 79, 20 мар.): «Что может быть обыкновеннее истории человека, который женится; женившись, он становится

совершенным рабом своей жены и добродушно, сам того не замечая, носит длинные рога; что может быть, повторяем, обыкновеннее этой истории? А между тем – такова уж особенность таланта г. Достоевского – он рассказывает эту обыкновенную историю со всеми её реальными и вседневными, по-видимому, ничтожнейшими подробностями таким образом, что воображение читателя постоянно возбуждено, и какая-то таинственность, какая-то тайна кроется во всех этих кажущихся пошлостях жизни...»

Впоследствии Достоевский намеревался опубликовать в «Заре» большой роман *«Житие великого грешника»*, однако работа над *«Бесами»* для *«Русского вестника»* отодвинула эти планы, позже Достоевский разочаруется в журнале Кашпирева-Страхова (слишком далёк от злободневных вопросов!), да и сама «Заря» будет выходить недолго – только с 1869 по 1873 г.

Влас

Очерк. *Гр*, раздел *ДП* (V), 1873, № 4, 22 янв. (XXI)

Начинается статья цитированием отрывков и разбором стихотворения «Влас» (1854) *Н. А. Некрасова* (о раскаявшемся крестьянине-грешнике) и посвящена русскому характеру, любимым идеям Достоевского, постоянно присутствующим в его творчестве, – о стремлении русского человека во всём дойти до черты, об идеале Христа, который народ русский носит в сердце своём, о потребности страдания, свойственной простым людям... Основу статьи занимает рассказ о двух мужиках, которые поспорили, кто из них «дерзостнее сделает». Один «Влас» и вызвался на спор совершить страшное святотатство – выстрелить из ружья в причастие. Только в последний момент, уже когда прицелился, было ему видение – будто целится он в крест со Спасителем. Мужик «упал с ружьём в бесчувствии», мучился несколько лет, а потом приполз на коленях к старцу-исповеднику за покаянием. Но Достоевского интересует не только этот, раскаявшийся «Влас» (настоящее имя его не известно), но ещё более второй, тот, который подзуживал первого, спровоцировал на святотатство – «нигилист деревенский». Квинтэссенция рассуждений Достоевского о двух народных типах завершается убеждённым пророческим выводом-обобщением: «Конечно, интерес рассказанной истории, – если только в ней есть интерес, – лишь в том, что она истинная. Но заглядывать в душу современного Власа иногда дело не лишнее. Современный Влас быстро изменяется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены; может, захочет кутнуть, махнуть через край. Говорят, уж закутил. Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие. Соображают иные, серьёзные, но несколько торопливые люди, и соображают по фактам, что если продолжится такой “кутёж” ещё хоть только на десять лет, то и представить нельзя последствий, хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним “Власа” и успокоимся: в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнётся Влас и возьмётся за дело Божие. Во всяком случае спасёт себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки – свет и спасение воссияют снизу (в совершенно, может быть, неожиданном виде для наших либералов, и в этом будет много комического). <...> Во всяком случае наша несостоятельность как “птенцов гнезда Петрова” в настоящий момент несомненна. Да ведь девятнадцатым февралём и закончился по-настоящему петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность».

Вопрос об университетах

Статья. (Коллективное /?/). *Вр*, 1861, № 11, без подписи. (XIX)

Данная статья была второй, помещённой под общим заголовком *«Ряд статей о русской литературе. Статья пятая»*, вслед за статьёй *«Последние литературные явления. Газета “День”»* и, таким образом, завершила весь цикл. *Н. Н. Страхов* не включил её в список журнальных статей Достоевского, составленный им по просьбе *А. Г. Достоевской* при подготовке первого посмертного издания сочинений писателя. Однако ж, по предположениям исследователей, Достоевский принимал участие в написании этой статьи (наряду с *М. М. Достоевским* или *Страховым*) и ему принадлежит по крайней мере часть текста и редактura его. «Вопрос об университетах» – отклик *«Времени»* на развернувшееся в прессе обсуждение предстоящей реформы университетского образования.

<В повесть Некрасову>

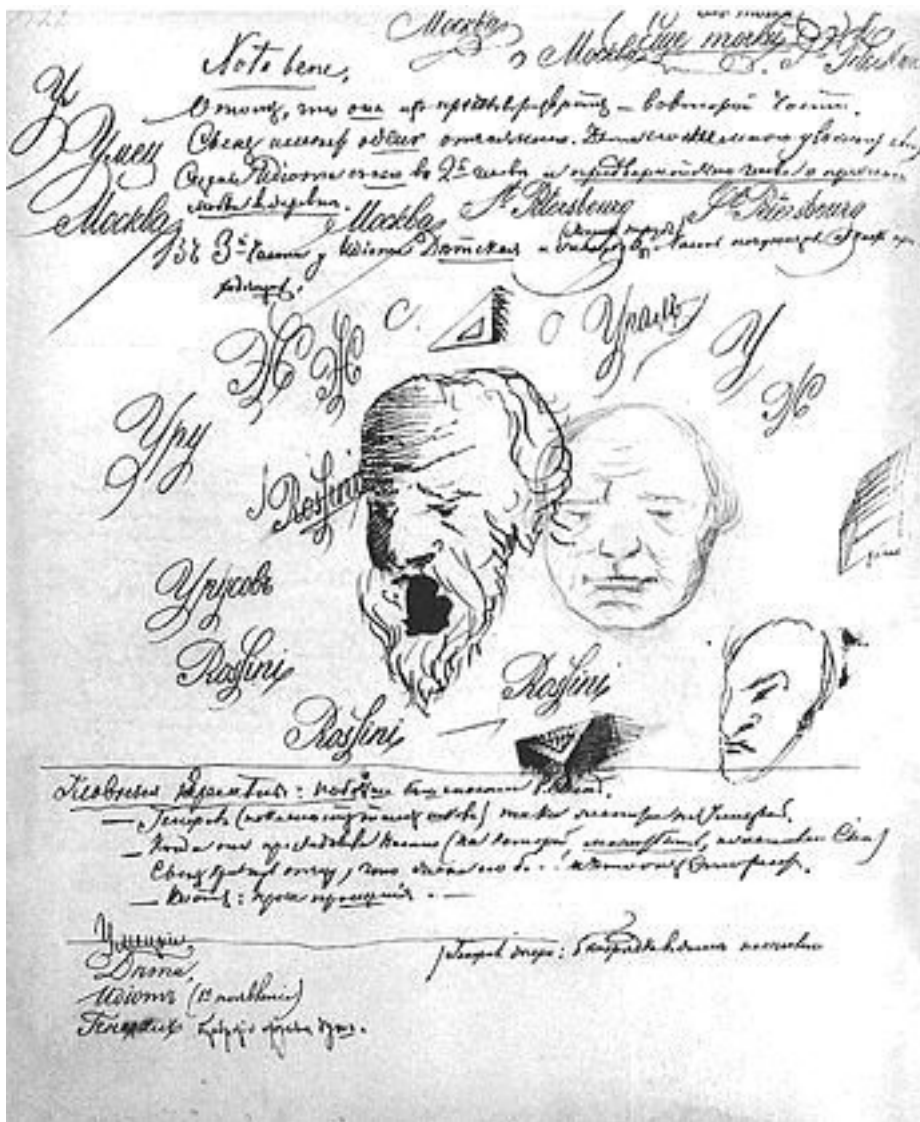
Неосущ. замысел, 1876—1877. (XVII)

Достоевский намеревался и после публикации романа *«Подросток»* в *«Отечественных записках»* продолжить сотрудничество в этом демократическом журнале. Им даже был взят аванс в 1000 рублей под будущую повесть. В рабочей тетради этого периода появились три очень короткие записи: две с пометой «В повесть Некрасову», одна – «Некрасову», содержащие общую характеристику героя, очень «мстительного» человека, и несколько диалогических реплик. Так как *Н. А. Некрасов* в этот период был уже тяжело болен переговоры с Достоевским об обещанной повести вели в письмах сначала секретарь редакции *ОЗ* и близкий товарищ писателя *А. Н. Плещеев*, позднее – *М. Е. Салтыков-Щедрин*. Напряжённая работа над *«Дневником писателя»*, а затем над *«Братьями Карамазовыми»*, да и, в какой то мере, смерть Некрасова так и не позволили Достоевскому исполнить обещание (что очень его мучило). Аванс за ненаписанную повесть уже после кончины писателя, в 1884 г., редакции вернула *А. Г. Достоевская*.

Вступление <к альманаху “1 апреля”>

(Коллективное). «Первое апреля», 1846. (XVIII)

После запрещения альманаха «Зубоскал», Н. А. Некрасов задумал новый альманах под названием «Первое апреля». Д. И. Григорович утверждал в своих воспоминаниях, что это он снова написал к нему «предисловие». Однако исследователи на основе анализа текста пришли к заключению, что соавтором Григоровича в данном случае несомненно был Достоевский.



Рисунки Достоевского.

Выставка в академии художеств за 1860—61 год

Статья. *Вр*, 1861, № 10, без подписи. (XIX)

Н. Н. Страхов не включил данную статью в составленный им для *А. Г. Достоевской* список анонимных статей Достоевского из журнала «*Время*», однако ряд авторитетных исследователей (в частности, Л. П. Гроссман) считают её принадлежащей перу писателя, но не исключено, что он был только соавтором. Эта статья об открывшейся 10 сентября 1861 г. выставке в Академии художеств появилась в пору ожесточённой полемики внутри самой Академии и в прессе о перспективах развития русского изобразительного искусства. Большое место в начале статьи уделено картине В. И. Якоби (1834—1902) «Привал арестантов», получившей большую золотую медаль, о которой бывшему каторжанину и автору «*Записок из Мёртвого дома*» было что сказать. Главное, что не устроило Достоевского в данной картине – формальный реализм, фотографичность без проникновения в психологию, внутренний мир изображённых персонажей. С подобных эстетических позиций разбираются в статье-обзоре и другие полотна выставки.

Г-н —бов и вопрос об искусстве

Статья II из цикла «Ряд статей о русской литературе». Вр, 1861, № 2. (XVIII)

В этой статье изложены основные эстетические взгляды Достоевского-художника и критическая платформа журнала «Время». Открывается статья кратким ироническим очерком истории «Отечественных записок» за предшествующие почти 15 лет (с момента ухода из журнала В. Г. Белинского), затем идёт характеристика современного литературного процесса, главным в котором, по мнению Достоевского, является разделение «многих из современных писателей наших на два враждебных лагеря» по вопросу об искусстве. И далее основное место в статье занимает критический разбор статей Н. А. Добролюбова «Черты для характеристики простонародья» (о рассказах Марко Вовчка) и «Стихотворения Ивана Никитина», опубликованных на страницах «Современника» в 1860 г. Ещё в 1849 г. в «Объяснении» Секретной следственной комиссии по делу петрашевцев Достоевский заявил один из краеугольных постулатов своей эстетической программы, «что искусство само себе целью, что автор должен только хлопотать о художественности, а идея придёт сама собою, ибо она необходимое условие художественности...» В данной статье он развивает эту мысль, говоря о разделении современного искусства на две партии – сторонников «чистого искусства» и «утилитаристов». Достоевский во многом не согласен с первыми, но совершенное неприятие вызывает у него «антиэстетическая» программа вторых. Полемизируя с ней, писатель формулирует своё творческое кредо: «Нам скажут, что мы это всё выдумали, что утилитаристы никогда не шли против художественности. Напротив, не только шли, но мы заметили, что им даже особенно приятно позлиться на иное литературное произведение, если в нём главное достоинство – художественность. Они, например, ненавидят Пушкина, называют все его вдохновения вычурами, кривляниями, фокусами и фиоритурами, а стихотворения его – альбомными побрякушками. Даже самое появление Пушкина в нашей литературе они считают как будто чем-то незаконным. Мы вовсе не преувеличиваем. Всё это почти ясно выражено г-ном —бовым в некоторых критических статьях его прошлого года. Заметно ещё, что г-н —бов начинает высказываться с каким-то особенным нерасположением о г-не Тургеневе, самом художественном из всех современных русских писателей. В статье же своей <...> при разборе сочинений Марка Вовчка, г-н —бов почти прямо высказывает, что художественность он считает ничем, нулём, и высказывает именно тем, что не умеет понять, к чему полезна художественность. При разборе одной повести Марка Вовчка г-н —бов прямо признаёт, что автор написал эту повесть нехудожественно, и тут же, сейчас же после этих слов, утверждает, что автор достиг вполне этой повестью своей цели, а именно: вполне доказал, что такой-то факт существует в русском простонародье. Между тем этот факт (очень важный) не только не доказывается этой повестью, но даже вполне подвергается сомнению именно потому, что по нехудожественности автора действующие лица повести, выставленные автором для доказательства его главной идеи, утратили под пером его всякое русское значение, и читатель скорее согласится назвать их шотландцами, итальянцами, североамериканцами, чем русским простонародьем. Как же в таком случае могли бы они доказать собою, что такой-то факт существует в русском простонародье, когда сами они, действующие лица, не похожи на русское простонародье? Но г-ну —бову до этого решительно нет дела; была бы видна идея, цель, хотя бы все нитки и пружины грубо выглядывали наружу; к чему же после этого художественность? <...> Чем познается художественность в произведении искусства? Тем, если мы видим согласие, по возможности полное, художественной идеи с той формой, в которую она воплощена. Скажем ещё яснее: художественность, например, хоть бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель пони-

мал её, создавая своё произведение. Следственно, попросту: художественность в писателе есть способность писать хорошо. Следственно, те, которые ни во что не ставят художественность, допускают, что позволительно писать нехорошо. А уж если согласятся, что позволительно, то ведь отсюда недалеко и до того, когда просто скажут: что надо писать нехорошо...»

Гоголь и Островский

Неосущ. замысел, 1861.

Во «Введении» к *«Ряду статей о русской литературе»*, упомянув имя *А. Н. Островского*, Достоевский обещал «потом» написать в рамках этого цикла о драматурге и его творчестве подробнее, отдельно. Примерно в это же время в записной книжке 1860—1862 гг. появился фрагмент с пометой «В статью “Гоголь и Островский”». Статья так и не была написана.

Господин Прохарчин

Рассказ. ОЗ, 1846, № 10. (I)

Основные персонажи:

Зимовейкин;

Зиновий Прокофьевич;

Кантарев;

Марк Иванович;

Океанов;

Оплеваниев;

Преполовенко;

Прохарчин Семён Иванович;

Ремнев;

Судьбин;

Устинья Фёдоровна;

Ярослав Ильич.

В квартире от жильцов снимает угол бедный мелкий чиновник Прохарчин. Он настолько нищ, что даже платит за жильё всего пять рублей – в два раза меньше многих других жильцов, он экономит каждый грошик на еде, на одежде. Некоторые соседи, впрочем, замечали, что даже на такую мизерную зарплату можно было бы жить-существовать и более достойно. Когда же несчастный горемыка неожиданно умер, в его полусгнившем тюфяке обнаружили-нашли целый капитал – почти две с половиной тысячи рублей...

* * *

После публикации «Бедных людей» и «Двойника» Достоевский был переполнен новыми замыслами, в том числе для задуманного В. Г. Белинским альманаха «Левиафан» (который так и не вышел) он собирался написать «Повесть об уничтоженных канцеляриях». «Господин Прохарчин» сюжетно связан с этим замыслом – главный герой заболевает и умирает из-за переживаний, что канцелярию его закроют и он лишится места. Работа над рассказом заняла всё лето 1846 г. и далась писателю тяжело. Причём, именно с этого произведения началась кабальная «метода», ставшая для Достоевского основополагающей на всю оставшуюся жизнь: он забрал гонорар в «Отечественных записках» вперёд, авансом, и вынужден был его отработывать. Отзывы тогдашней критики о «Прохарчине» были противоречивы. Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (1847) оценил его крайне отрицательно: «... появилось третье произведение г. Достоевского, повесть “Господин Прохарчин”, которая всех почитателей таланта г. Достоевского привела в неприятное удивление. В ней сверкают яркие искры большого таланта, но они сверкают в такой густой темноте, что их свет ничего не даёт рассмотреть читателю... Сколько нам кажется, ни вдохновение, ни свободное и наивное творчество породило эту странную повесть, а что-то вроде... как бы это сказать? – не то умничанья, не то претензии...» Позже Н. А. Добролюбов в статье «Забитые люди» (1861) даст более глубокую оценку рассказа, поставив его заглавного героя в ряд с другими образами «людей-ветошек», созданными Достоевским в ранний период творчества.

Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах

Статья. Э, 1864, № 5. (XX)

В 5-м номере *«Современника»* за 1864 г. появилась статья *М. Е. Салтыкова-Щедрина* «Литературные мелочи». В ней сатирик-демократ размышлял о «дряни» и «дрянных людях» в связи с *«Записками из подполья»* Достоевского, только что опубликованными в *«Эпохе»*, позволил себе резкие сатирические выпады в адрес *А. А. Григорьева*, *М. М. Достоевского* и *Н. Н. Страхова*, а в финале вывел под видом аллегории «драматическую быль» «Стрижи», в которой опять-таки безжалостно высмеял братьев Достоевских и основных сотрудников их журнала. Автор «Записок из подполья» был выведен здесь в образе «Стрижа четвёртого, беллетриста унылого», а произведение его носит название – «Записки о бессмертии души». Ответная статья Достоевского носила ярко-памфлетный характер и была направлена не только против Щедрина, но и против всего революционно-демократического лагеря, где в разгоревшейся полемике между журналами *«Современник»* и *«Русское слово»* компрометировались, по мнению Достоевского, самые основы революционно-демократической идеологии.

Два лагеря теоретиков

(По поводу «Дня» и кой-чего другого). Статья. Вр, 1862, № 2. (XX)

В демократическом журнале «Современник» (1861, № 12) была опубликована статья М. А. Антоновича «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе “Времени”», направленная против журнала братьев Достоевских и *почвенничества* как идейного направления. Критик охарактеризовал теоретическую платформу «Времени» (выраженную, в частности, в *Объявлениях* об издании журнала и «Ряде статей о русской литературе» самого Достоевского), призыв к примирению народа и высших классов – как утопию. Прежде чем думать и мечтать о грамотности народа, необходимо сделать его свободным и дать ему кусок хлеба, за что «образованное меньшинство» и должно бороться – таков основной тезис Антоновича. Между тем, Достоевского не устраивала и позиция славянофильской газеты «День», где идеализировалась допетровская Русь. В результате и появилась вот эта во многом программная статья писателя, направленная и против «Современника», и против «Дня». Главная мысль её заключена в следующих словах: «Так вот два лагеря теоретиков, из которых один отрицает в принципе народность и, следовательно, наше чисто народное начало – земство. Другой понимает значение нашего земства по-своему и, во имя своей теории, не отдаёт справедливости и нашему образованному обществу... Те и другие, как видно, судят о жизни по теории и признают в ней и понимают только то, что не противоречит их исходной точке. А между тем часть истины есть и в том и в другом взгляде... и без этих частей невозможно обойтись при решении вопроса, что нужно нам, куда идти и что делать?..» Несмотря на стремление Достоевского сохранить беспристрастность в оценке сильных и слабых сторон *славянофильства* и *западничества*, в статье явно ощущается, что идеи славянофилов ему всё же ближе.

Две заметки редактора

Статья. *Гр*, 1873, № 27, 2 июля. (XXI)

Данная публикация состоит из двух частей. В первой Достоевский отвечает на письмо неизвестной слушательницы Высших московских женских курсов, помещённое в этом же номере «*Гражданина*», которая упрекала журнал в якобы выступлениях против высшего женского образования в России. Достоевский как редактор ещё раз уточняет: «Припомним же, что мы пожелали и о чём заявили в 22 № “Гражданина”».

“1) Строгая учебная дисциплина может быть введена и иметь целью требовать от женщин неперменного учения, безо всяких послаблений в их пользу, и немедленно исключать тех из них, которые не учатся или учатся дурно.

2) Малейшее нарушение правил нравственности должно повлечь за собою немедленное исключение женщины из числа учащихся.

3) Ежегодные экзамены должны быть безусловно строги».

И вот за такие желания, или подобные им, нас обыкновенно объявляют в печати и обществе – ретроградами. <...> Но уверены ли вы, спрашиваем опять, что все слушательницы женских курсов садятся теперь <...> на студентскую скамью с ясным сознанием того, чего хотят, и не путаются в пустопорожних теориях? И вот единственно потому мы и желали, <...> чтоб женщины являлись прежде всего учиться и чтобы требовать от них непременно учения, самым строжайшим образом...»

Во второй «заметке» Достоевский объясняет, почему не отвечает «на критики, нападения и ругательства» в адрес *Гр* и его лично со стороны других печатных изданий, в основном, так называемой «либеральной журналистики». Здесь он повторяет аргументацию, уже высказанную им в «Полписьме “одного лица”» на страницах «*Дневника писателя*» (1873): «Во-первых и главное: не отвечать же каждому шуту?..» Достоевский специально оговаривается, что есть и не шуты, но зато «неискренние», так что отвечать им тоже чести мало. «Это целая толпа пишущей братии, когда-то, от предков наследовавшая несколько либеральных мыслей, но в совершенной их наготе и наивности, безо всякого их развития и толку. Что у Белинского и Добролюбова предлагалось всё же с некоторою последовательностью, то утратило у них все концы и начала. <...> Первая их забота, разумеется, чтоб было либерально...» И далее в особую вину Достоевский ставит таким «публицистам» то, что они даже о самых серьёзных и даже трагических проблемах (эпидемия самоубийств, распространение пьянства) зубоскалят и с горечью резюмирует: «Тут окончательная утрата понимания всего, что вне их приёмов, привычек и ихнего казённого и вымученного фельетонного слога, утрата почти языка человеческого...»

Но совсем особо упоминается в заметке г-н Н. М. (*Н. К. Михайловский*) из «*Отечественных записок*», который, по мнению Достоевского, безусловно искренний и умный публицист, и которому он давно хотел отвечать и обязательно ответит на его «критики». Полностью, в отдельной статье, своё обещание впоследствии Достоевский так и не исполнил.

Двойник

Петербургская поэма. Повесть. ОЗ, 1846, № 2, с подзаголовком «Приключения господина Голядкина». (I)

Основные персонажи:

Андрей Филиппович;
Берендеев Олсуфий Иванович;
Берендеева Клара Олсуфьевна;
Вахрамеев Нестор Игнатьевич;
Владимир Семёнович;
Генерал;
Голядкин Яков Петрович;
Голядкин Яков Петрович (младший);
Емельян Герасимович (Герасимыч);
Каролина Ивановна;
Остафьев;
Петрушка;
Писаренко;
Рутенишниц Крестьян Иванович;
Сеточкин Антон Антонович.

Мелкий, но чрезвычайно амбициозный чиновник 9-го класса (титулярный советник) Яков Петрович Голядкин до определённого момента был своим существованием доволен: ждал повышения по службе, жил в своей квартире, имел камердинера. Но угораздило его влюбиться в дочку статского советника Берендеева. Повесть начинается с эпизода-катастрофы, когда бедного Голядкина не пускают на званый обед по случаю дня рождения Клары Олсуфьевны в дом Берендеевых, а когда он всё-таки окольными путями проникает внутрь, его с позором, на глазах всех гостей и самой Клары Олсуфьевны в буквальном смысле вышвыривают вон. Именно в этот вечер Голядкин впервые и сталкивается со своим двойником – Голядкиным-младшим, который уже в скором времени обходит Голядкина-старшего и по службе, и в личной жизни и вообще полностью и совсем оттесняет Якова Петровича, занимает его место в этом мире. Бедный Голядкин борется-сопротивляется изо всех своих сил, но, увы, борьба заканчивается тем, что его увозят в сумасшедший дом...

* * *

Достоевский приступил к работе над «Двойником» вскоре после окончания «*Бедных людей*» и уже окрылённый их первым, ещё до публикации, успехом. Повесть была начата в июне 1845 г. и закончена 28 января 1846 г. Ещё в процессе работы над произведением сам автор высоко оценивал его: «Голядкин выходит превосходно; это будет мой chef-d'oeuvre [*фр.* шедевр]...» (М. М. Достоевскому, 16 нояб. 1845 г.). В день выхода книжки журнала с повестью (1 фев. 1846 г.) он снова пишет брату: «Голядкин в 10 раз выше “Бедных людей”. Наши говорят, что после “Мёртвых душ” на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное <...> Действительно, Голядкин удался мне донельзя...» Достоевский в этом не лукавил: «наши», то есть члены кружка В. Г. Белинского и, в первую очередь, сам критик, и правду, чрезвычайно похвально отзывались о тех фрагментах «Двойника», которые читал им автор ещё до публикации. Однако ж после появления всего текста в журнале вторая повесть Достоевского вызвала всеобщее разочарование: «...нашли, что до того Голядкин скучен и вял, до того

растянут, что читать нет возможности...» И далее в этом же письму к брату от 1 апреля 1846 г. Достоевский признавался: «Мне Голядкин опротивел. Много в нём писано наскоро и в утомлении. 1-ая половина лучше последней. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется...» Уже осенью 1846 г. писатель задумал переделку «Двойника». К этой мысли он возвращался и в следующем 1847 г., затем уже после каторги, в 1859-м, и чуть позже, в начале 1860-х, но лишь в 1866 г., в связи с подготовкой собрания своих сочинений в издании *Ф. Т. Стелловского*, Достоевский несколько доработал повесть – убрал второстепенные эпизоды, сделал стилистическую правку, снял заголовки глав и изменил их нумерацию, вместо прежнего подзаголовка поставил «Петербургская поэма»...

Новый подзаголовок соотносил повесть Достоевского с «Мёртвыми душами» *Н. В. Гоголя*, с художественным миром которого «Двойник» и помимо этого был тесно связан: основные линии сюжета (поражение бедного чиновника в борьбе с более высокопоставленным соперником за сердце и руку генеральской дочки и развивающееся на этой почве безумие героя; раздвоение личности) перекликаются с «Записками сумасшедшего» и «Носом», имена и фамилии отдельных персонажей (Голядкин, Петрушка, господ Бассаврюковы и др.) выдержаны в гоголевской традиции и т. п. Конечно, речь идёт не о подражательности или заимствовании, речь – о преемственности литературных традиций, уже разработанных Гоголем, а порой и о пародийных мотивах (которые ещё более явственно проявятся позже в «*Селе Степанчикове и его обитателях*»). Ранее Достоевского мотив двойничества, раздвоения сознания использовали в русской литературе, в частности, ещё и А. Погорельский (А. А. Перовский) в сборнике новелл «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828), А. Ф. Вельтман в романе «Сердце и думка» (1838).

Уже на склоне лет в «*Дневнике писателя*» (1877, ноябрь) Достоевский признался по поводу «Двойника»: «Повесть эта мне положительно не удалась, но идея её была довольно светлая, и серьёзнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил...» А чуть ранее, в записной тетради 1872—1875 гг., он о Голядкине-младшем написал: «Мой главнейший подпольный тип...» В дальнейшем творчестве писателя тема душевного «подполья» будет развита в «*Записках из подполья*» и всех последующих произведениях, вплоть до «*Братьев Карамазовых*» (сцена с Чёртом), а мотив двойничества также будет разрабатываться и углубляться в поздних романах, где главным героям будут как бы сопоставлены их сниженные, «подпольные» двойники (*Раскольников* – *Свидригайлов* в «*Преступлении и наказании*», *Ставрогин* – *Пётр Верховенский* в «*Бесах*», *Иван Карамазов* – *Смердяков* и *Чёрт* в «*Братьях Карамазовых*» и др.).

Наиболее полные критические отзывы о «Двойнике» при жизни автора были даны в рецензии Белинского на «*Петербургский сборник*» (ОЗ, 1846, № 3), его статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (С, 1847, № 1), в статьях *В. Н. Майкова* «Нечто о русской литературе в 1846 году» (ОЗ, 1847, № 1), *Н. А. Добролюбова* «Забитые люди» (С, 1861, № 9).

Детская сказка

См. Маленький герой.

Дневник писателя. 1873

Гр. (XXI)

С первых шагов на литературном поприще Достоевского привлекал жанр публицистики. Первым крупным опытом в этом плане можно считать его *фельетоны* из цикла «*Петербургская летопись*» (1847). Издавая в 1860-х гг. вместе с братом М. М. Достоевским журналы «*Время*» и «*Эпоха*», писатель продолжил разрабатывать этот жанр в таких крупных художественно-публицистических произведениях, как: «*Ряд статей о русской литературе*», «*Петербургские сновидения в стихах и прозе*», «*Зимние заметки о летних впечатлениях*». Именно они подготовили во многом форму будущего ДП. В период, когда крах «*Эпохи*» уже был неизбежен, появляются в рабочей тетради и переписке упоминания о замысле нового издания по типу журнала под названием «*Записная книга*». Идею тогда осуществить не удалось, но Достоевский её не оставил и за границей, откуда писал, в частности, племяннице С. А. Ивановой (29 сент. / 11 окт. / 1867 г.): «...хочу издавать, возвратясь, нечто вроде газеты...» Возглавив с января 1873 г. газету-журнал князя В. П. Мецгерского «*Гражданин*» писатель получил наконец возможность в какой-то мере реализовать свой давнишний замысел, но только в урезанном, не полном виде. Однако ж именно на страницах этого чужого издания окончательно определились форма личного «*Дневника писателя*» (который автор поначалу хотел назвать – «*Дневник литератора*»), предполагавшая доверительность, исповедальность тона, метод подачи материалов в основном в диалогической форме, соединение на его страницах злободневности, фельетонности содержания с мемуарами, с художественной прозой... По существу, начался прямой диалог писателя-романиста со своими читателями. Одни темы, поднятые в первых выпусках ДП, были уже заявлены в только что законченном романе «*Бесы*», часть тем была подсказана материалами, опубликованными в самом «*Гражданине*», в других периодических изданиях. Всего на страницах Гр в 1873 г. вышло 15 (без «*Вступления*») выпусков ДП. Ниже приведён их перечень с датой публикации. Выпуски (в первую очередь – художественные произведения), играющие особенно важную роль в творческом наследии Достоевского (заглавия их даны курсивом), рассмотрены в отдельных статьях.



Ф. М. Достоевский. Фотография В. Я. Лауфферта, 1872 г.

I. Вступление. (*Гр*, № 1, 1 янв.) Достоевский, обращаясь к читателям *Гр*, рассказал о своих задачах в качестве нового редактора газеты-журнала, охарактеризовал новую необычную форму *ДП* – персональной и единоличной публицистической трибуны с диалогической манерой подачи материалов.

II. Старые люди. (*Гр*, № 1, 1 янв.) Размышления автора о самых ярких представителях поколения 1840-х гг. – А. И. Герцене и В. Г. Белинском. Именно по этому очерку в какой-то мере можно составить представление о написанной Достоевским за границей и утерянной статье «*Знакомство моё с Белинским*» (1867).

III. Среда. (*Гр*, № 2, 8 янв.) Выпуск посвящён судебной реформе в связи с введением суда присяжных и пресловутой формуле «среда заела», которую Достоевский опровергал ещё на страницах «*Записок из Мёртвого дома*» (1860—1862). Автор приводит ряд картинок-примеров, когда приговор, вынесенный присяжными, совершенно не соответствует тяжести преступления.

IV. Нечто личное. (*Гр*, № 3, 8 янв.) своеобразный ответ автора «*Бесов*» тем критикам, которые ставили его в один ряд с авторами «антинигилистических» романов. Вспоминается здесь и история с повестью «*Крокодил*», которую в демократическом лагере посчитали пасквилем на Н. Г. Чернышевского. Достоевский горячо отвергает эти инвективы и, не затушёвывая своих идейных расхождений с демократическим лагерем и Чернышевским конкретно, недву-

смысленно выразил своё сочувствие и уважение к последнему как «сам бывший ссыльный и каторжный».

V. Влас. (Гр, № 4, 22 янв.) Очерк.

VI. Бобок. (Гр, № 6, 5 фев.) Рассказ.

VII. «Смятенный вид». (Гр, № 8, 19 фев.) Здесь Достоевский, разбирая повесть Н. С. Лескова «Запечатленный ангел» (РВ, 1873, № 1), поднимает вопрос о движениях в русском сектантстве 1870-х гг. и о недостаточно действенном отношении православных священников к своей миссии. Признавая художественные достоинства повести, автор ДП выразил своё недоверие достоверности описанных в ней событий: неужели православные священнослужители так беспомощны и бесправны перед чиновниками?..

VIII. Полписьма «одного лица». (Гр, № 10, 5 мар.) Статья написана в пародийном ключе. Источником послужили, во-первых, полемические выступления газеты «Голос» против первых выпусков ДП, во-вторых, – полемика между В. П. Бурениным (СПбВед) и Н. К. Михайловским (ОЗ). Объектом пародии стали фельетоны Буренина, направленные против Михайловского и других сотрудников демократического журнала. «Одно лицо» уже являлся в ДП автором рассказа «Бобок» (псевдоним дан ему редакцией), в конце же он подписывается вторым псевдонимом, имеющим пародийное звучание – Молчаливый наблюдатель.

IX. По поводу выставки. (Гр, № 13, 26 мар.) Статья посвящена художественной выставке произведений живописи и скульптуры, предназначенных для отправки в Вену на всемирную выставку, которая открылась в Петербурге в марте 1873 г. Внимание публики и критики особенно привлекали две картины – «Бурлаки» И. Е. Репина и «Грешница» Г. И. Семирадского. Критика разделилась на два лагеря: демократическая часть превозносила полотно Репина, академическая критика – Семирадского. Достоевский, ни словом не упомянув о «Грешнице», всё своё внимание уделил «Бурлакам», восприняв их как торжество правды в искусстве. Помимо конкретных впечатлений, в статье Достоевского содержатся и теоретические рассуждения о назначении искусства и роли художника в обществе, что сближает её со статьёй «Г-н — бов и вопрос об искусстве» (1861).

X. Ряженный. (Гр, № 18, 30 апр.) Данная статья напрямую связана со статьёй «VII. Смятенный вид», в которой Достоевский признал повесть Н. С. Лескова «Запечатленный ангел» «в некоторых подробностях почти неправдоподобной». Обиженный Лесков, в свою очередь, в апреле 1873 г. в газете «Русский мир» под псевдонимами «Псаломщик» и «Свящ. П. Касторский» опубликовал две заметки, в которых обвинил автора ДП в незнании церковного быта. В «Ряжене» на основе анализа содержания и стиля этих «ругательных» заметок Достоевский дал понять, что знает настоящее имя их автора и сформулировал своё понимание задач творчества, отличающееся от художественных исканий Лескова и подобных ему писателей-реалистов, которые стремились воссоздать «народность» в своих произведениях в основном посредством дословного воссоздания простонародной речи.

XI. Мечты и грёзы. (Гр, № 21, 21 мая) Статья посвящена глобальным вопросам: исторической миссии России, задаче объединения интеллигенции и её сближения с народом. В связи с этим Достоевский поднимает проблему, которая волновала его и раньше («Пьяненькие», «Преступление и наказание»), которая уже не раз поднималась на страницах Гр, в том числе и самим Достоевским («Пожар в селе Измайлове»), и которая не раз ещё появится в ДП, в частности, уже в следующем, XII-м, выпуске – повсеместное пьянство, спаивание народа: «Есть местности, где на полсотни жителей и кабак, менее даже чем на полсотни. <...> Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают... <...> Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц? <...> Но какой же образуется труд при таких кабаках? Настоящие, правильные капиталы возникают в стране не иначе как основываясь на всеобщем трудовом благосостоянии её, иначе могут образоваться лишь капиталы кулаков и

жидов. Так и будет, если дело продолжится, если сам народ не опомнится; а интеллигенция не поможет ему...»

ХII. По поводу одной драмы. (Гр, № 25, 18 июня) Здесь дан разбор драмы Д. Д. Кишенского «Пить до дна – не видать добра», опубликованной в «Гражданине» (1873, № 23—25). Пьеса привлекла внимание Достоевского прежде всего поднятыми в ней темами: нравственный распад пореформенной деревни, повсеместное пьянство народа, разложение крестьянской общины. Вместе с тем в разборе есть и немало критики в адрес автора драмы за художественные просчёты – натуралистический язык, нарушения такта и меры, наивность.

ХIII. Маленькие картинки. (Гр, № 29, 16 июля) Статья посвящена теме Петербурга, состоит из трёх частей-«картинок», просмотренных автором на улицах летнего душного города, и близка по форме к фельетону. Как раз в тот период в прессе обсуждался «Доклад высочайше учреждённой комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в России» (СПб., 1873). «Маленькие картинки» полемически связаны с этими откликами, в первую очередь, с обзорением А. С. Суворина «Недельные очерки и картинки», которое появилось буквально накануне (*СпбВед*, 1873, № 192, 15 июля) и которое, судя по всему, подсказало Достоевскому заглавие фельетона. В «Докладе» говорилось о нравственном разложении народа, ставилось под сомнение полезность крестьянской реформы. Автор ДП, соглашаясь с Сувориным и другими критиками «Доклада», полемизировал с ними в основном вопросе – о путях развития России. В следующей статье «Дневника» («Учителю») Достоевский дал как бы автокомментарий к «Маленьким картинкам».

ХIV. Учителю. (Гр, № 32, 6 авг.) В газете «Голос» (1873, № 210, 31 июля) появился фельетон «Московские заметки», в котором анонимный автор назвал «мелочной» и «неэтичной» «картинку № 2» (где речь шла о широко употребляемом в народе матерном слове) из предыдущего выпуска ДП. Достоевский в данной статье отвечает «Голосу» и доказывает важность проблематики «Маленьких картинок».

ХV. Нечто о вранье. (Гр, № 35, 27 авг.) Главная тема – негативные последствия послепетровского периода в психологии русского дворянства, выразившиеся в слепом преклонении перед Европой, неуважении к самим себе. Тема эта была продолжена в статье «Маленькие картинки (в дороге)» (1874), в ДП за 1876 г. (Июль—август, гл. I, «Выезд за границу. Нечто о русских в вагоне»), в романе «Подросток».

ХVI. Одна из современных фальшей. (Гр, № 50, 10 дек.) Это – как бы ответ на критику «Бесов», который Достоевский ранее намеревался написать в виде предисловия или послесловия к отдельному изданию романа. Толчком к написанию данной статьи стали сообщения об аресте участников кружка А. В. Долгушина. Говоря о проблеме молодого поколения, об увлечении освободительными революционными идеями, Достоевский речь ведёт не только о «нечаевцах», «долгушинцах», но и напоминает, что он сам «петрашевец» и что подобные кружки привлекали к себе не худшую (как утверждала, к примеру, газета «Русский мир»), а лучшую часть молодёжи. В данном заключительном выпуске ДП за 1873 г. затрагивается проблематика почти всех предыдущих выпусков – пути развития России, взаимоотношения народа и интеллигенции, социализм и атеизм, «отцы и дети», «старые люди», молодое поколение...

Дневник писателя. 1876

Ежемесячное издание. 1876. (XXII—XXIV)

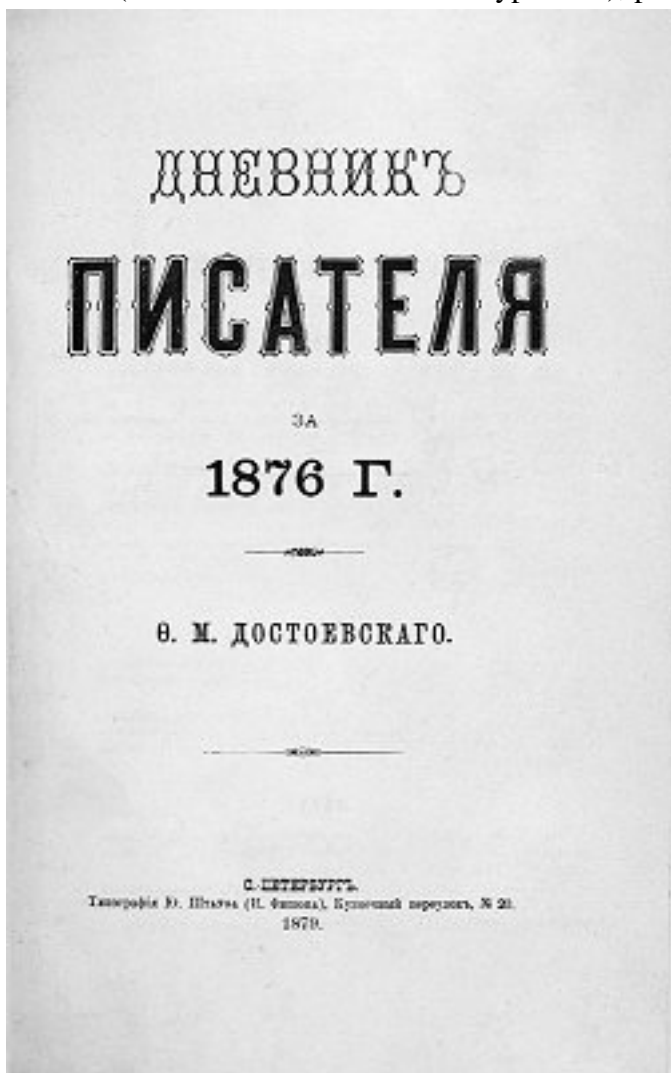
После окончания работы над романом *«Подросток»* Достоевский с 1 января 1876 г. возобновляет «Дневник писателя», но уже в виде отдельного самостоятельного издания в виде периодически выходящей журнальной книжки. Структура возобновлённого *ДП* резко отличалась от структуры *«Дневника писателя» 1873 г.*, каждый выпуск теперь посвящён не одной-единственной теме, а имеет «энциклопедический» характер, вмещает в себя много тем и жанров. Суть и новизна возобновлённого *ДП* разъяснена Достоевским в объявлении об его издании, опубликованном в газетах, а затем перепечатанном в конце первого, январского, выпуска: «Каждый выпуск будет заключать в себе от одного до полутора листа убористого шрифта, в формате еженедельных газет наших. Но это будет не газета; из всех двенадцати выпусков (за январь, февраль, март и т. д.) составитя целое, книга, написанная одним пером. Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчёт о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчёт о виденном, слышанном и прочитанном. Сюда, конечно, могут войти рассказы и повести, но преимущественно о событиях действительных. Каждый выпуск будет выходить в последнее число каждого месяца и продаваться отдельно во всех книжных лавках по 20 копеек. Но желающие подписаться на всё годовое издание вперёд пользуются уступкою и платят лишь два рубля (без доставки и пересылки), а с пересылкою и доставкой на дом два рубля пятьдесят копеек...» Ранее, ещё в XVIII в., в России бывали случаи издания «единоличных» журналов (*«Почта духов»* И. А. Крылова и др.), но то были узконаправленные, сатирические издания, «Дневник» же Достоевского – это и политическое, и публицистическое, и художественное, и критическое, и историческое, и, в том числе, сатирическое «моноздание» с гениальным единством формы и содержания, остающееся уникальным явлением во всей мировой литературе и журналистике до сих пор.

Работа над *ДП* требовала от Достоевского неимоверного напряжения сил, бывало, он не успевал написать все материалы до 25-го и очередной номер поступал в цензуру в самые последние числа месяца, но, тем не менее, выходил в срок. Первый выпуск был отпечатан в количестве 2000 экземпляров, но вскоре его пришлось допечатывать. К концу года *ДП* имел 1982 подписчика, а с розничной продажей тираж его достигал 6000 экземпляров. От читателей *ДП* начали приходить Достоевскому письма (сохранилось 92 таких письма за 1876 г., но, конечно, на самом деле их было больше), на которые он отвечал на страницах «Дневника» или лично. А ведь поначалу, ещё до выхода первого номера, мнение в литературных и окололитературных кругах было более чем скептическое: дескать, издание никого не заинтересует, лопнет, Достоевский просто-де исписался, вот и взялся вместо романов издавать свой «Дневник»... Первый выпуск *ДП* встретил в прессе разноречивые отклики, но после февральского и мартовского выпусков репутация нового издания упрочилась, и он занял своё особое место в литературной и журнальной жизни того времени.

«Дневник писателя» – это в полном смысле слова произведение, сплав публицистики с художественным творчеством. Но вместе с тем точно так же, как *ДП 1873 г.* стал как бы подготовительной фазой, периодом накопления и осмысления материала для будущего *«Подростка»*, так и *ДП 1876—1877 гг.* сыграл подобную роль своеобразной творческой лаборатории по отношению к *«Братьям Карамазовым»*. Сам писатель в письме Х. Д. Алчевской от 9 апреля 1876 г. объяснял это так: «Вы сообщаете мне мысль о том, что я в «Дневнике» разменяюсь на мелочи. Я это уже слышал и здесь. Но вот что я, между прочим, Вам скажу: я вывел неотразимое заключение, что писатель – художественный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности (исторической и текущей) изображаемую действительность. <...> Вот почему, гото-

вась написать один очень большой роман, я и задумал погрузиться специально в изучение – не действительности, собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего. Одна из самых важных задач в этом текущем, для меня, например, молодое поколение, а вместе с тем – современная русская семья, которая, я предчувствую это, далеко не такова, как всего еще двадцать лет назад. Но есть и еще многое кроме того...»

Ниже полужирным курсивом приведены заглавия выпусков (большинство из которых уже достаточно информативны) и краткие аннотации содержания. Выпуски (в первую очередь – художественные произведения), играющие особенно важную роль в творческом наследии Достоевского (заглавия их даны светлым курсивом), рассмотрены в отдельных статьях.



Я Н В А Р Ь.

Глава первая.

I. Вместо предисловия о Большой и Малой Медведицах, о молитве великого Гёте и вообще о дурных привычках. Открывается «Дневник» разговором об участившихся случаях самоубийства среди молодёжи и российском либерализме, превратившемся в «ремесло или дурную привычку»...

II. Будущий роман. Опять «случайное семейство». Размышления о счастливых детях на рождественской ёлке в клубе художников и детях из «случайного семейства», оставшихся сиротами после трагической гибели матери и отчима. Именно здесь Достоевский признаётся, что «поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах» и что роман «Подросток» был лишь «первой пробой этой мысли»...

III. Ёлка в клубе художников. Дети мыслящие и дети облегаемые. «Обжорливая младость». Вуйки. Толкающиеся подростки. Поторопившийся московский капитан. Уже более подробные впечатления о детской ёлке и танцах, о которых лишь упоминалось в предыдущей главке, размышления о будущем этих детей и комментариев к сообщению *«Петербургской газеты»* об участвовавших скандалах в обществе и, в частности, дебошире-капитане, испортившем один из балов. «Обжорливая младость» в заглавии – это цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, а «вуйки» – неологизм Достоевского: «Вуйками я называю тех девиц, которые до тридцати почти лет отвечают вам: вуй да нон...» (*фр.* – да, нет).

IV. Золотой век в кармане. Впечатления писателя о «бале отцов», который начался в клубе художников вслед за детским балом. И сразу – «какая бездарность»: никто не весел, танцевать не умеют, топорщатся, молчат... И Достоевскому приходит в голову «фантастическая и донельзя дикая мысль», что если б все в зале стали на миг «искренними и простодушными», то в этой душевной зале и наступил бы «золотой век»...

Глава вторая.

I. Мальчик с ручкой. «Дети странный народ, они сняты и мерещатся. Перед ёлкой и в самую ёлку перед рождеством я всё встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи...» И далее следует рассказ о нищем мальчике, размышления о том, что ждёт его впереди...

II. Мальчик у Христа на ёлке. Рассказ.

III. Колония малолетних преступников. Мрачные особи людей. Переделка порочных душ в непорочные. Средства к тому, признанные наилучшими. Маленькие и дерзкие друзья человечества. Впечатления от посещения вместе с А. Ф. Кони колонии для малолетних преступников на Охте (окраина Петербурга). Главная мысль писателя: малолетним заблудшим душам в качестве лекарства необходим не только физический труд и строгая дисциплина, но и правильное образование и – с обязательным и глубоким преподаванием Закона Божия...

Глава третья.

I. Российское общество покровительства животным. Фельдъегерь. Зелено-вино. Зуд разврата и Воробьев. С конца или с начала? Размышления по случаю 10-летнего юбилея Российского Общества покровительства животных (общество это, в первую очередь, самим людям помогает оставаться людьми). Затем – воспоминание писателя о случае 40-летней давности, как в 1837 г. отец (М. А. Достоевский) вёз их с братом (М. М. Достоевским) в Петербург в *Инженерное училище*, и на одной из станций подростки-романтики, бредившие *Шиллером* и *Пушкиным* стали свидетелями отвратительной сцены, которая осталась в воспоминаниях писателя на всю жизнь: торопящийся по «государеву делу» фельдъегерь «хлопнул» водки на станции и вскочил в новую тройку: «Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперёд, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду...» Возница Достоевских пояснил, что «все фельдъегеря почти так же ездят», а этот славится «кулаком» особенно – всегда пьян и жесток. И здесь, перейдя к разговору об ужасном распространении пьянства, власти «зелена-вина», и опять вспомнив об Обществе покровительства животных, Достоевский высказывает одну из самых своих заветных и «капитальных» для всего творчества и «Дневника писателя» мысль: «Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девятью миллионами русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, обра-

зованы, очеловечены и счастливы. Я знаю и верую твёрдо, что всеобщее просвещение никому у нас повредить не может. Верую даже, что царство мысли и света способно водвориться у нас, в нашей России, ещё скорее, может быть, чем где бы то ни было, ибо у нас и теперь никто не захочет стать за идею о необходимости озверения одной части людей для благосостояния другой части, изображающей собою цивилизацию, как это везде во всей Европе...»

II. Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти. О ставшем ужасно модном во всех слоях общества спиритизме. Достоевский против каких-либо запретов в связи с этим: «Мистические идеи любят преследование, они ими созидаются...» Сам писатель бывал на нескольких спиритических сеансах.

III. Одно слово по поводу моей биографии. В «Русском энциклопедическом словаре», И. Н. Березина (СПб., 1875) были опубликованы статьи В. Р. Зотова (за подписью: В. З.) о Достоевском и его брате М. М. Достоевском, которые возмутили писателя неточностями и ошибками, о чём и написал он в ДП. Между прочим, утверждая здесь: «Я родился не в 1818-м году, а в 1822-м», – Достоевский сам допускает неточность, ибо родился всё же в 1821 г. Подобное с ним случалось не однажды: к примеру, 31 января 1873 г. он написал в альбом своей знакомой О. А. Козловой «Мне скоро пятьдесят лет, а я всё ещё никак не могу распознать: оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь её начинаю...», – хотя в то время ему было совсем не «скоро пятьдесят», а уже «за» – ровно 51 год и 3 месяца.

IV. Одна турецкая пословица. Практически вся эта заключительная подглавка январского выпуска и состоит из мудрой пословицы, которой намерен следовать далее автор ДП: «Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели».

Ф Е В Р А Л Ь.

Глава первая.

I. О том, что все мы хорошие люди. Сходство русского общества с маршалом Мак-Магоном. Маршал Мари Эдм Патрис Морис де Мак-Магон герцог Маджентский (1808—1893) руководил в 1871 г. подавлением Парижской коммуны, был избран в 1873 г. президентом Франции, монархист по убеждениям. Достоевский ранее давал ему характеристику на страницах «Гражданина» («Иностранные события»). Напомнив высказывание маршала, что для него вся политика заключена в словах «Любовь к отечеству», Достоевский пишет, что вот так и в русском обществе: «...всем мы сходимся в любви если не к отечеству, то к общему делу (слова ничего не значат), – но в чём мы понимаем средства к тому, и не только средства, но и самое общее дело, – вот в этом у нас такая же неясность, как и у маршала Мак-Магона...»

II. О любви к народу. Необходимый контракт с народом. По сути здесь Достоевский вновь, как и во «Времени» говорит о возвращении к «почве»: «В русском человеке из просто-народья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства <...> Но вопрос этот у нас никогда иначе и не ставился: “Что лучше – мы или народ? Народу ли за нами или нам за народом?” – вот что теперь все говорят <...> А потому и я отвечу искренно: напротив, это мы должны преклониться перед народом <...> Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием <...>: чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой...» Тему эту писатель как бы проиллюстрирует в следующей подглавке с рассказом о мужике Марее.

III. Мужик Марей. Рассказ.

Глава вторая.

I. По поводу дела Кронеберга.

II. Нечто об адвокатах вообще. Мои наивные и необразованные предположения. Нечто о талантах вообще и в особенности.

III. Речь г-на Спасовича. Ловкие приёмы.

IV. Ягодки.**V. Геркулесовы столты.****VI. Семья и наши святыни. Заключительное словцо об одной юной школе.**

Все шесть подглавок этой главы посвящены судебному процессу над Станиславом Леопольдовичем Кронебергом (Кроненбергом), который обвинялся в истязании своей 7-летней дочери. Дело слушалось 23—24 января 1876 г. в С.-Петербургском окружном суде и вызвало большой резонанс в обществе, широко освещалось в прессе. Защитником обвиняемого выступал известный адвокат *В. Д. Спасович*. Достоевский не только критикует адвокатскую казуистику вообще, но и размытость критериев нравственности у либералов, представителем которых и был Спасович.

МАРТ.**Глава первая.**

I. Верна ли мысль, что «лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша»? Ответ Гамме (*Г. К. Градовскому*), обвинившему Достоевского («Голос», 1876, № 67, 7 марта) в якобы противоречивости суждений о народе и его идеалах в февральском выпуске ДП.

II. Столетняя. Рассказ.

III. «Обособление». «Право, мне всё кажется, – пишет Достоевский, – что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего “обособления”...» И далее писатель приводит примеры такого обособления, размышляет о губительности для общества духовно-нравственного разъединения. Особенно интересно в этом плане суждение Достоевского о литераторах и литературе: «Вот вам наш современный литератор-художник, то есть из новых людей. Он вступает на поприще и знать не хочет ничего предыдущего; он от себя и сам по себе. Он проповедует новое, он прямо ставит идеал нового слова и нового человека. Он не знает ни европейской литературы, ни своей; он ничего не читал, да и не станет читать. Он не только не читал Пушкина и Тургенева, но, право, вряд ли читал и своих, т. е. Белинского и Добролюбова. Он выводит новых героев и новых женщин, и вся новость их заключается в том, что они прямо делают свой десятый шаг, забыв о девяти первых, а потому вдруг очутываются в фальшивейшем положении, в каком только можно представить, и гибнут в назидание и в соблазн читателю. Эта фальшь положения и составляет всё назидание. Во всём этом весьма мало нового, а, напротив, чрезвычайно много самого истрепанного старья; но не в том совсем дело, а в том, что автор совершенно убежден, что сказал новое слово, что он сам по себе, и обособился и, разумеется, этим очень доволен...»

IV. Мечты о Европе. «Политическое обозрение» современных европейских событий: победа республиканцев на выборах в Палату депутатов во Франции, франко-германские отношения, положение в Герцеговине, восставшей против турок...

V. Сила мёртвая и силы грядущие. О борьбе католической церкви за светскую власть, размышления о будущем католицизма, взаимоотношения православия и католицизма... Темы, поднятые здесь, волновали Достоевского ещё со времён журналов «Время» и «Эпоха», в период работы в «Гражданине», отразились они на страницах «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», а в наиболее полном и концентрированном виде размышления писателя о католицизме отразятся в главе «Великий инквизитор» романа «Братья Карамазовы».

Глава вторая.

I. Дон Карлос и сэр Уаткин. Опять признаки «начала конца». В самом начале данного «политического обозрения» Достоевский высказывает-повторяет одно из краеугольных убеждений своего эстетического кредо: «...что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? Что может быть даже невероятнее иногда действительности? Никогда роману не представить таких невозможностей, как те, которые действительность представляет нам

каждый день тысячами, в виде самых обыкновенных вещей...» Одна из таких «невозможностей» – въезд претендента на испанский престол дона Карлоса Младшего в Англию из выгнавшей его Франции и почести, оказанные ему при встрече одним из членов английского парламента сэром Уаткиным (Уоткиным). Далее речь идёт об особенностях англичан как нации и особенностях их веры, католицизме, протестантизме и совершенно новом явлении – «Церкви атеистов». Достоевский вспоминает-цитирует в связи с этим то место из своего «*Подростка*» (ч. 3, гл. 2, III), где *Версиров* рисует *Аркадию Долгорукому* будущий Золотой век, построенный на сходных началах.

II. Лорд Редсток. Редсток Гренвил Валдигрен (1831—1913), английский проповедник-евангелист, в 1876 г. вторично посетил Россию, и его проповеди пользовались большой популярностью в великосветских кругах Петербурга. Рассуждая о подобных «проповедниках» и вообще широком распространении в России сект, Достоевский с горечью пишет: «Повторяю, тут плачевное наше обособление, наше неведение народа, наш разрыв с национальностью, а во главе всего – слабое, ничтожное понятие о православии...»

III. Слово об отчёте учёной комиссии о спиритических явлениях. Отчёт под заглавием «От комиссии для исследования медиумических явлений» за подписью её членов во главе с *Д. И. Менделеевым* был опубликован в «*Голосе*» (1876, № 85, 25 марта). Отчёт совершенно не удовлетворил Достоевского и, комментируя его, он продолжает тему, начатую в январском выпуске *ДП* (гл. 3, II): спиритизм опасен, ибо ведёт к «обособлению» и «разъединению» людей, и требует серьёзного разъяснения...

IV. Единичные явления. «Но является и другой разряд явлений, довольно любопытный, особенно между молодёжью. Правда, явления пока единичные. Рядом с рассказами о нескольких несчастных молодых людях, “идущих в народ”, начинают рассказывать и о другой совсем молодёжи. Эти новые молодые люди тоже беспокоятся, пишут к вам письма или сами приходят с своими недоумениями, статьями и с неожиданными мыслями, но совсем не похожими на те, которые мы до сих пор в молодёжи встречать привыкли. Так что есть некоторый повод предположить, что в молодёжи нашей начинается некоторое движение, совершенно обратное прежнему. Что же, этого, может быть, и должно было ожидать...» И далее ещё в нескольких абзацах писатель развивает эту тему – появились надежды на то, что «дети», в отличие от «отцов», пойдут по «правильному пути»...

V. О Юрие Самарине. Самарин Юрий Фёдорович (1819—1876), славянофил, публицист, общественный деятель, принимавший активное участие в разработке и проведении крестьянской реформы 1861 г., умер 19 марта. Достоевский, комментируя сообщения газет об этом, резюмирует в конце этой совсем небольшой главки: «...с Юрием Самариним мы лишились твёрдого и глубокого мыслителя, и вот в чём утрата. Старые силы отходят, а на новых, на грядущих людей пока еще только разбегаются глаза...»

А П Р Е Л Ь.

Глава первая.

I. Идеалы растительной стоячей жизни. Кулаки и мироеды. Высшие господа, подгоняющие Россию.

II. Культурные типики. Повредившиеся люди.

III. Сбивчивость и неточность спорных пунктов.

IV. Благотельный швейцар, освобождающий русского мужика.

В «*Русском вестнике*» (1876, № 3) появилась статья *В. Г. Авсеенко* (за подписью: А.) «Опять о народности и о культурных типах» о творчестве Андрея Печерского (*П. И. Мельникова*), в которой резко критиковались суждения Достоевского о народе в февральском выпуске *ДП*. Отталкиваясь от этого, писатель всю первую главу апрельского выпуска посвятил разъяснению своего взгляда на русский народ, на взаимоотношения «высшего круга» и народа.

В названия подглавок вынесены автором основные полемические моменты. В самом конце – квинтэссенция этих размышлений: «Я хочу именно указать, что народ вовсе не так безнадёжен, вовсе не так подвержен шатости и неопределённости, как, напротив, подвержен тому и заражен тем наш русский культурный слой, которым эти все господа гордятся как драгоценнейшим, двухсотлетним приобретением России. Я хотел бы, наконец, указать, что в народе нашем вполне сохранилась та твёрдая сердцевина, которая спасёт его от излишеств и уклонов нашей культуры и выдержит грядущее к народу образование, без ущерба лику и образу народа русского...» В этой главе немало места уделено критическому разбору не только статьи Авсеенко, но и его прозы, отличающейся, по мнению Достоевского, дурным вкусом и примитивностью мысли.

Глава вторая.

I. Нечто о политических вопросах. Очередное «политическое обозрение» текущих событий в Европе, предвещающих войну, положение и судьба России в этой связи. Полон оптимизма вывод из рассуждений: «Но уже не мечтательно, а почти с уверенностью можно сказать, что даже в скором, может быть ближайшем, будущем Россия окажется сильнее всех в Европе. Произойдет это от того, что в Европе уничтожатся все великие державы, и по весьма простой причине: они все будут обессилены и подточены неудовлетворенными демократическими стремлениями огромной части своих низших подданных, своих пролетариев и нищих. В России же этого не может случиться совсем: наш демос доволен, и чем далее, тем более будет удовлетворён, ибо всё к тому идет, общим настроением или, лучше, согласием. А потому и останется один только колосс на континенте Европы – Россия. Это случится, может быть, даже гораздо ближе, чем думают. Будущность Европы принадлежит России...»

II. Парадоксалист. «Кстати, насчёт войны и военных слухов. У меня есть один знакомый парадоксалист. Я его давно знаю. <...> раз он заспорил со мной о войне. Он защищал войну вообще и, может быть, единственно из игры в парадоксы», – так начинается эта подглавка и далее идёт диалог-спор с этим «парадоксалистом» о войне. Здесь недаром сказано, что автор «давно его знает», ибо потом, уже при чтении страниц ДП 1877 г., посвящённых русско-турецкой войне на Балканах, внимательный читатель обнаружит, что многие суждения «парадоксалиста» уже будут высказаны от лица самого Достоевского...

III. Опять только одно слово о спиритизме. Продолжение темы, к которой Достоевский уже обращался в январском (гл. 3, II) и мартовском (гл. 2, III) выпусках. Здесь более подробно говорится о деятельности Д. И. Менделеева по разоблачению спиритизма, которая во многом автора ДП не удовлетворяла и провоцировала на ироническое отношение...

IV. За умершего. В «Новом времени» (1876, № 55, 25 апр.) Достоевский увидел перепечатанный из журнала «Дело» некролог профессора-историка и публициста А. П. Щапова (1830—1876), в котором приводился оскорбительный для памяти М. М. Достоевского «анекдот», как он, будучи редактором «Времени» однажды якобы сжульничал при выплате гонорара Щапову – вместо выдачи денег одел его у своего портного в одежду «весьма сомнительного свойства». Достоевский, опровергая эту сплетню, рисует истинный образ покойного брата – глубоко честного, порядочного и щепетильного в денежных расчётах человека и редактора. Эта подглавка перекликается с «Примечанием <к статье Н. Страхова “Воспоминания об А. А. Григорьеве”>» (1864).

М А Й.

Глава первая.

I. Из частного письма.

II. Областное новое слово.

III. Суд и г-жа Каирова.

IV. Г-н защитник и Каирова.

V. Г-н защитник и Великанова.

28 апреля 1876 г. на заседании Петербургского окружного суда слушалось «дело Каировой». Актриса провинциального театра Анастасия Васильевна Каирова полоснула бритвой по горлу жену своего любовника антрепренёра Василия Александровича Великанова и тоже актрису Александру Ивановну Великанову, рана оказалась не смертельной, присяжные Каирову оправдали. Дело это вызвало в прессе новую волну дискуссии о суде присяжных и адвокатуры. Всю первую главу майского выпуска *ДП* Достоевский и посвятил этой «капитальной» теме – судебной реформе в связи с данным судебным процессом, разбив, по традиции, ход рассуждений на главки.

Говоря в связи с этим делом о размытости нравственных критериев в речах адвокатов, Достоевский, в частности, убеждённо пишет: «...ведь трибуны наших новых судов – это решительно нравственная школа для нашего общества и народа. Ведь народ учится в этой школе правде и нравственности; как же нам относиться хладнокровно к тому, что раздастся подчас с этих трибун?..»

Глава вторая.

I. Нечто об одном здании. Соответственные мысли. В конце апреля 1876 г. Достоевский посетил Петербургский воспитательный дом. Впечатления об увиденном и размышления о детях-сиротах – материал данной главки.

II. Одна несоответственная идея. Здесь Достоевский возвращается к одной из самых «капитальных» тем в своём творчестве, с которой он и начал самый первый выпуск *ДП* 1876 г. – участившиеся случаи самоубийства среди молодёжи. На этот раз его внимание привлекло сообщение о 25-летней Надежде Писаревой, которая «устала жить» и предсмертная записка которой потрясла писателя циничной деловитостью. Достоевский обращается к таким преждевременно «уставшим жить»: «Милые, добрые, честные (всё это есть у вас!), куда же это вы уходите, отчего вам так мила стала эта тёмная, глухая могила? Смотрите, на небе яркое весеннее солнце, распустились деревья, а вы устали не живши...»

III. Несомненный демократизм. Женщины. Один из читателей в письме выразил несогласие с утверждением Достоевского в апрельском выпуске *ДП* (гл. 2, I) о том, что «наш демос доволен и удовлетворён» и потому в будущем будет «один только колосс на континенте Европы – Россия...» Достоевский здесь разъясняет свою позицию, он считает, что кардинальное наше отличие от Европы состоит в том, что там демократизм начался снизу и ещё далеко не побеждает, а в России по-другому: «Наш верх побеждён не был, наш верх сам стал демократичен или, вернее, народен <...> А если так, то согласитесь сами, что наш демос ожидает счастливая будущность...» И в этом плане большие надежды писатель связывает с русской женщиной, высказывая пожелание допустить её к высшему образованию «со всеми правами, которое даёт оно»...

И Ю Н Ъ.

Глава первая.

I. Смерть Жорж Занда.

II. Несколько слов о Жорж Занде.

«Прошлый, майский № “Дневника” был уже набран и печатался, когда я прочёл в газетах о смерти Жорж Занда (умерла 27 мая – 8 июня). Так и не успел сказать ни слова об этой смерти. А между тем, лишь прочтя о ней, понял, что значило в моей жизни это имя, – сколько взял этот поэт в своё время моих восторгов, поклонений и сколько дал мне когда-то радостей, счастья! Я смело ставлю каждое из этих слов, потому что всё это было буквально. Это одна из наших (то есть *наших*) современниц вполне – идеалистка тридцатых и сороковых годов...» И далее вся первая глава из двух частей посвящена памяти французской писательницы *Жорж Санд*

(1804—1876), оказавшей на русскую литературу и творчество самого Достоевского огромное влияние.

Глава вторая.

I. Мой парадокс.

II. Вывод из парадокса.

III. Восточный вопрос.

IV. Утопическое понимание истории.

V. Опять о женщинах.

Вся эта глава отдана политике, обзору положения в Европе, сложившемуся накануне и в начале военных действий на Балканах. В обществе, в прессе кипели страсти по поводу участия России в этой войне. Русское общество разделилось на противников войны и сторонников. Достоевский был безусловным сторонником позиции, что русские должны помочь братьям-славянам в борьбе против турецкого ига. В конце, в подглавке «Опять о женщинах», писатель, сообщая о визите к нему девушки (*С. Е. Лурье*), которая собралась ехать в Сербию на войну сестрой милосердия, снова повторяет свою мысль о возрастании роли женщины в жизни страны и необходимости предоставления ей больших прав и образования.

И Ю Л Ь и А В Г У С Т.

Глава первая.

I. Выезд за границу. Нечто о русских в вагонах.

II. Нечто о петербургском баден-баденстве.

III. О воинственности немцев.

IV. Самое последнее слово цивилизации.

5 июля 1876 г. Достоевский выехал на лечение в Эмс и возвратился в Петербург 9 августа. Подписчики получили в начале сентября сдвоенный выпуск *ДП* за два летних месяца. Вся первая глава посвящена дорожным и заграничным впечатлениям, размышлениям писателя о Европе, иностранцах, русских за границей и в этом плане перекликается с «*Зимними заметками о летних впечатлениях*» (1863), «*Игроком*» (1865) и рядом других произведений.

Глава вторая.

I. Идеалисты-циники.

II. Постыдно ли быть идеалистом?

III. Немцы и труд. Непостижимые фокусы. Об остроумии.

Глава третья.

I. Русский или французский язык?

II. На каком языке говорить отцу отечества?

Глава четвёртая.

I. Что на водах помогает: воды или хороший тон?

II. Один из благодетельствованных современной женщиной.

III. Детские секреты.

IV. Земля и дети.

V. Оригинальное для России лето.

Post scriptum.

В заключительном разделе первой главы о «самом последнем слове цивилизации» Достоевский переходит к политической злобе дня – «восточному вопросу», то есть положению на Балканах, освободительной войне славянских народов против турецкого ига. Во второй главе он ставит этот вопрос в центр внимания, проводя параллели между этой войной и Крымской 1855 г. В этой связи он подробно разбирает анонимную статью «Восточный вопрос с русской точки зрения 1855 года», которая ошибочно приписывалась перу *Т. Н. Грановского* (автором на самом деле был известный впоследствии юрист, философ и общественный деятель Б. Н. Чиче-

рин), посвятив этому две подглавки. А все остальные материалы сдвоенного выпуска, как и первая глава, тоже посвящены впечатлениям и размышлениям Достоевского в связи с пребыванием за границей – нравы, обычаи, национальные особенности, русские за границей и пр. Здесь, в главе четвёртой, вновь появляется некий «парадоксалист», уже знакомый читателю по апрельскому выпуску (гл. 2, II) собеседник автора, с которым в горячих спорах обсуждаются самые злободневные вопросы: политика, будущее «детей», «женский вопрос», балканский кризис и т. п.

С Е Н Т Я Б Р Ь.

Глава первая.

I. Piccola bestia.

II. Слова, слова, слова!

III. Комбинации и комбинации.

IV. Халаты и мыло.

Первая глава посвящена «Восточному вопросу» – освободительной войне славянских народов против турецкого ига. Вспомнив, как будучи во Флоренции он в гостиничном номере всю ночь мучился кошмарами из-за того, что где-то в комнате пряталась «piccola bestia» (пакостная тварь) – тарантул, писатель метафорически обыгрывает этот образ в ДП, саркастически сравнивая с «piccola bestia» премьер-министра Англии «виконта Биконсфильда» (*Бенджамин Дизраэли*), наводящего ужас на всю Европу, пугая её Россией. Да и, провозгласив «в своей речи, что Сербия, объявив войну Турции, сделала поступок бесчестный и что война, которую ведёт теперь Сербия, есть война бесчестная, и плюнув, таким образом, почти прямо в лицо всему русскому движению <...>, этот израиль, этот новый в Англии судья чести», по мнению Достоевского, не кто иной, как – «piccola bestia». И далее, рассматривая все разноречивые мнения-взгляды на «Восточный вопрос», писатель в самом конце, вспоминая историю завоевания Иваном Грозным Казани, как тогда решился «Восточный вопрос»: «Что ж, как поступил царь Иван Васильевич, войдя в Казань? Истребил ли её жителей поголовно, как потом в Великом Новгороде, чтоб и впредь не мешали? Переселил ли казанцев куда-нибудь в степь, в Азию? Ничуть; даже ни одного татарчонка не выселил, всё осталось по-прежнему, и геройские, столь опасные прежде казанцы присмирели навеки. Произошло же это самым простым и сообразным образом: только что овладели городом, как тотчас же и внесли в него икону Божьей матери и отслужили в Казани молебен, в первый раз с её основания. Затем заложили православный храм, отобрали тщательно оружие у жителей, поставили русское правительство, а царя казанского вывезли куда следовало, – вот и всё; и всё это совершилось в один даже день. Немного спустя – и казанцы начали нам продавать халаты, ещё немного – стали продавать и мыло. (Я думаю, что это произошло именно в таком порядке, то есть сперва халаты, а потом уж мыло.) Тем дело и кончилось. Точь-в-точь и точно так же дело кончилось бы и в Турции, если б пришла благая мысль уничтожить наконец этот калифат политически...»

Глава вторая.

I. Застарелые люди.

II. Кифомокиевщина.

III. Продолжение предыдущего.

IV. Страхи и опасения.

V. Post scriptum.

«...в иных отделениях нашей высшей интеллигенции, именно там, где на народ до сих пор смотрят ещё свысока, презирая его с высоты европейского образования (иногда совсем мнимого), там, в этих высших “отдельностях”, обнаружилось довольно чрезвычайных диссонансов, нетвердость взгляда, странное непонимание иногда самых простых вещей, почти смешное колебание в том, что делать и чего не делать, и пр. и пр. “Помогать или не помогать сла-

вянам? А если помогать, то за что именно помогать – и за что будет нравственнее и красивее помогать: за то или за это?” Все эти черты, иногда до странности поражающие, проявились действительно, слышались в разговорах, выказались в фактах, отразились в литературе. Но ни одной статьи в этом роде не читал я удивительнее статьи “Вестника Европы”, за сентябрь месяц сего года, в отделе “Внутреннего обозрения”. Статья именно трактует о настоящем текущем русском движении, по поводу братской помощи угнетенным славянам, и тщится бросить на этот предмет взгляд как можно глубокомысленнее...» И далее вся вторая глава посвящена полемике с этой анонимной статьёй (ВЕ, 1876, № 9), принадлежащей перу Л. А. Полонского. Достоевский вспоминает в связи с этим героя *Н. В. Гоголя* Кифу Мокиевича из «Мёртвых душ», олицетворявшего бесплодное умствование над нелепыми, не имеющими практической ценности вопросами.

О К Т Я Б Р Ь.

Глава первая.

1. Простое, но мудрёное дело.

15 октября 1876 г. суд приговорил *Екатерину Корнилову*, выбросившую из окна четвёртого этажа свою падчерицу, шестилетнюю девочку, которая чудом осталась жива, к двум годам и восьми месяцам каторжных работ и пожизненной ссылке в Сибирь. Достоевский уже упоминал об этом деле в майском (гл. 1, III) выпуске *ДП* и теперь подробно высказывает своё мнение о чрезмерной, на его взгляд, строгости наказания. Дело в том, что Корнилова уже в момент совершения преступления была беременна, присяжные совершенно не учли её психического состояния, да ещё и приговорили к каторге вместе с матерью ребёнка, который вот-вот родится. К этому делу Достоевский вернётся в *ДП* ещё несколько раз: 1876, декабрь, гл. 1, I; 1877, апрель, гл. 2; 1877, декабрь, гл. 1, I и V.

II. Несколько заметок о простоте и упрощённости. По мнению Достоевского, в обществе распространилась привычка на самые сложные вопросы и проблемы смотреть чересчур просто. «А между тем от этой чрезмерной упрощённости воззрений на иные явления иногда ведь проигрывается собственное дело. В иных случаях простота вредит самим упрощителям. Простота не меняется, простота “прямолинейна” и сверх того – высокомерна. Простота враг анализа. Очень часто кончается ведь тем, что в простоте своей вы начинаете не понимать предмета, даже не видите его вовсе, так что происходит уже обратное, то есть ваш же взгляд из простого сам собою и невольно переходит в фантастический. Это именно происходит у нас от взаимной, долгой и всё более и более возрастающей оторванности одной России от другой. Наша оторванность именно и началась с простоты взгляда одной России на другую. Началась она ужасно давно, как известно, еще в Петровское время, когда выработалось впервые необычайное упрощение взглядов высшей России на Россию народную, и с тех пор, от поколения к поколению, взгляд этот только и делал у нас, что упрощался», – таков вывод писателя.

III. Два самоубийства. В декабре 1875 г. во Флоренции отравилась хлороформом младшая дочь *А. И. Герцена* 17-летняя Елизавета Герцен, оставив после себя «циничную» записку, написанную почти в «юмористическом» тоне. 30 сентября 1876 г. в Петербурге из окна мансарды 6-этажного дома с иконой Божией Матери в руках выбросилась швея *Марья Борисова* (которая впоследствии послужит прототипом заглавной героини повести «Кроткая»). Достоевский сопоставляя эти два самоубийства, пишет: «Но какие, однако же, два разные создания, точно обе с двух разных планет! И какие две разные смерти! А которая из этих душ больше мучилась на земле, если только приличен и позволителен такой праздный вопрос?» И следующую часть главы писатель посвятит «материалистическому» самоубийству, озаглавив её в черновике «Дочь Герцена», но в окончательном варианте – «Приговор», и которая занимает очень важное место в творчестве Достоевского, поэтому приведена почти целиком в отдельной статье.

IV. Приговор.**Глава вторая.****I. Новый фазис Восточного вопроса.****II. Черняев.****III. Лучшие люди.****IV. О том же.**

Главный герой этой главы – русский генерал *М. Г. Черняев*, командующий сербской армией в освободительной войне против Турции. 17 /29/ октября 1876 г. турки нанесли окончательное поражение его армии и открыли себе путь на Белград, что означало проигрыш войны сербско-черногорской стороной. Русское правительство предъявило Турции ультиматум о временном прекращении военных действий и заключении перемирия. Достоевский безусловно поддерживал и освободительную войну славянских братьев, и участие русских добровольцев в войне, и миссию генерала Черняева. «И вот после громового слова России опять начнёт чваниться перед нами европейская пресса. Ведь даже венгерцы писали и печатали про нас, почти ещё за день до ультиматума, что мы их боимся, а потому и виляем перед ними и не смеем объявить нашу волю. Опять будут интриговать и указывать нам англичане, которые опять будут воображать, что их так боятся. Даже Франция какая-нибудь и та с гордым и напыщенным видом заявит на конференции своё слово и “чего она хочет или не хочет”, тогда как – что нам Франция и на кой нам знать, чего она там у себя хочет или не хочет?..» И далее, рисуя портрет генерала Черняева как безусловного героя, одного из «лучших людей», настоящего русского патриота, Достоевский размышляет о том, что такое теперь «лучшие люди» в России, и выводы его довольно оптимистичны: «Мы думали, что весь организм этого народа уже заражен материальным и духовным развратом; мы думали, что народ уже забыл свои духовные начала, не уберёг их в сердце своем; в нужде, в разврате потерял или исказил свои идеалы. И вдруг, вся эта “единообразная и косная масса” (то есть на взгляд иных наших умников, конечно), разлегшаяся в стомиллионном составе своём на многих тысячах вёрст, неслышно и бездыханно, в вечном зачати и в вечном признанном бессилии что-нибудь сказать или сделать, в виде чего-то вечно стихийного и послушного, – вдруг вся эта Россия просыпается, встаёт и смиренно, но твёрдо выговаривает всенародно прекрасное своё слово... <...> В сущности, эти идеалы, эти “лучшие люди” ясны и видны с первого взгляда: “лучший человек” по представлению народному – это тот, который не преклонился перед материальным соблазном, тот, который ищет неустанно работы на дело Божие, любит правду и, когда надо, встаёт служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнью. <...> Вот почему мы можем в радости предаться новой надежде: слишком очистился горизонт наш, слишком ярко всходит новое солнце наше... И если б только возможно было, чтоб мы все согласились и сошлись с народом в понимании: кого отселе считать человеком “лучшим”, то с нынешнего лета, может быть, зачался бы новый период истории русской».

Н О Я Б Р Ь.

Кроткая. Фантастический рассказ.

Д Е К А Б Р Ь.**Глава первая.**

I. Опять о простом, но мудрёном деле. В октябрьском выпуске *ДП* (гл. 1, I) речь шла о судебном деле *Е. П. Корниловой*, выбросившей из окна свою падчерицу. Автор рассказывает о своём посещении Корниловой, которая уже родила там ребёнка, в тюрьме, своих беседах с ней, служителями тюрьмы. Приговор суда был кассирован и поступил на рассмотрение другого отделения суда. Достоевский пишет: «Опять повторяю, как два месяца назад: “Лучше уж ошибиться в милосердии, чем в казни”. Оправдайте несчастную, и авось не погибнет юная душа, у

которой, может быть, столь много ещё впереди жизни и столь много добрых для неё зачатков. В каторге же наверно всё погибнет...» К этому делу Достоевский вернётся ещё дважды в *ДП* за 1877 г.: апрель, гл. 2; декабрь, гл. 1.

II. Запоздавшее нравоучение.

III. Голословные утверждения.

IV. Кое-что о молодёжи.

V. О самоубийстве и высокомерии.

Эти четыре части первой декабрьской главы *ДП* посвящены теме самоубийства и являются как бы комментарием к «*Приговору*» (октябрь, гл. 1, IV), который вызвал большой резонанс у читателей, непонимание. В первых же строках Достоевский разъясняет, что свою предсмертную исповедь автор-герой «*Приговора*» написал «для оправдания и, может быть, назидания, перед самым револьвером...» Курсив подчёркивает важность именно слова «назидание» (по Далю: «поученье, наставленье»), то есть, «*Приговор*» написан-создан в качестве как раз антисамоубийственного поучения-наставления. И далее Достоевский довольно недвусмысленно намекает, что его статью «*Приговор*» могли превратно понять только «гордые невежды», люди «мало развитые и тупые»: «Статья моя “*Приговор*” касается основной и самой высшей идеи человеческого бытия – необходимости и неизбежности убеждения в бессмертии души человеческой. Подкладка этой исповеди погибающего “от логического самоубийства” человека – это необходимость тут же, сейчас же вывода: что без веры в свою душу и в её бессмертие бытие человека неестественно, немислимо и невыносимо. И вот мне показалось, что я ясно выразил формулу логического самоубийцы, нашел её <...> Укажут мне, пожалуй, опять, что в наш век умерщвляют себя даже дети или такая юная молодёжь, которая и не испытала ещё жизни. А у меня именно есть таинственное убеждение, что молодёжь-то наша и страдает, и тоскует у нас от отсутствия высших целей жизни. В семьях наших об высших целях жизни почти и не упоминается, и об идее о бессмертии не только уж вовсе не думают, но даже слишком нередко относятся к ней сатирически, и это при детях, с самого их детства, да ещё, пожалуй, с нарочным назиданием. <...> Истребление себя есть вещь серьёзная, несмотря на какой бы там ни было шик, а эпидемическое истребление себя, возрастающее в интеллигентных классах, есть слишком серьёзная вещь, стоящая неустанного наблюдения и изучения...»

Глава вторая.

I. Анекдот из детской жизни. Знакомая Достоевского Л. Х. Хохрякова рассказала ему о своей 12-летней дочери-школьнице, получившей несколько плохих отметок и решившей из-за этого не ходить в школу и сбежать из дома. Отталкиваясь от этого случая, писатель поднимает проблему убежавших из дома и скитающихся детей, которая давно привлекала его внимание (она была намечена ещё в 1867 г. в подготовительных материалах к «*Идиоту*») и констатирует: «Бродяжничество есть привычка, болезненная и отчасти наша национальная, одно из различий наших с Европой, – привычка, обращающаяся потом в болезненную страсть и весьма нередко зарождающаяся с самого детства...»

II. Разъяснение об участии моём в издании будущего журнала «Свет». В октябрьском выпуске *ДП* было помещено объявление об издании в 1877 г. нового журнала «Свет» профессором Н. П. Вагнером. Многие читатели решили, что писатель будет активно сотрудничать в новом журнале и чуть ли не «перейдёт» в него. Достоевский отвечает на эти тревожные письма на страницах *ДП*: «На это и заявляю теперь, что в будущем 1877 году буду издавать лишь “Дневник писателя” и что “Дневнику” и будет принадлежать, по примеру прошлого года, вся моя авторская деятельность. Что же до нового издания “Свет”, то ни в замысле, ни в плане, ни в редактировании его не участвую...»

III. На какой теперь точке дело. Здесь Достоевский как бы подводит предварительные итоги обсуждения так называемого Восточного вопроса, который был одним из «капитальных» в *ДП* на протяжении всего года: «...взгляд на Восточный вопрос должен принять несравненно

более определенный вид и для всех нас. Россия сильна народом своим и духом его, а не то что лишь образованием, например, своим, богатствами, просвещением и проч., как в некоторых государствах Европы, ставших, за дряхлостью и потерей живой национальной идеи, совсем искусственными и как бы даже ненатуральными. Думаю, что так ещё долго будет. Но если народ понимает славянский и вообще Восточный вопрос лишь в значении судеб православия, то отсюда ясно, что дело это уже не случайное, не временное и не внешнее лишь политическое, а касается самой сущности русского народа, стало быть, вечное и всегдашнее до самого конечного своего разрешения. Россия уже не может отказаться от движения своего на Восток в этом смысле и не может изменить его цели, ибо она отказалась бы тогда от самой себя. <...> В этом отношении Европа, не совсем понимая наши национальные идеалы, то есть меряя их на свой аршин и приписывая нам лишь жажду захвата, насилия, покорения земель, в то же время очень хорошо понимает насущный смысл дела. <...> Вот почему Европа всеми средствами желала бы взять себе в опеку славян, так сказать, похитить их у нас и, буде возможно, восстановить их навеки против России и русских. Вот почему она бы и желала, чтоб Парижский трактат продолжался сколь возможно долее; вот откуда происходят тоже и все эти проекты о бельгийцах, о европейской жандармерии и проч., и проч. О, все, только бы не русские, только бы как-нибудь отдалить Россию от взоров и помышлений славян, изгладить её даже из их памяти! И вот на какой теперь точке дело».

IV. Словечко об «ободнявшем Петре». Полемика с противниками войны на Балканах и участия в ней России, которых Достоевский делит на два вида: «жидовствующим», кричащих «про вред войны в отношении экономическом», и «европеизующим», боящихся, что в погоне «за национальностью» можно повредить «общечеловечности». Писатель высказывает здесь своё убеждение: «А между тем для меня почти аксиома, что все наши русские разъединения и обособления основались, с самого их начала, на одних лишь недоумениях, и даже самых грубейших, и что в них нет ничего существенного. Горше всего то, что это ещё долго не уяснится для всех и каждого. И это тоже одна из самых любопытнейших наших тем». И уже заглавием предупреждает, что по известной поговорке «Лови Петра с утра, а ободняет, так провоняет», и Россия в помощи братьям-славянам может «ободнять», то есть – не поспеть к сроку.

Дневник писателя. 1877

Ежемесячное издание. 1877. Год II-й. (XXV—XXVI)

На 1877 г. у ДП было 3000 подписчиков и столько же экземпляров расходилось в розничной продаже. Состояние здоровья Достоевского всё более и более мешало ритмичной работе над ДП. Уже майский и июньский выпуски за 1877 г. вышли в сдвоенном виде, затем, как и в предыдущем году, из-за поездки на лечение в Эмс, подписчики получили сдвоенный выпуск за июль-август в начале сентября. В октябрьском выпуске писатель сообщил о своём решении по состоянию здоровья и в связи с работой над новым романом («Братьями Карамазовыми») приостановить «Дневник» на год или два. Следующий выпуск ДП после декабрьского 1877 г. выйдет в августе 1880 г.



«Дневник писателя. 1877». Страница черновика.

Я Н В А Р Ь.

Глава первая.

I. Три идеи. «Три идеи встают перед миром и, кажется, формулируются уже окончательно...» С этой темы, продолжая разговор о единении русского народа внутри страны и всех

славянских народов в мире, начинается в новом году *ДП*. Три идеи это – католичество, протестантизм и православие...

II. Миражи. Штунда и редстокисты. Содержание этой подглавки вытекает из предыдущей – мешающее объединению ужасное распространение в России сект, в частности, – штундистов-протестантов (о которых Достоевский уже писал в *ДП* 1873 г., в главе «Смятенный вид») и редстокистов (о лорде *Редстоке* и его последователях речь шла в *ДП* 1876 г. – март, гл. 2, II). «Кстати, многие смеются совпадению появления обеих сект у нас в одно время, – пишет Достоевский, – штунды в чёрном народе и редстокистов в самом изящном обществе нашем. Между тем тут много и не смешного. Что же до совпадения в появлении двух наших сект, – то уж без сомнения они вышли из одного и того же невежества, то есть из совершенного незнания своей религии».

III. Фома Данилов, замученный русский герой. Рассказ о зверски замученном кипчаками пленном унтер-офицере 2-го Туркестанского стрелкового батальона Фоме Данилове, который отказался сохранить жизнь ценой перехода в мусульманство. Событие это произошло ещё осенью 1875 г., но Достоевский вспомнил его, дабы заострить тему разговора о вере и безверии, о значении православия для русского народа в период, когда на Балканах убивают братьев-славян тысячами. «Нет, послушайте, господа, знаете ли, как мне представляется этот тёмный безвестный Туркестанского батальона солдат? Да ведь это, так сказать, – эмблема России, всей России, всей нашей народной России, подлинный образ её, вот той самой России, в которой циники и премудрые наши отрицают теперь великий дух и всякую возможность подъёма и проявления великой мысли и великого чувства...» И далее писатель предельно заостряет проблему: «У народа есть Фомы Даниловы и их тысячи, а мы совсем и не верим в русские силы, да и неверие это считаем за высшее просвещение и чуть не за доблесть. Ну чему же, наконец, мы научить можем? <...> Есть у нас, впрочем, одно утешение, одна великая наша гордость перед народом нашим, а потому-то мы так и презираем его: это то, что он национален и стоит на том изо всей силы, а мы – общечеловеческих убеждений, да и цель свою поставили в общечеловечности, а стало быть, безмерно над ним возвысились. Ну вот в этом и весь раздор наш, весь и разрыв с народом, и я прямо провозглашаю: уладь мы этот пункт, найди мы точку примирения, и разом кончилась бы вся наша рознь с народом. А ведь этот пункт есть, ведь его найти чрезвычайно легко. Решительно повторяю, что самые даже радикальные несогласия наши в сущности один лишь мираж...»

Глава вторая.

I. Примирительная мечта вне науки.

II. Мы в Европе лишь стрюцкие.

Эти две части посвящены анализу положения, которое Достоевский сформулировал так: «Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нём-то, и только в нём одном, и заключается спасение мира, что живёт он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной...» Идею эту писатель окончательно разовьёт через несколько лет в *Пушкинской речи* (1880), но уже здесь недвусмысленно заявлено о великой миссии в этом плане именно русского народа: «...дело тут вовсе не в вопросе: как кто верует, а в том, что все у нас, несмотря на всю разногласицу, всё же сходятся и сводятся к этой одной окончательной общей мысли общечеловеческого единения. Это факт, не подлежащий сомнению и сам в себе удивительный, потому что, на степени такой живой и главнейшей потребности, этого чувства нет ещё нигде ни в одном народе. Но если так, то вот и у нас, стало быть, у нас всех, есть твердая и определённая национальная идея; именно национальная. Следовательно, если национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение, то, значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до времени, стать поскорее русскими и национальными...» А иначе, считает автор *ДП*, быть нам в Европе только

«стриючками» – подлыми, дрянными, презренными людьми (Достоевский подробно объяснит значение этого слова в 1-й главе ноябрьского выпуска *ДП*). Достичь же цели очень просто: «Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу всё изменится. Стать русским значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать...»

III. Страница о «петрашевцах». 6 декабря 1876 г. на Казанской площади состоялась революционная демонстрация, участники которой были арестованы и о которой речь шла в декабрьском выпуске *ДП* за 1876 г. (гл. 1, IV). И вот в анонимной статье «По поводу политического процесса», опубликованной в «Петербургской газете» (1877, № 16, 23 янв.), автором проводилась мысль, что революционеры от поколения к поколению («декабристы» – «петрашевы» – «чернышевы» – «нечаевы» – «долгушинцы») мельчали, а в «казанской истории» участвовал и вовсе «не только ещё полуграмотный сброд, но с большим оттенком еврейского элемента и фабричного забулдыги»... Достоевскому уже приходилось опровергать мысль об измельчании типа «государственного преступника» в среде петрашевцев по сравнению с декабристами в *ДП* за 1873 г. («Одна из современных фальшей»), и на этот раз он напомнил читателям, что петрашевы были нисколько не ниже декабристов ни по положению, ни по образованию. И попутно писатель-петрашевец даёт здесь ёмкую характеристику типа русского революционера вообще: «...вообще тип русского революционера, во всё наше столетие, представляет собою лишь наияснейшее указание, до какой степени наше передовое, интеллигентное общество разорвано с народом, забыло его истинные нужды и потребности, не хочет даже и знать их и, вместо того, чтоб действительно озаботиться облегчением народа, предлагает ему средства, в высшей степени несогласные с его духом и с естественным складом его жизни и которых он совсем не может принять, если бы даже и понял их. Революционеры наши говорят не то и не про то, и это целое уже столетие...»

Главка эта была запрещена цензором *Н. А. Ратынским* и впервые опубликована: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 1 / Под ред. А. С. Долинина. Пб., 1922; в составе *ДП*: Ф. М. Достоевский. Полн. собр. худож. произв.: В XIII т. Т. XII / Под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. М.—Л., 1926—1930.

[illegible]

Лист из следственного дела петрашевцев.

IV. Русская сатира. «Новь». «Последние песни». Старые воспоминания. Главка посвящена литературе и чрезвычайно важна для биографии Достоевского и понимания его творческого кредо. О «русской сатире» и романе *И. С. Тургенева* «Новь», который ещё печатался в «Вестнике Европы», только лишь упоминается, а вся основная часть отдана уже тяжело больному в то время *Н. А. Некрасову*, его сборнику «Последние песни», воспоминаниям о своей юности, литературном дебюте, знакомстве с Некрасовым и *В. Г. Белинским*. Именно здесь писатель высказал суждение, которое остаётся злободневным и до наших дней: «Все наши критики (а я слежу за литературой чуть не сорок лет), и умершие, и теперешние, все, одним словом, которых я только запомню, чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой-нибудь отчет о текущей русской литературе чуть-чуть поторжественнее (прежде, например, бывали в журналах годовые январские отчёты за весь истекший год), – то всегда употребляли, более или менее, но с великою любовью, всё одну и ту же фразу: “В наше время, когда литература в таком упадке”, “В наше время, когда русская литература в таком застое”, “В наше литературное безвремение”, “Странствуя в пустынях русской словесности” и т. д., и т. д. На тысячу ладов одна и та же мысль. А в сущности в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять по крайней мере преталантливых беллетристов...» [Добавить](#)

надо, что в этот список Достоевский, по понятной скромности, не включил себя, а *Л. Н. Толстого* упомянул чуть выше.

V. Именинник. После запрещения перед самым выходом январского выпуска *ДП* цензором *Н. А. Ратынским* главки «Старина о “петрашевцах”», Достоевский срочно написал небольшую статью «Именинник». И опять, как и во многих выпусках *ДП* за 1876 г., – о самоубийствах. Среди многочисленных писем, получаемых автором *ДП*, было и письмо от помощника инспектора Кишинёвской духовной академии *М. А. Юркевича*, который сообщал о трагическом событии, взбудоражившем весь Кишинёв: 12-летний воспитанник местной прогимназии не знал урока и был наказан – оставлен в школе до пяти часов вечера. Мальчик походил-послonyaлся по классной комнате, нашёл верёвку, привязал к гвоздю и – удавился. Прежде чем начать разговор об этом случае, Достоевский вспоминает Николенку Иртенёва из «Детства» и «Отрочества» *Л. Н. Толстого*, напоминает-рисует его психологический портрет, особенно подробно останавливаясь на эпизоде, когда тот провинился на семейном празднике по поводу именин сестры и его наказали – заперли в тёмном чулане, и Николенка, в ожидании розог, начинает мечтать-фантазировать, как он вдруг внезапно умрёт, взрослые обнаружат его остывающий труп, начнут над ним плакать, жалеть его и корить-попрекать друг друга за его внезапную трагическую смерть. Вот об этой разнице (герой Толстого только помечтал о самоубийстве, а кишинёвский школьник помечтал и сделал) и размышляет писатель-психолог...

От редакции. Достоевский ещё раз (после *ДП*, 1876, декабрь, гл. 2, II) «категорически» заявляет и разъясняет в ответ на многочисленные запросы в письмах, что к журналу *Н. П. Вагнера* «Свет» не имеет никакого отношения, а также просит одну из корреспонденток (*О. А. Антипову*) уточнить свой адрес.

Ф Е В Р А Л Ь.

Глава первая.

I. Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой.
Один из неизвестнейших русских великих людей.

II. Доморощенные великаны и приниженный сын «кучи». *Анекдот о содранной со спины коже. Высшие интересы цивилизации, и «да будут они прокляты, если их надо купить такою ценой!».*

III. О сдирании кож вообще, разные aberrации в частности. Ненависть к авторитету при лакействе мысли.

IV. Меттернихи и Дон-Кихоты.

В первой главе Достоевский продолжает «капитальную» сквозную тему *ДП* за 1876 г. – Восточный вопрос, положение на Балканах, судьбы славянских народов, ведущих освободительную войну против Турции, роль России в этой борьбе. В связи с этим писатель вспоминает «Песни западных славян» *А. С. Пушкина*, которые, по его мнению, толком не прочитали и незаслуженно забыли, рассказывает о девочке-болгарке, на глазах которой с её отца «черкесы» живьём содрали кожу... Достоевский обвиняет в связи с этим в бесчеловечности не только и не столько турок, сколько просвещённую Европу, которая допускает подобные «сдирания кожи» ради цивилизации, которой не нужна освободительная война болгар и сербов, ибо она может нарушить спокойствие во всей Европе. В финале главы тон Достоевского становится патетическим: «А Европа прочла осенний манифест русского императора и его запомнила, – не для одной текущей минуты запомнила, а надолго, и на будущие текущие минуты. Обнажим, если надо, меч во имя угнетённых и несчастных, хотя даже и в ущерб текущей собственной выгоде. Но в то же время да укрепится в нас ещё тверже вера, что в том-то и есть настоящее назначение России, сила и правда её, и что жертва собою за угнетённых и брошенных всеми в Европе во имя интересов цивилизации есть настоящее служение настоящим и истинным интересам цивилизации...»

Глава вторая.***I. Один из главнейших современных вопросов.******II. «Злоба дня».******III. Злоба дня в Европе.******IV. Русское решение вопроса.***

«Мои читатели, может быть, уже заметили, что я, вот уже с лишком год издавая свой “Дневник писателя”, стараюсь как можно меньше говорить о текущих явлениях русской словесности, а если и позволяю себе кой-когда словцо и на эту тему, то разве лишь в восторженно-хвалебном тоне. А между тем в этом добровольном воздержании моем – какая неправда! Я – писатель, и пишу “Дневник писателя”, – да я, может быть, более чем кто-нибудь интересовался за весь этот год тем, что появлялось в литературе: как же скрывать, может быть, самые сильные впечатления?..» И далее в этой главе Достоевский, оттолкнувшись от эпизода из романа «Анна Каренина» *Л. Н. Толстого* (ч. VI, гл. 11), который прочёл в январском номере «Русского вестника», поднимает проблемы вовсе даже не литературные. В этом эпизоде Стива Облонский и Константин Левин, отдыхая на охоте, ведут разговор на самую что ни на есть «злобу дня» – о социальном устройстве мира. Оба понимают, что совершенно несправедливо, когда помещик получает пять тысяч рублей, а крестьянин в лучшем случае пятьдесят рублей, только Облонский согласен жить так и дальше, а у Левина «совесть болит». Достоевский и удивлён, и обрадован (особенно, чувствуется, тем, что именно у Льва Толстого это проявилось): «...уж один факт, что такая идеальнейшая дребедень признается самой насущной темой для разговора у людей далеко не из профессоров и не специалистов, а просто светских, Облонских и Левиных, – эта черта, говорю я, одна из самых характерных особенностей настоящего русского положения умов <...> Я именно провозглашаю, что есть, рядом с страшным развратом, что я вижу и предчувствую этих грядущих людей, которым принадлежит будущность России, что их нельзя уже не видеть и что художник, сопоставивший этого отжившего циника Стиву с своим новым человеком Левиным, как бы сопоставил это отпетое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее с собой собственным приговором общество русское, с обществом новой правды, которое не может вынести в сердце своем убеждения, что оно виновато, и отдаст всё, чтоб очистить сердце своё от вины своей...» В Европе, по мнению Достоевского, «злоба дня» решается совершенно неправильно: «предводители пролетариев» прельщают народ перераспределением собственности, перспективами физически истребить буржуазию и занять её место, отобрать все блага жизни для себя. Но есть «русское решение вопроса» – и «не только для русских, но и для всего человечества». И главное в этом решении – сторона «нравственная, то есть христианская»: начни с себя, нравственно переродись и «потрудишься на других»...

МАРТ.**Глава первая.*****I. Ещё раз о том, что Константинополь, рано ли, поздно ли, а должен быть наш.***

II. Русский народ слишком дорос до здравого понятия о Восточном вопросе с своей точки зрения.

III. Самые подходящие в настоящее время мысли.

Достоевский вновь возвращается к Восточному вопросу, который Европа никак решить не может, и со всей определённостью высказывает своё мнение: «Мы, Россия, действительно необходимы и неминуемы и для всего восточного христианства, и для всей судьбы будущего православия на земле, для единения его. Так всегда понимали это наш народ и государи его... Одним словом, этот страшный Восточный вопрос – это чуть не вся судьба наша в будущем. В нём заключаются как бы все наши задачи и, главное, единственный выход наш в полноту истории. В нём и окончательное столкновение наше с Европой, и окончательное единение с

нею, но уже на новых, могучих, плодотворных началах. О, где понять теперь Европе всю ту роковую жизненную важность для нас самих в решении этого вопроса! Одним словом, чем бы ни кончились теперешние, столь необходимые, может быть, дипломатические соглашения и переговоры в Европе, но рано ли, поздно ли, а Константинополь должен быть наш, и хотя бы лишь в будущем только столетии! Это нам, русским, надо всегда иметь в виду, всем неуклонно. Вот что мне хотелось заявить, особенно в настоящий европейский момент...»

Глава вторая.

I. «Еврейский вопрос».

II. Pro u contra.

III. Status in statu. Сорок веков бытия.

IV. Но да здравствует братство!

С периода, когда Достоевский возглавил газету-журнал «Гражданин» (1873) и основал на его страницах свой «Дневник писателя», а затем ещё более широко и в ДП 1876 г. он взялся довольно часто употреблять слово «жид» и производные от него, а затем появляется в его публицистике латинское выражение, которое станет ключевым во многих последующих статьях писателя, затрагивающих еврейский вопрос – «status in statu» («государство в государстве»). Достоевскому всё чаще приходилось объясняться, оправдываться по поводу своего неприкрытого «антижидовского шовинизма». Слишком видную роль в общественной жизни России стал он играть в последние годы жизни, каждое слово его, каждый поступок вызвали резонанс в образованных кругах. Так, к примеру, писательница и общественная деятельница *Е. П. Леткова (Султанова)* вспоминала: «В студенческих кружках и собраниях постоянно раздавалось имя Достоевского. Каждый номер «Дневника писателя» давал повод к необузданнейшим спорам. Отношение к так называемому «еврейскому вопросу», отношение, бывшее для нас своего рода лакмусовой бумажкой на порядочность, – в «Дневнике писателя» было совершенно неприемлемо и недопустимо: «Жид, жидовщина, жидовское царство, жидовская идея, охватывающая весь мир...» Все эти слова взрывали молодежь, как искры пороха...» [*Д. в восп.*, т. 2, с. 449] Сохранилось и шесть писем к Достоевскому от *А. Г. Ковнера*, литератора, а на момент переписки и арестанта (присвоил, служа в банке, 168 тысяч рублей), наполненных полемикой с автором ДП и его «юдофобскими» взглядами. На первые два послания Ковнера Достоевский ответил подробнейшим письмом, а затем решил ответить сразу «капитально» и всем на страницах ДП. Титло «мракобеса», «шовиниста» носить Достоевскому отнюдь не хотелось. Но и убеждений своих он изменить был не в силах, кривить душой не хотел – он всегда писал и говорил только то, что думал. Так как это – краеугольная публикация у Достоевского по «еврейскому вопросу», стоит процитировать из неё основные фрагменты:

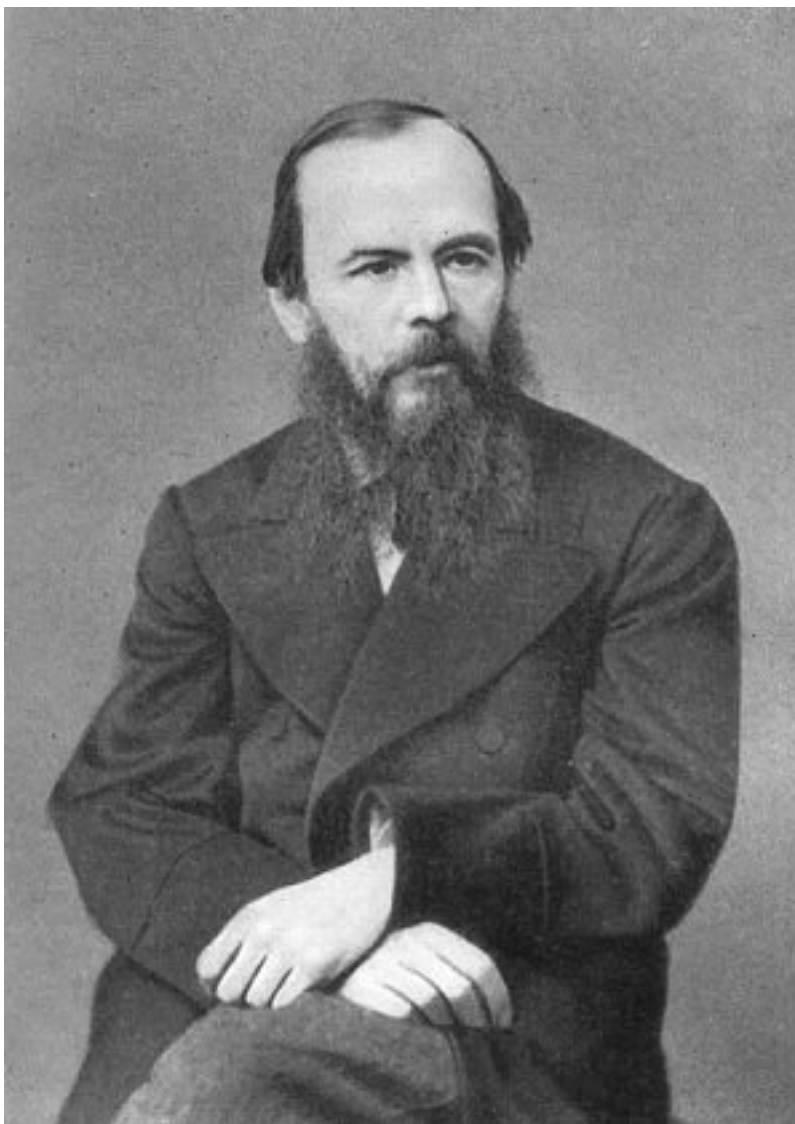
«...Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал в ненавистники еврея как народа, как нации? Как эксплуататора и за некоторые пороки мне осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами, но – но лишь на словах: на деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и обидчивее его, как еврея. Но опять-таки: когда и чем заявил я ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной <...>, это знают, то я <...> с себя это обвинение снимаю <...>. Уж не потому ли обвиняют меня в «ненависти», что я называю иногда еврея «жидом»? Но, во-первых, я не думал, чтоб это было так обидно, а во-вторых, слово «жид» сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: «жид, жидовщина, жидовское царство» и проч. Тут обозначалось известное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не соглашаться с нею, но не обижаться словом. <...> Во-вторых, нельзя не заметить, что почтенный корреспондент, коснувшись в этих немногих строках своих и до русского народа, не утерпел и не выдержал и отнесся к бедному русскому народу несколько слишком уж свысока. Правда, в России и от русских-то не осталось ни одного непропленного места (словечко Щедрина), а еврею тем простительнее. Но во всяком случае

ожесточение это свидетельствует ярко о том, как сами евреи смотрят на русских. Писал это действительно человек образованный и талантливый (не думаю только, чтоб без предрассудков); чего же ждать, после того, от необразованного еврея, которых так много, каких чувств к русскому? <...> Положим, очень трудно узнать сорокавековую историю такого народа, как евреи; но на первый случай я уже то одно знаю, что наверно нет в целом мире другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждым шагом и словом своим, на свое принижение, на свое страдание, на свое мученичество. Подумаешь, не они царят в Европе, не они управляют там биржами хотя бы только, а стало быть, политикой, внутренними делами, нравственностью государств. <...> всё-таки не могу вполне поверить крикам евреев, что уж так они забиты, замучены и принижены. На мой взгляд, русский мужик, да и вообще русский простолюдин несет тягостей чуть ли не больше еврея...

<...> любопытно то, что чуть лишь вам <...> понадобится справка о евреях и делах его, – то <...> протяните лишь руку к какой хотите первой лежащей подле вас газете и поищите на второй или на третьей странице: непременно найдете что-нибудь о евреях <...> и непременно одно и то же – то есть всё одни и те же подвиги! <...> Разумеется, мне ответят, что все обуреваемы ненавистью, а потому все лгут <...> (но) если все до единого лгут и обуреваемы такой ненавистью, то с чего-нибудь да взялась же эта ненависть, ведь что-нибудь значит же эта всеобщая ненависть...

<...> Пусть я не твёрд в познаниях еврейского быта, но одно-то я уж знаю наверно <...>, что нет в нашем простонародье предвзятой, априорной, тупой, религиозной какой-нибудь ненависти к еврею, вроде: «Иуда, дескать, Христа продал». Если и услышишь это от ребятишек или от пьяных, то весь народ наш смотрит на еврея, повторяю это, без всякой предвзятой ненависти...

<...> А между тем, мне иногда входила в голову фантазия: ну что, если бы это не евреев было в России три миллиона, а русских; а евреев было бы 80 миллионов – ну, во что обратились бы у них русские и как бы они их третировали? <...> Не обратили ли бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? Не избили бы дотла, до окончательного истребления, как дельвали они с чужими народностями в старину <...>? Нет-с, уверяю вас, что в русском народе нет предвзятой ненависти к еврею, а есть, может быть, несимпатия к нему, особенно по местам, и даже, может быть, очень сильная. О, без этого нельзя, это есть, но происходит это вовсе не от того, что он еврей, не из племенной, не из религиозной какой-нибудь ненависти, а происходит это от иных причин, в которых виноват уже не коренной народ, а сам еврей...».



Ф. М. Достоевский. Фотография Н. Ф. Досса, 1876 г.

Достоевский берётся хотя бы вкратце объяснить признаки и основную суть *status in statu*: «Признаки эти: отчуждённость и отчуждимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность – еврей...» И далее автор *ДП* цитирует основные постулаты Талмуда, главной иудейской книги:

«Выйди из народов и составь свою особь и знай, что до сих пор ты един у Бога, остальных истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что всё покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своём не общайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами – навсегда верь тому, что тебе обещано, раз навсегда верь тому, что всё сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и – ожидай, ожидай...»

«Евреи всё кричат, – продолжает далее Достоевский, – что есть же и между ними хорошие люди. О Боже! да разве в этом дело? <...> Мы говорим о целом и об идее его, мы говорим о *жидовстве* и об *идее жидовской*, охватывающей весь мир, вместо “неудавшегося” христианства...»

В заключительной части Достоевский восклицает в заголовке «Но да здравствует братство!» и, действительно, ведёт речь о миролюбии, хотя и не без некоторой противоречивости: «<...> я окончательно стою <...> за совершенное расширение прав евреев <...> (NB, хотя, может быть, в иных случаях, они имеют уже и теперь больше прав или, лучше сказать, чем

само коренное население). Конечно, мне приходит тут же на ум, например, такая фантазия: ну что если пошатнется <...> наша сельская община <...>, ну что если тут же к этому освобожденному мужику <...> нахлынет всем кагалом еврей <...> тут мигом конец его: всё имущество его, вся сила его перейдет на завтра же во власть еврея, и наступит такая пора, с которой не только не могла бы сравниться пора крепостничества, но даже татарщина <...> Но <...> я всё-таки стою за полное и окончательное уравнивание прав – потому что это Христов закон <...> я прежде всего умоляю моих оппонентов и корреспондентов-евреев быть, напротив, к нам, русским, снисходительнее и справедливее. Если высокомерие их, если всегдашняя “скорбная брезгливость” евреев к русскому племени есть только предубеждение, «исторический нарост», то да рассеется всё это скорее и да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и отечеству нашему! <...> но всё-таки для братства, для полного братства, нужно братство с обеих сторон...»

Глава третья.

I. Похороны «Общечеловека».

II. Единичный случай.

Достоевский получил из Минска письмо от девушки-еврейки *С. Е. Лурье*, датированное 13 февраля 1877 г., в котором рассказывалось о похоронах доктора Гинденбурга, пользующегося всенародной любовью и над могилой которого «держали речь пастор и еврейский раввин, и оба плакали»... Автор *ДП* воспользовался этим письмом, чтобы проиллюстрировать в главе третьей то, о чём речь шла во второй главе – решение еврейского вопроса возможно только через таких «общечеловеков», которые служат людям, не взирая на их национальность...

III. Нашим корреспондентам.

Ответы на некоторые письма читателей по конкретным вопросам.

А П Р Е Л Ь.

Глава первая.

I. Война. Мы всех сильнее.

II. Не всегда война бич, иногда и спасение.

III. Спасает ли пролитая кровь?

IV. Мнение «тишайшего» царя о Восточном вопросе.

Вся глава посвящена начавшейся войне России с Турцией. Достоевский безусловный сторонник этой войны и приветствует её: «Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь “братьев-славян”, измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте <...> Дрогнули сердца исконных врагов наших и ненавистников, которым мы два века уж досаждаем в Европе, дрогнули сердца многих тысяч жидов европейских и миллионов вместе с ними жидовствующих “христиан”; дрогнуло сердце Биконсфильда: сказано было ему, что Россия всё перенесет, всё, до самой срамной и последней пощёчины, но не пойдёт на войну – до того, дескать, сильно её “миролюбие”. Но Бог нас спас, наслав на них на всех слепоту; слишком уж они поверили в погибель и в ничтожность России, а главное-то и проглядели. Проглядели они весь русский народ, как живую силу, и проглядели колоссальный факт: союз царя с народом своим! <...> Итак, видно, и война необходима для чего-нибудь, целесообразна, облегчает человечество. Это возмутительно, если подумать отвлечённо, но на практике выходит, кажется, так, и именно потому, что для заражённого организма и такое благое дело, как мир, обращается во вред. Но все-таки полезно оказывается лишь та война, которая принята для идеи, для высшего и великодушного принципа, а не для материального интереса, не для жадного захвата, не из гордого насилия...» И в конце Достоевский, ссылаясь на свидетельства историков, утверждает, что ещё царь Алексей Михайлович (1629—1676) жалел, что в Восточном вопросе «не может быть царём освободителем»...

Глава вторая.

Сон смешного человека. Фантастический рассказ.

Освобождение подсудимой Корниловой. Достоевский здесь вновь возвращается к делу Корниловой, выбросившей из окна свою падчерицу, о котором речь шла в ДП за 1876 г. дважды (октябрь, гл. 1, I; декабрь, гл. 1, I), и сообщает о вторичном рассмотрении его с новым составом суда: на этот раз, как и добивался писатель, суд признал, что Корнилова совершила преступление в состоянии аффекта и оправдал её...

К моим читателям. Достоевский уведомляет читателей, что майский и июньский, а затем июльский и августовский выпуски ДП выйдут из-за его болезни в сдвоенном виде.

М А Й – И Ю Н Ъ.

Глава первая.

I. Из книги предсказаний Иоанна Лихтенбергера, 1528 года. «Мне сообщили один прекрасный документ. Это одно древнее, правда, туманное и аллегорическое, предсказание о нынешних событиях и о нынешней войне. Один из наших молодых учёных нашёл в Лондоне, в королевской библиотеке, один старый фолиант, “книгу предсказаний”, “Prognosticationes” Иоанна Лихтенбергера, издание 1528 года, на латинском языке...» И далее с комментарием приводятся («единственно как занимательный факт») выдержки из этой редкой книги, о которой сообщил Достоевскому *Вл. С. Соловьёв*, которые как бы действительно содержат предсказание русско-турецкой войны 1877 г. и победу России...

II. Об анонимных ругательных письмах. «...Из нескольких сот писем, полученных мною за эти полтора года издания “Дневника”, по крайней мере сотня (но наверно больше) было анонимных, но из этих ста анонимных писем лишь два письма были абсолютно враждебные...» Размышляя на эту тему в связи с конкретным данным фактом, Достоевский поднимает проблему нравственности в обществе вообще: «Одним словом, я стал давно уже подозревать, и подозреваю до сих пор, что наше время должно быть непременно временем хотя и великих реформ и событий, это бесспорно, но вместе с тем и усиленных анонимных писем ругательного характера...» И далее разговор идёт о том, что простой народ в этом плане гораздо выше образованного слоя «По понятиям народа, то, что пакостно на миру, пакостно и за дверями...» А ещё большие надежды автор возлагает на юное поколение...

III. План обличительной повести из современной жизни. Здесь писатель даёт подробнейший план-пересказ произведения, который проиллюстрировал бы его размышления из предыдущей главки: главный герой, напоминающий героя *Н. В. Гоголя* из «Записок сумасшедшего» («наш Поприщин, современный нам Поприщин <...>, только повторившийся тридцать лет спустя...»), делает карьеру с помощью анонимных писем... Достоевский пообещал этот сюжет использовать в каком-нибудь будущем романе, но это намерение осталось неосуществлённым.

Глава вторая.

I. Прежние земледельцы – будущие дипломаты.

II. Дипломатия перед мировыми вопросами.

III. Никогда Россия не была столь могущественною, как теперь, – решение не дипломатическое.

Глава третья.

I. Германский мировой вопрос. Германия – страна протестующая.

II. Один гениально-мнительный человек.

III. И сердиты и сильны.

IV. Чёрное войско. Мнение легионов как новый элемент цивилизации.

V. Довольно неприятный секрет.

Глава четвёртая.

I. Любители турок.

II. Золотые фраки. Прямолинейные.

Три заключительные главы майско-июньского выпуска *ДП* отданы политике. Достоевский, начиная разговор с русских помещиков, уехавших после реформы искать счастья за границу, затем подробно анализирует положение в Европе (в основном, во Франции и Германии), размышляет о иезуитстве дипломатии, пытающейся исказить значение Восточного вопроса, прекратить освободительную для славян войну на Балканах. Здесь писатель ещё раз и всеобъемлюще формулирует суть происходящего: «...все и даже не дипломаты (и даже особенно если недипломаты) – все знают давным-давно, что Восточный вопрос есть, так сказать, один из мировых вопросов, один из главнейших отделов мирового и ближайшего разрешения судеб человеческих, новый грядущий фазис этих судеб. Известно, что тут дело не только одного Востока Европы касается, не только славян, русских и турок или там специально болгар каких-нибудь, но тоже и всего Запада Европы, и вовсе не относительно только морей и проливов, входов и выходов, а гораздо глубже, основнее, стихийнее, насущнее, существеннее, первоначальнее. А потому понятно, что Европа тревожится и что дипломатии так много дела...» В заключительной главе Достоевский с горечью пишет о «любителях турок», «золотых фраках» (самолюбивых снобах) и «прямолинейных» (наивных дураках), которые, являясь русскими и живя в России, не поддерживают войну с Турцией...

И Ю Л Ь – А В Г У С Т.

Глава первая.

I. Разговор мой с одним московским знакомым. Заметка по поводу новой книги.

II. Жажда слухов и того, что «скрывают». Слово «скрывают» может иметь будущность, а потому и надобно принять меры заранее. Опять о случайном семействе.

III. Дело родителей Джунковских с родными детьми.

IV. Фантастическая речь председателя суда.

Основная тема всей главы – воспитание детей, «случайные» семейства. «Современное русское семейство становится всё более и более *случайным* семейством. Именно *случайное семейство* – вот определение современной русской семьи...» Достоевский высказывает и доказывает здесь очевидную для него, но не для многих мысль: «Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь...» И далее в качестве иллюстрации писатель подробно разбирает и комментирует материалы процесса Калужского областного суда по делу супругов Джунковских, бесчеловечно обращавшихся со своими детьми...

Глава вторая.

I. Опять обособление. Восьмая часть «Анны Карениной».

II. Признания славянофила.

III. «Анна Каренина» как факт особого значения.

IV. Помещик, добывающий веру в Бога от мужика.

Глава третья.

I. Раздражительность самолюбия.

***II. Tout ce qui n'est pas expressement permis est défendu* [фр. Всё, что не дозволено особенно настойчиво, надо считать запрещённым].**

III. О безошибочном знании необразованным и безграмотным русским народом главнейшей сущности Восточного вопроса.

IV. Сотрясение Левина. Вопрос: имеет ли расстояние влияние на человеколюбие? Можно ли согласиться с мнением одного пленного турка о гуманности некоторых наших дам? Чему же, наконец, нас учат наши учителя?

Упомянув в первой главе этого выпуска *ДП* о выходе заключительной 8-й части романа *Л. Н. Толстого* «Анна Каренина» отдельной книжкой, Достоевский всю третью главу посвящает ей. Причём, разговор идёт не столько о литературе, сколько о злободневных жизненных вопросах, отразившихся в этой части толстовского романа, и в основном о – Восточном вопросе, войне с Турцией, братстве славянских народов, очищающем воздействии на русское общество этой войны... И здесь, в отличие от главы второй февральского выпуска, Достоевский критически относится к герою романа Левину, его мировоззрению, его «прямолинейному» взгляду на войну...

С Е Н Т Я Б Р Ь.

Глава первая.

I. Несчастливцы и неудачники.

II. Любопытный характер.

III. То да не то. Ссылка на то, о чём я писал ещё три месяца назад.

IV. О том, что думает теперь Австрия.

V. Кто стучится в дверь? Кто войдёт? Неизбежная судьба.

Вся глава отдана политической злобе дня. Начав с политического кризиса во Франции, где президент республики маршал Мак-Магон 16 мая 1877 г. распустил Палату депутатов, и притязаний католичества на мировое господство, Достоевский предупреждает: «Одним словом, мир ожидают какие-то большие и совершенно новые события, предчувствуется появление легионов, огромное движение католичества. Здоровье папы, пишут, “удовлетворительно”. Но беда, если смерть папы совпадёт с выборами во Франции или произойдёт вскоре после них. Тогда Восточный вопрос может разом переродиться во всеевропейский...» И далее автор *ДП* напоминает читателям, что уже в майско-июньском выпуске за 1877 г. многое, что написал он «о ближайшем будущем Европы, теперь уже подтвердилось или *начинает подтверждаться*». А ведь многие не верили ему и «клерикального» (прокатолического) заговора «совсем не признавали»...

Глава вторая.

I. Ложь ложью спасается.

II. Слизняки, принимаемые за людей. Что нам выгоднее: когда знают о нас правду или когда говорят о нас вздор?

III. Лёгкий намёк на будущего интеллигентного русского человека. Несомненный удел будущей русской женщины.

Заглавный герой романа Сервантеса «Дон-Кихот», «затосковав по реализму», объяснил сам себе и Санчо Пансе чудо, когда один рыцарь всего за несколько часов мечом убивает сто тысяч врагов, тем, что враги эти были почти бесплотны, «слизняки», каковых можно было одним ударом убивать десятками. Вот так же, считает Достоевский, происходит в настоящий момент в отношении Турции, только с точностью до наоборот: «В Европе случилось то же самое, что произошло в повреждённом уме Дон-Кихота, но лишь в форме обратной, хотя сущность факта совершенно та же: тот, чтоб спасти истину, выдумал людей с телами слизняков, эти же, чтоб спасти свою основную мечту, столь их утешающую, о ничтожности и бессилии России, – сделали из настоящего уже слизняка организм человеческий, одарив его плотью и кровью, духовною силою и здоровьем...» И далее в связи с этой вдруг вспыхнувшей «любви» Европы к Турции Достоевский ещё раз и убеждает, и пророчествует: «...Восточный вопрос (то есть и славянский вместе) вовсе не славянофилами выдуман, да и никем не выдуман, а сам родился, и уже очень давно – родился раньше славянофилов, раньше нас, раньше вас, раньше даже Петра Великого и Русской империи. Родился он при первом сплочении великорусского племени в единое русское государство, то есть вместе с царством Московским. Восточный вопрос есть исконная идея Московского царства, которую Пётр Великий признал в высшей

степени и, оставляя Москву, перенёс с собой в Петербург. Пётр в высшей степени понимал её органическую связь с русским государством и с русской душой. Вот почему идея не только не умерла в Петербурге, но прямо признана была как бы русским назначением всеми преемниками Петра. Вот почему её нельзя оставить и нельзя ей изменить. Оставить славянскую идею и отбросить без разрешения задачу о судьбах восточного христианства (NB. сущность Восточного вопроса) – значит, всё равно что сломать и вдребезги разбить всю Россию, а на место её выдумать что-нибудь новое, но только уже совсем не Россию...» И в конце автор в который раз пишет о том, какую большую роль в обществе предстоит уже в ближайшем будущем играть «русской женщине»...

О К Т Я Б Р Ь.

Глава первая.

I. К читателю. Достоевский благодарит читателей за «сочувствие» к его изданию, за многочисленные письма и уведомляет: «По недостатку здоровья, особенно мешающему мне издавать “Дневник” в точные определенные сроки, я решаюсь, на год или на два, прекратить мое издание...» Другой причиной, помимо здоровья, и, вероятно, главной, такого решения была творческая – писатель приступал к созданию романа «*Братья Карамазовы*».

II. Старое всегдашнее военное правило.

III. То же правило, только в новом виде.

IV. Самые огромные военные ошибки иногда могут быть совсем не ошибками.

V. Мы лишь наткнулись на новый факт, а ошибки не было. Две армии – две противоположности. Настоящее положение дел.

Остальные четыре главки отданы русско-турецкой войне и, в частности, неудачному штурму Плевны 18 /30/ июля 1877 г., обсуждению этого в прессе. Достоевский, в отличие от многих, оптимист и напоминает аксиому, которую он знал ещё со времён учёбы в *Главном инженерном училище*: «Эта инженерная аксиома состояла в том, что нет и не может быть крепости неприступной, то есть как бы ни была искусно укреплена и оборонена крепость, но в конце концов она должна быть взята, и что, стало быть, военное искусство атаки крепости всегда превышает средства и искусство ее обороны...» Большие надежды Достоевский возлагает на бывшего питомца Главного инженерного училища и героя Крымской войны Э. И. *Тотлебена*, только что прибывшего в район Плевны: «Одним словом, наш военный горизонт просиял, и надежд опять много. В Азии кончилось большой победой. Балканская же армия наша многочисленна и великолепна, дух её вполне на высоте своей цели. Русский народ (то есть народ) весь, как один человек, хочет, чтоб великая цель войны за христианство была достигнута. Нельзя матерям не плакать над своими детьми, идущими на войну: это природа; но убеждение в святости дела остается во всей своей силе. Отцы и матери знают, на что отпускают детей: война народная...» Как показали дальнейшие события, оптимизм Достоевского был вполне оправдан: 28 ноября /10 дек./ 1877 г. Плевна пала, и Тотлебен, назначенный с 1878 г. главнокомандующим всей русской армией на Балканах, сыграл большую роль в победе России над Турцией.

Глава вторая.

I. Самоубийство Гартунга и всегдашний вопрос наш: кто виноват?

II. Русский джентльмен. Джентльмену нельзя не остаться до конца джентльменом.

III. Ложь необходима для истины. Ложь на ложь дает правду. Правда ли это?

В московском Окружном суде с 7 по 13 октября 1877 г. проходил процесс по обвинению генерал-майора Л. Н. *Гартунга* (мужа дочери А. С. *Пушкина* Марии) и некоторых других лиц в похищении денежных документов. Гартунг, который не был лично виновен в похищении, застрелился 13 октября в помещении суда. Всю вторую главу октябрьского выпуска Достоев-

ский посвятил этому делу, чтобы вновь поднять вопрос о состоянии судебной системы, об ошибках суда присяжных. Внимание писателя-психолога данный случай привлёк по двум причинам: 1) самоубийство как следствие возможной судебной ошибки и 2) добровольная смерть как достойный выход аристократа, «джентльмена» из тупиковой позорной ситуации, в которую попал он по воле «фатума» и по слабости характера, по непрактичности, столь свойственной именно русскому человеку, самоубийство как единственный способ сохранения чести. Симпатии автора явно на стороне Гартунга, Достоевский не то что не осуждает его самоубийство, он даже его как бы оправдывает: «Бывают в этом слое интеллигентных русских людей типы, с некоторой стороны даже чрезвычайно привлекательные, но именно с этими несчастными свойствами русского джентльменства <...>. Иные из них почти невинны, почти Шиллеры; их незнание “дел” придаёт им почти нечто трогательное, но чувство чести в них сильное: он застрелится, как Гартунг, если, по своему мнению, потеряет честь <...> Одним словом, Гартунг умер в сознании совершенной своей личной невинности, но и ошибки... судебной ошибки, в строгом смысле, никакой не было. Был фатум, случилась трагедия: слепая сила почему-то выбрала одного Гартунга, чтоб наказать его за пороки, столь распространённые в его обществе. Таких, как он, может быть, 10000, но погиб один Гартунг...» Что касается суда, то вывод автора таков: «Я знаю, что всё это лишь праздное с моей стороны нытьё. Но послушайте, учреждение гласного присяжного суда всё же ведь не русское, а скопированное с иностранного. Неужели нельзя надеяться, что русская национальность, русский дух когда-нибудь сгладят шероховатости, уничтожат фальшь... дурных привычек, и дело пойдёт уже во всём по правде и по истине. Правда, теперь это невозможно: теперь именно защита и обвинение блистают этими дурными привычками, ибо одни ищут денег, а другие карьеры. Но ведь когда-нибудь можно же будет прокурору даже защищать подсудимого, вместо того чтоб обвинять его, так что защитники, если бы захотели возразить, что даже и той малой доли обвинения, которую прокурор всё же оставил на подсудимом, нельзя применить к нему, то присяжные заседатели им просто бы не поверили. Я даже так думаю, что такой прием скорее бы и вернее гораздо способствовал к отысканию истины, чем прежний механический способ преувеличения, состоящий в крайности обвинения и в зверстве защиты?...»

Глава третья.

I. Римские клерикалы у нас в России.

II. Летняя попытка Старой Польши мириться.

III. Выходка «Биржевых ведомостей». Не бойкие, а злые перья.

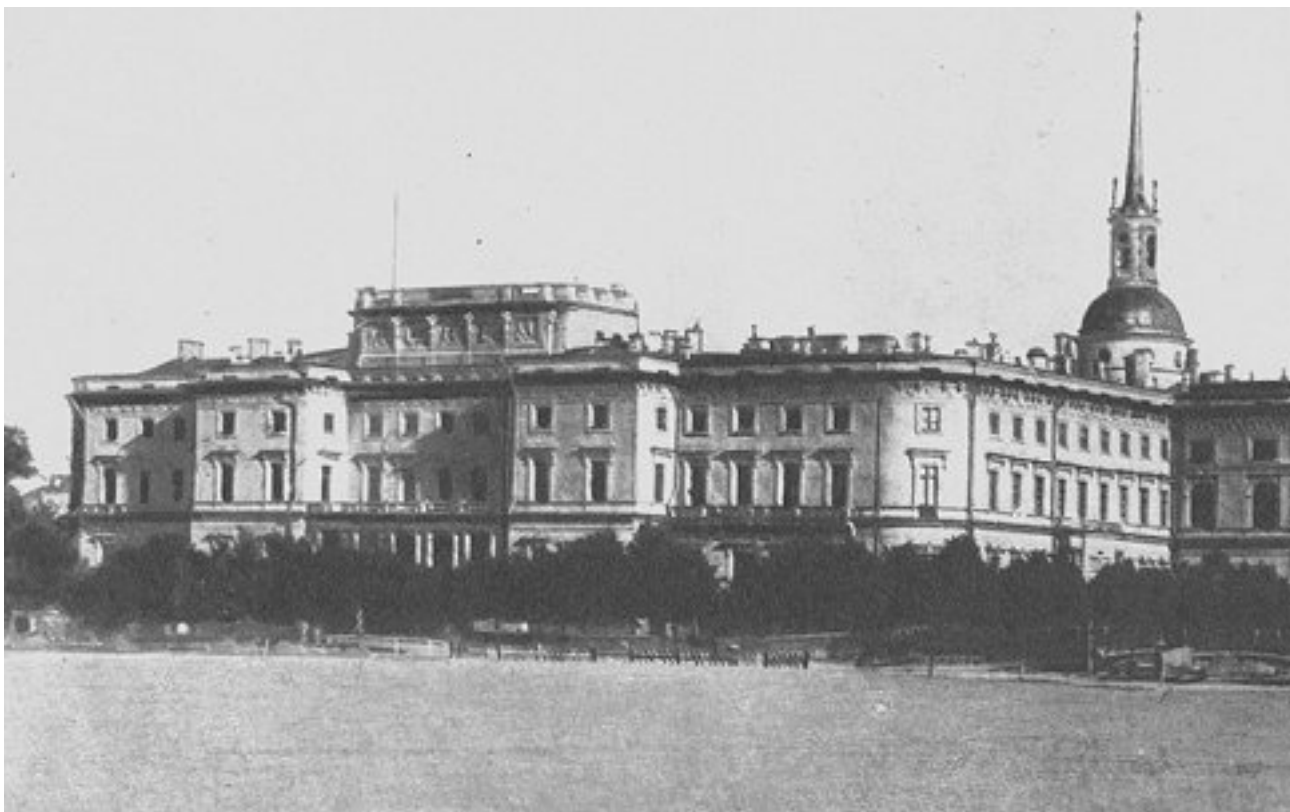
Вся глава посвящена опасности экспансии «римских клерикалов» (сторонников установления светской власти папы римского), польских католиков и вообще католичества в отношении России, православия.

Н О Я Б Р Ь.

Глава первая.

I. Что значит слово: «стриюцкие»? В январском выпуске ДП за 1877 г. часть вторая второй главы была озаглавлена «Мы в Европе лишь стрюцкие», кроме того слово это не раз встречалось в тексте «Дневника», и здесь Достоевский, в ответ на запросы читателей, объясняет и комментирует значение слова-понятия: «“Стрюцкий” – есть человек пустой, дрянной и ничтожный. В большинстве случаев, а может быть и всегда, – пьяница-пропойца, потерянный человек...»

II. История глагола «стушеваться». Здесь автор продолжает «лингвистическую» тему, вспоминает о времени, когда он только входил в литературу и впервые в повести «Двойник» употребил слово «стушеваться» из лексикона питомцев *Главного инженерного училища*, которое широко потом начало употребляться в русском языке. Значение же его – «исчезнуть, уничтожиться, сойти, так сказать, на нет».



Главное инженерное училище.

Глава вторая.

I. Лакейство или деликатность?

II. Самый лакейский случай, какой только может быть.

III. Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать.

«Известно, что все русские интеллигентные люди чрезвычайно деликатны, то есть в тех случаях, когда они имеют дело с Европой или думают, что на них смотрит Европа, – хотя бы та, впрочем, и не смотрела на них вовсе...» Начав с этого посыла, Достоевский в этой главе подробно разбирает «деликатное» поведение «русских европейцев», сильно смахивающее на «лакейство», которые всячески принижают значение русско-турецкой войны, победы русских войск, демонстрируют своё «европейское» отношение к туркам. Позиция писателя чётко выражена хотя бы в следующих строках: «NB. (Кстати, еще недавно, уже в половине ноября, писали из Пиргоса о новых зверствах этих извергов. Когда, во время горячей бывшей там стычки, турки временно оттеснили наших так, что мы не успели захватить наших раненых солдат и офицеров, и когда потом, в тот же день к вечеру, опять наши воротились на прежнее место, то нашли своих раненых солдат и офицеров обкраденными, голыми, с отрезанными носами, ушами, губами, с вырезанными животами и, наконец, обгорелыми в сожженных турками скирдах соломы и хлеба, куда они предварительно перенесли живых наших раненых. Репрессалии, конечно, жестокая вещь, тем более, что в сущности ни к чему не ведут, как и сказал уже я раз в одном из предыдущих выпусков “Дневника”, но строгость с начальством этих скотов была бы не лишнею. Можно бы прямо объявить, вслух и даже на всю Европу (пруссакки наверно бы сделали так, потому что они даже с французами так точно делали по причинам в десять раз меньше уважительным, чем те, которые имеем мы против воюющих с нами скотов), – что если усмотрятся совершённые зверства, то ближайшие начальники тех турок, которые совершили зверства, в случае взятия их в плен, будут судимы на месте военным судом и подвержены смертной казни расстрелянием...» А в конце Достоевский уже смотрит в даль, когда война закончится и будет решаться «славянский вопрос», и предсказывает большие трудности вплоть до того, что освобождённые Россией народы могут её же и возненавидеть... Разъяснив подробно эту свою

парадоксальную мысль, автор *ДП* делает окончательный вывод-пророчество: «Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, а только будут служить одним своим “интересам”, то погибнут эти нации несомненно, очеченеют, обессилеют и умрут. А выше целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому лишь) воссоединению в великое целое. Тогда только скажет всеславянство свое новое целительное слово человечеству... Выше таких целей не бывает никаких на свете. Стало быть, и “выгоднее” ничего не может быть для России, как иметь всегда перед собой эти цели, всё более и более уяснять их себе самой и всё более и более возвышаться духом в этой вечной, неустанной и доблестной работе своей для человечества.

Будь окончание нынешней войны благополучно – и Россия несомненно войдет в новый и высший фазис своего бытия...»

Глава третья.

I. Толки о мире. «Константинополь должен быть наш» – возможно ли это? Разные мнения.

II. Опять в последний раз «прорицания».

III. Надо ловить минуту.

В войне с Турцией Россия одерживала всё новые победы и в европейской и в российской прессе широко обсуждались вопросы и условия заключения мира. В частности, в газете «Русский мир» появился ряд статей *Н. Я. Данилевского*, автора капитального труда «Россия и Европа» (1869), (высоко ценимого Достоевским), который считал, что Константинополь должен со временем стать «общеславянским» городом, а пока его лучше оставить под властью турок... Автор *ДП* категорически с этим не согласен, он считает, что надо поменьше прислушиваться к «мнению Европы» и «ловить минуту» – воспользоваться плодами победы максимально: «Константинополь должен быть *наш*, завоёван *нами*, русскими, у турок и остаться нашим навеки...»

Д Е К А Б Р Ь.

Глава первая.

I. Заключительное разъяснение одного прежнего факта.

II. Выписка.

III. Искажения и подтасовки и – нам это ничего не стоит.

IV. Злые психологи. Акушеры-психиатры.

V. Один случай, по-моему, довольно много разъясняющий.

VI. Враг ли я детей? О том, что значит иногда слово «счастливая».

Достоевский вновь возвращается к делу Корниловой, выбросившей из окна свою падчерицу, речь о котором шла в *ДП* уже трижды (1876, октябрь, гл. 1; декабрь, гл. 1; 1877, апрель, гл. 2). Вызвано это было тем, что в газете «Северный вестник» (1877, № 8), некий «Наблюдатель» обвинил писателя в защите преступницы, в оправдании преступления против ребёнка. Писатель здесь подробно разъясняет свою позицию и своё участие в этом конкретном деле и свою позицию по «детскому вопросу», по судебной реформе, по психологии преступников вообще.

Глава вторая.

I. Смерть Некрасова. О том, что сказано было на его могиле.

II. Пушкин, Лермонтов и Некрасов.

III. Поэт и гражданин. Общие толки о Некрасове как о человеке.

IV. Свидетель в пользу Некрасова.

Первые четыре части второй главы посвящены памяти *Н. А. Некрасова*, скончавшегося 27 декабря 1877 г. Достоевский пишет о похоронах поэта, своих последних встречах с ним, вспоминает 1840-е гг., когда Некрасов одним из первых оценил его дебютный роман «Бедные

люди» и свёл начинающего писателя с *В. Г. Белинским*, даёт свою оценку Некрасову как гражданину и поэту, определяет его значение в ряду других великих русских поэтов, его народность: «В служении сердцем своим и талантом своим народу он находил всё своё очищение перед самим собой. Народ был настоящею внутреннею потребностью его не для одних стихов. В любви к нему он находил своё оправдание. Чувствами своими к народу он возвышал дух свой. Но что главное – это то, что он не нашел предмета любви своей между людей, окружавших его, или в том, что чтут эти люди и пред чем они преклоняются. Он отрывался, напротив, от этих людей и уходил к оскорбленным, к терпящим, к простодушным, к униженным, когда нападало на него отвращение к той жизни, которой он минутами слабодушно и порочно отдавался; он шёл и бился о плиты бедного сельского родного храма и получал исцеление...»

V. К читателям. В заключительной подглавке Достоевский прощается «на время» с читателями «Дневника писателя», обещает через год возобновить его издание как только «отдохнёт» и напишет новый роман («*Братья Карамазовы*», работа над которыми заняла почти все оставшиеся до смерти три года), благодарит всех читателей и корреспондентов, писавших ему письма. В постскриптуме писатель горячо рекомендует всем прочесть только что вышедшую книгу «Восточный вопрос прошедшего и настоящего. Защита России. Сэра Т. Синклера, баронета, члена британского парламента. Перевод с английского», которую издал *В. Ф. Пуцыкович* и которая по теме и духу близка «Дневнику» во взгляде на Восточный вопрос.

Дневник писателя. 1880

Ежемесячное издание. Год III. Единственный выпуск на 1880.(XXVI)

А В Г У С Т.

Глава первая.

Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине.

Глава вторая.

Пушкин (Очерк). Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности.

Глава третья.

Придирка к случаю. Четыре лекции на разные темы по поводу одной лекции, прочитанной мне г-ном А. Градовским. С обращением к г-ну Градовскому

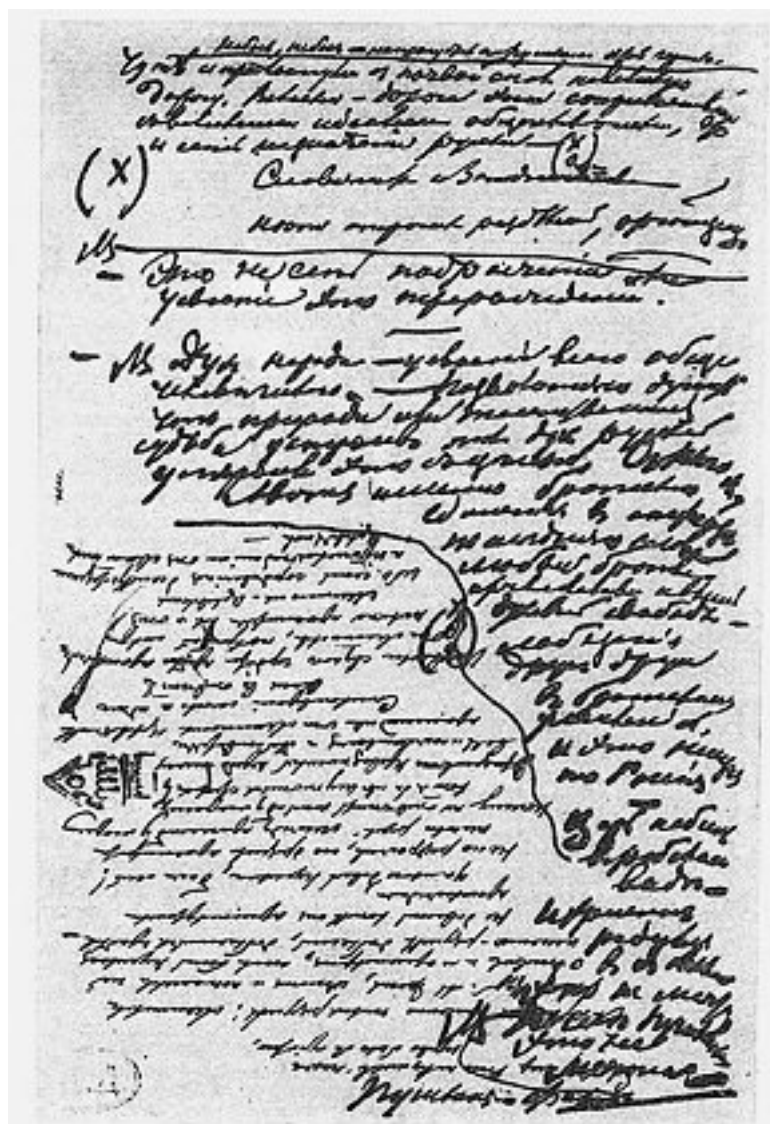
I. Об одном самом основном деле.

II. Алеко и Держиморда. Страдания Алеко по крепостному мужику. Анекдоты.

III. Две половинки.

IV. Одному смиришь, а другому гордишь. Буря в стаканчике.

«Пушкинская речь», произнесённая Достоевским в Москве на открытии памятника А. С. Пушкину, была опубликована сначала в газете «Московские ведомости» (1880, № 162, 13 июня) и вызвала шквал обсуждений, полемики в прессе. Писатель, отложив работу над романом «Братья Карамазовы», подготовил и выпустил по этому поводу единственный выпуск «Дневника писателя» за 1880 г., в котором поместил целиком текст речи, свои комментарии к ней и ответы на главные возражения оппонентов, в первую очередь – профессора и публициста А. Д. Градовского, опубликовавшего свою статью «Мечты и действительность» в «Голосе» (1880, № 174, 25 июня).



«Дневник писателя. 1880». Страница черновика.

Дневник писателя. 1881

Ежемесячное издание. (XXVII)

Последний выпуск *ДП* за 1877 г. Достоевский закончил обещанием возобновить издание его через год. Однако «художническая работа» над романом *«Братья Карамазовы»* оказалась не менее срочной и тяжёлой, чем работа над ежемесячным *«Дневником»*, так что к регулярному выпуску его (не считая единственного «пушкинского» номера за 1880 г.) писатель смог вернуться только с 1881 г. Огромный успех *«Пушкинской речи»*, нового романа, не утихающая полемика вокруг августовского *ДП* за 1880 г. – всё это способствовало небывалому росту популярности Достоевского. Общество с нетерпением ждало его непосредственного прямого слова на страницах возобновлённого *«Дневника»*. Но писатель, увы, успел подготовить только январский выпуск, который вышел уже после его скоропостижной смерти.

Я Н В А Р Ь.

Глава первая.

I. Финансы. Гражданин, оскорблённый в Ферсите. Увенчание снизу и музыканты. Говорильня и говоруны.

II. Возможно ль у нас спрашивать европейских финансов?

III. Забыть текущее ради оздоровления корней. По неумению впадаю в нечто духовное.

IV. Первый корень. Вместо твёрдого финансового тона впадаю в старые слова. Море-океан. Жажда правды и необходимость спокойствия, столь полезного для финансов.

V. Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственно чтоб уму-разуму поучиться.

«Господи, неужели и я, после трёх лет молчания, выступлю, в возобновлённом “Дневнике” моём, с статьёй экономической? Неужели и я экономист, финансист? Никогда таковыми не был. Несмотря даже на теперешнее поветрие, не заразился экономизмом, и вот туда же за всеми выступаю с статьёй экономической...» Так, как бы извиняясь, начинает Достоевский возобновлённый *ДП* и далее обсуждает самую злободневную проблему для текущего состояния России – возрождение после войны. Свою основную мысль писатель формулирует так: «Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней – и получишь финансы...» А самый «первый», самый «главный корень» – простой народ, мужик. «Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду...», – советует автор *ДП* власть предержащим и всему «высшему обществу»...

Глава вторая.

I. Остроумный бюрократ. Его мнение о наших либералах и европейцах.

II. Старая басня Крылова об одной свинье.

III. Геок-Тепе. Что такое для нас Азия?

IV. Вопросы и ответы.

В качестве одной из кардинальных мер оздоровления финансов России в либеральной печати предлагалось сокращение военного бюджета и конкретно – сократить армию на пятьдесят тысяч солдат. Достоевский же считает, что в первую очередь надо подумать о сокращении армии бюрократов. Тем более, что армии русской и в мирное время дел хватает. И на следующих страницах *«Дневника»*, как бы продолжая эту тему, писатель размышляет о будущем

России в Азии. Как раз после долгих неудач экспедиции русских войск в Туркменистане была наконец 12 января 1880 г. взята штурмом крепость Геок-Тепе, а следом, через неделю, и – Асхабад (Ашхабад). По мнению Достоевского, Азия для России значит чрезвычайно много: «...с поворотом в Азию, с новым на неё взглядом нашим, у нас может явиться нечто вроде чего-то такого, что случилось с Европой, когда открыли Америку. Ибо воистину Азия для нас та же не открытая ещё нами тогдашняя Америка. С стремлением в Азию у нас возродится подъём духа и сил. Чуть лишь станем самостоятельнее, – тотчас найдём что нам делать, а с Европой, в два века, мы отвыкли от всякого дела и стали говорунами и лентяями...» И это, по сути, – завещание великого русского писателя.

Дорого стоят детишки...

Стихотворение. 1876—1877. (XVII)

Шуточное четверостишие, сохранившееся в записной тетради, обращено к жене писателя *А. Г. Достоевской*.

<Драма. В Тобольске...>

Неосущ. замысел, 1874. (XVII)

Набросок плана появился в записной тетради под датой 13 сентября 1874 г., в разгар работы над романом *«Подросток»*. Во главу угла замысла положена трагедия мнимого отца-убийцы *Дмитрия Ильинского*, попавшего за преступление брата на каторгу, о которой уже шла речь в *«Записках из Мёртвого дома»*. Судя по замыслу, значительная часть действия должна была разворачиваться в остроге и после возвращения Ильинского домой: он прощает брата, а тот в ответ прилюдно признаётся в убийстве отца... В этом плане-наброске уже содержится главная сюжетная линия будущих *«Братьев Карамазовых»*.

Дядюшкин сон

(Из мордасовских летописей). Повесть. РСл, 1859, № 3. (II)

Основные персонажи:

Антипова Анна Николаевна;

Вася;

Зяблова Настасья Петровна;

Каллист Станиславич;

Князь К.;

Мозгляков Павел Александрович;

Москалев Афанасий Матвеевич;

Москалева Зинаида Афанасьевна;

Москалева Марья Александровна;

Паскудина Наталья Дмитриевна;

Степанида Матвеевна;

Фелисата Михайловна;

Фарпухина Софья Петровна;

Хроникёр.

В захолустном уездном городке Мордасове случилось событие из ряда вон: объявился проездом такой завидный жених, о котором местные невесты и мечтать не смели – князь К., столичная штучка, запросто бывавший в Париже и Вене... Мало дела, что из него уже песок сыплется и с головой не всё от старческого маразма в порядке, но зато толстый кошелёк и княжеский титул чрезвычайно скрашивают эти обстоятельства. Среди женского населения Мордасова вспыхивает-разворачивается нешуточная битва за руку и сердце князя – с интригами, подкупам, обманами. Результат битвы, увы, оказался трагическим: бедный князь не выдержал напряжённой жениховской жизни и скоропостижно умре, так и не успев никого осчастливить...

* * *

Это, по существу, второе дебютное произведение Достоевского – им начиналось новое вхождение в литературу после десяти лет каторги и солдатчины. Перед писателем стояла проблема из проблем – с чем ехать из Сибири в Россию? Для политического ссыльного трудность возвращения состояла лишь в деньгах, вернее, как всегда, – в их отсутствии. Для автора «Бедных людей» главным было не просто вернуться из «Мёртвого дома», из почти что забвения, но и сразу же вернуться в Литературу, найти-восстановить-занять в ней своё, потерянное было, место, заявить-напомнить о себе сразу и всерьёз. Причём, Достоевский, пристрасно читая все присылаемые братом журналы, отлично видел-знал: русская литература за эти минувшие без него почти десять лет на месте не стояла. Безусловно подтвердили своё реноме больших талантов уже известные ему И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин; громко заявили о себе и совершенно не знакомые ему А. Н. Островский и Л. Н. Толстой; небесталанным гляделся, к примеру, и А. Ф. Писемский... Между тем, за годы каторги сам Достоевский как бы потерял профессионализм, утратил писательские навыки и даже, страшно подумать, разучился вовсе писать-творить. Более трёх лет после острога, уже вполне имея возможность «держат перо в руках», он никак не может создать законченное цельное произведение – только наброски, планы, прожекты, намётки, мечты... Конечно, до получения офицерского чина его угнетала-сдерживала мысль, что ему всё равно не дозволено печататься. Однако ж, он уже решался публиковать свои вещи даже инкогнито (письмо к А. Е. Врангелю от

21 декабря 1856 г.), но готовая рукопись всё никак не могла появиться на свет. А ведь в письме к брату *М. М. Достоевскому* от 22 декабря 1856 г. писатель уверенно и убеждённо сообщал: «А в своих силах, если только получу позволение (Печататься. – *Н. Н.*), я уверен. Не сочти, ради Христа, за хвастовство с моей стороны, брат бесценный, но знай, смело, будь уверен, что моё литературное имя – непропадшее имя. Материалу в 7 лет накопилось у меня много, мысли мои прояснели и установились...»

Точно так же, как в начале 1840-х, заново начинающий писатель никак не может остановиться на одной какой-то «капитальной» идее. Если тогда он пробовал писать рассказы, исторические драмы, трагедии, пока не напал на счастливую мысль создать-сочинить реалистический роман в письмах, то и теперь он опять долго и мучительно ищет форму и способ сказать своё, новое, слово в литературе. Для начала он пробует писать воспоминания о каторге, затем берётся за большой «роман комический», о котором пишет-упоминает в письмах к *А. Н. Майкову* (18 янв. 1856 г.) и *М. М. Достоевскому* (9 нояб. 1856 г.), причём последнему сообщает: «...отрывки, совершенно законченные эпизоды, из этого большого романа, я бы желал напечатать *теперь*». Однако ж, через год (3 нояб. 1857 г.) Достоевский признаётся брату: «...весь роман, со всеми материалами, сложен теперь в ящик. Я взял писать повесть, небольшую (впрочем, листов в 6 печатных). Кончив её, напишу роман из петербургского быта, вроде «Бедных людей» (а мысль ещё лучше «Бедных людей»), обе эти вещи были давно мною начаты и частью написаны, трудностей не представляют, работа идет прекрасно, и 15-го декабря я высылаю в «Вестник» мою 1-ю повесть...» Речь в данном случае идёт, вероятнее всего, о повести «Село Степанчиково и его обитатели» и романе «Униженные и оскорблённые». Но к 15-му декабря рукопись повести выслана в «Русский вестник» не была – писатель закончил работу над ней только через полтора года, в июне 1859-го. А за петербургский роман Достоевский вплотную засядет и вовсе через три года...

А тогда, в Сибири, он сделал-совершил и вовсе невероятное: через Михаила Михайловича заключает в декабре 1857 г. договор с редактором-издателем только что созданного журнала «Русское слово» *Г. А. Кушелёвым-Безбородко* на публикацию своего романа и получает вперёд 500 рублей серебром; и тут же, буквально следом (11 января 1858 г.) он в письме к издателю *РВ М. Н. Каткову* предлагает большой роман, первую часть обязуется выслать в продолжение лета, так что «милостивый государь г-н издатель» может с сентябрьского номера роман уже и печатать. Причём Достоевский совершенно откровенно сообщает Каткову о своём соглашении-договоре с Кушелёвым-Безбородко, о 500-х рублях аванса, но так как он, Достоевский, «вошёл в долги», а так же «и для дальнейшего своего обеспечения» ему крайне и срочно необходимо иметь 1000 рублей, то он и просит у издателя московского журнала, в свою очередь, 500 рублей под будущий роман. Повесть «Дядюшкин сон» редакция *РСЛ* получит вместо апреля 1857-го только в январе следующего года, а в *РВ* повесть «Село Степанчиково и его обитатели» – и то частями! – дождутся только через год после обещанного срока, летом 1859-го. Но, надо подчеркнуть, писательское реноме автора «Бедных людей» было ещё столь высоко, что Кушелёв-Безбородко не огорчился опозданием «Дядюшкиного сна», а, напротив, тут же выслал Достоевскому новый аванс в тысячу рублей под ещё один обещанный им роман.

Ещё в *Семипалатинске* Достоевский жаждет узнать о том, какое впечатление производит на публику и производит ли вообще повесть «Дядюшкин сон». Первым откликается в письме поэт *А. Н. Плещеев*, который прочёл её в рукописи: в целом отзыв положителен («Вообще-то повесть весьма хороша...»), но друг юности и не скрывает, что ожидал большего, и что «роман отзывается спешностью». В этом же письме он уведомляет автора, что-де Тургенев страстно желает прочесть «Дядюшкин сон» как можно быстрее, ещё в корректуре. Думается, такое нетерпение со стороны именно Ивана Сергеевича весьма Достоевскому польстило. Но критика замолчит первую послекаторжную повесть Достоевского. Да и сам автор впоследствии не очень её ценил и понимал, что перестраховался, начав возвращение в литературу не

с «*Записок из Мёртвого дома*», а с комических водевилей. Когда в 1873 г. московский студент *М. П. Фёдоров* попросил у писателя разрешения переделать историю «из мордасовских летописей» для сцены, Достоевский ему откровенно написал-объяснил: «...15 лет я не перечитывал мою повесть «Дядюшкин сон». Теперь же, перечитав, нахожу её плохой. Я написал её тогда в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще, и ужасно опасаясь цензуры (как к бывшему ссыльному). А потому невольно написал вещичку и замечательной невинности...»

Примечательно, что в этой «голубиноного незлобия» повести содержатся пародийные пере-
кликки не только со второстепенными водевилями того времени, но и с «Евгением Онегиным» *А. С. Пушкина*, «Ревизором» и «Мёртвыми душами» *Н. В. Гоголя*.

Евгения Гранде

Перевод романа *О. де Бальзака. «Репертуар и Пантеон»*, 1844, № 6—7.

Несколько лет перед вступлением на путь профессионального литератора Достоевский только и занимался тем, что писал и уничтожал написанное. Известно из воспоминаний современников, *А. Е. Ризенкампа*, например, о его таинственных ранних трагедиях *«Борис Годунов»* и *«Мария Стюарт»*, о многочисленных рассказах, которые были-существовали, но которые никто не читал. А вступил будущий автор *«Братьев Карамазовых»* в литературу в 1844 г. переводом популярного романа *«Eugenie Grandet»* (1833) знаменитого тогда уже и в России французского писателя Бальзака. В то время такой путь был обычным: к примеру, за несколько лет до того переводом романа Поль де Кока *«Магдалина»* начал свою литературную карьеру *В. Г. Белинский*. Занимался переводами, но с немецкого и брат Достоевского – *М. М. Достоевский*. Увлечение молодого Достоевского творчеством Бальзака и хорошее знание французского языка определили выбор произведения для перевода. Исследователи отмечают, что Достоевский подошёл к работе творчески, внёс в психологию поведения героев, их язык, вообще в стилистику произведения много своего. И в то же время перевод романа живого классика французской литературы стал для начинающего русского романиста своеобразной школой, в какой-то мере отразился уже в первом произведении – романе *«Бедные люди»*, а образ кроткой и страдающей заглавной героини «подсказал» некоторые черты в образе *Александры Михайловны* из *«Неточки Незвановой»*.

Ёлка и свадьба

(Из записок неизвестного). Рассказ. ОЗ, 1848, № 9. (II)

Основные персонажи:

Господин с бакенбардами;

Девочка с приданным;

Мальчик;

Неизвестный;

Филипп Алексеевич;

Юлиан Мастакович.



Неизвестный повествователь начинает было о свадьбе, которую случайно видел-наблюдал на днях, но обрывает сам себя и рассказывает вначале о детской новогодней ёлке, на которой довелось ему присутствовать лет за пять до того. И там он стал невольным свидетелем

лем отвратительной сцены: пожилой господинчик с брюшком, узнав, что для одной 11-летней девочки-гостии её отцом уже приготовлено триста тысяч приданного, начинает подмасливать к ней и даже ревновать маленького нищего мальчишку, сына гувернантки. А через пять лет Неизвестный, увидев свадьбу у церкви, в женихе узнаёт этого господинчика с брюшком – Юлиана Мастаковича, а в невесте – ту самую Девочку с приданным...

* * *

Рассказ, видимо, должен был войти в цикл рассказов, объединённых образом «неизвестного» повествователя, который Достоевский задумал в 1847—1848 гг., поэтому сохранился общий подзаголовок с рассказом «*Честный вор*». А главный герой, лицемерный негодяй Юлиан Мастакович, до этого уже появлялся в «*Петербургской летописи*» и повести «*Слабое сердце*». Достоевский неизменно включал этот рассказ в прижизненные издания своих сочинений.

Жид Янкель

Неосущ. замысел, 1844. (XXVIII₁)

Один из трёх драматургических опытов (наряду с «*Борисом Годуновым*» и «*Марией Стюарт*») начинающего писателя, которые не сохранились. Впервые упоминается о нём в письме к брату *М. М. Достоевскому* (2-я пол. янв. 1844 г.): «Клянусь Олимпом и моим “Жидом Янкелом” (оконченной драмой)...» Видимо, в центре несохранившейся драмы находился герой, навеянный образом Янкеля из повести *Н. В. Гоголя* «Тарас Бульба» (1835—1841), которого Достоевский вспоминает и в «*Записках из Мёртвого дома*», описывая каторжника *Бумштейна*: «Каждый раз, когда я глядел на него, мне всегда приходил на память Гоголев жидок Янкель, из «Тараса Бульбы», который, раздевшись, чтоб отправиться на ночь с своей жидовкой в какой-то шкаф, тотчас же стал ужасно похож на цыплёнка...»

<Житие великого грешника>

Неосущ. замысел, 1869—1870. (IX)

Это – самый значительный замысел Достоевского. Он напрямую связан с неосуществлённым замыслом «Атеизм», вырос из него. Впервые это название появляется в рабочей тетради писателя под датой 8 /20/ декабря 1869 г., в Дрездене, в период подготовительной работы над романом «Бесы». Писатель задумал начать повествование о Великом грешнике с детства и последовательно показать в цикле связанных между собою нескольких романах историю его духовного развития до самой смерти. Довольно подробно о своём замысле сам Достоевский рассказал в письмах к *Н. Н. Страхову* (24 марта /5 апр. / 1870 г.) и особенно – *А. Н. Майкову* (25 марта /6 апр. / 1870 г.): «Это будет мой последний роман. Объемом в “Войну и мир” <...>. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей (листов 15 в каждой; в 2 года план у меня весь созрел). Повести совершенно отдельны одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно. Первую повесть я и назначаю Кашпиреву: тут действие еще в сороковых годах. (Общее название романа есть: “Житие великого грешника”, но каждая повесть будет носить название отдельно.) Главный вопрос, который проведётся во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие. Герой, в продолжение жизни, то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист: 2-я повесть будет происходить вся в монастыре. На эту 2-ю повесть я возложил все мои надежды. Может быть, скажут наконец, что не всё писал пустяки. (Вам одному исповедуюсь, Аполлон Николаевич: хочу выставить во 2-й повести главной фигурой Тихона Задонского; конечно, под другим именем, но тоже архиерей, будет проживать в монастыре на спокое.) 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитый и развращенный (я этот тип знаю), будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями (круг наш образованный) и для обучения. Волчонок и нигилист-ребенок сходится с Тихоном (Вы ведь знаете характер и всё лицо Тихона). Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев, после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например за границей, на французском языке, брошюру, – очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие: Белинский напри<ер>, Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.) В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубов, и инок Парфений. (В этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства.) Но главное – Тихон и мальчик. Ради бога, не передавайте никому содержания этой 2-й части. Я никогда вперед не рассказываю никому моих тем, стыдно как-то. А Вам исповедуюсь. Для других пусть это гроша не стоит, но для меня сокровище. Не говорите же про Тихона. Я писал о монастыре Страхову, но про Тихона не писал. Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру. Это уж не Костанжогло-с и не немец (забыл фамилию) в «Обломове», и не Лопухины, не Рахметовы. Правда, я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом. Не сообщайте же никому. Но для 2-го романа, для монастыря, я должен быть в России. Ах, кабы удалось!...»

Упоминание в этом письме (как и в письме к Страхову) «Войны и мира» *Л. Н. Толстого* появилось-выскочило не случайно. Достоевский прекрасно понимал, что с появлением эпопеи Толстого русская литература (да и мировая) обрела новые масштабы. Достоевский намеревался вступить как бы в творческое соревнование с автором «Войны и мира» и противополо-

ставить исторической эпопее Толстого с героями-дворянами в центре повествования эпопею развития души современника, представителя «случайного семейства»...

Цикл романов под общим названием «Житие великого грешника» так и не был написан. Судя по черновым записям, писателю упорно не давалась тема-идея «преодоления греховности» заглавным героем, убедительное изображение его духовного переворота, эволюцию от преступления к подвигу. Однако ж, в той или иной степени, фрагменты замысла нашли отражение в поздних романах Достоевского – *«Подростке»* и особенно *«Братьях Карамазовых»*.

Журнальная заметка

О новых литературных органах и о новых теориях. Статья. Вр, 1863, № 1. (XX)

Статья появилась в журнале «Время» без подписи (авторство её засвидетельствовал после смерти Достоевского *Н. Н. Страхов*) и была посвящена состоянию русской журналистики и литературы того периода, когда после короткой волны общественного подъёма начались гонения на «передовые» журналы (были приостановлены «*Современник*» и «*Русское слово*»), однако ж возникали в большом количестве всё новые издания, а некоторые из прежних меняли своих хозяев. В частности, среди новых периодических изданий, объявленных на 1863 г., значились «*Голос*», газета *А. А. Краевского*, и газета «*Весть*», служащая продолжением «*Русского листка*» (издатели-редакторы *В. Д. Скарятин* и *Н. Н. Юматов*), а также сообщалось о слиянии газетного отдела «*Современная летопись*» журнала «*Русский вестник*» с «*Московскими ведомостями*», которые окончательно переходили от Московского университета к *М. Н. Каткову* и *П. А. Леонтьеву* и о соединении редакций «*Акционера*» и «*Дня*». «Журнальная заметка» является как бы продолжением предыдущих статей Достоевского, направленных против реакционной печати и, в первую очередь, журнала Каткова («*Ответ “Русскому вестнику”*», «*По поводу элегической заметки “Русского вестника”*», «*“Свисток” и “Русский вестник”*»). Достоевский образно сравнивает периодические журналы определённого направления с кудахтающим «стадом куриц», которые вторят, как «петуху», своему предводителю – издателю «*Русского вестника*». А Катков, по мнению Достоевского, совсем не знает народ, не понимает современное ему русское общество, слепо преклоняется перед английским государственным устройством, несведущ в вопросах образования и пр. Язвительен тон в «Журнальной заметке» и в адрес затеваемой Краевским (которого Достоевский знал более чем хорошо) газеты «*Голос*», которая, судя по программе, конечно же, не должна была выходить за границы «умеренности и аккуратности». Более уважителен тон по отношению к славянофильской газете «*День*», с которой Достоевский полемизировал и раньше («*Последние литературные явления. Газета “День”*», «*Два лагеря теоретиков*»): «Время» роднило со славянофилами тезис о сближении общества с «*почвой*», но Достоевский не принимал в аксаковской газете идеализацию допетровской Руси и скептическое отношение к прогрессу. В «Журнальной заметке» язвительно высмеивается «*Русский листок*» и его редактор Скарятин за намёки на связь петербургских пожаров с «подмётной литературой», то есть с прокламацией «*Молодая Россия*».

Журнальные заметки

I. Ответ “Свистуну”. II. Молодое перо. Статья. Вр, 1863, № 2. (XX)

С января по апрель 1863 г. в Петербурге выходила газета «Очерки», фактическим редактором которой был сотрудник «Современника» Г. З. Елисеев. В 40-м номере этой газеты появилось письмо, направленное против журнала «Время», за подписью «Свистун», автором которого был или М. Е. Салтыков-Щедрин, или М. А. Антонович, или оба вместе. В 1-м номере С за 1863 г., который вышел практически одновременно с данным номером «Очерков», тоже содержался ряд резких выпадов против журнала братьев Достоевских, опять же, Щедрина, Антоновича и Елисеева. Достоевский, конечно, не мог не ответить. Его две заметки под общим заголовком появились в февральском номере без подписи, их принадлежность Достоевскому указана Н. Н. Страховым. Конкретным поводом для ответа «Свистуну» послужило то, что тот обвинил журнал «Время» в «явной недобросовестности и непоследовательности» в оценке деятельности и творчества покойного Н. А. Добролюбова, а во второй части, «Молодое перо», Достоевский отвечал анонимному автору (но давая понять, что узнал в нём Щедрина) рецензии на письмо-заметку А. Скавронского (Г. П. Данилевского) «Литературная подпись» (Вр, 1862, № 12). Демарш в отношении Салтыкова-Щедрина был особенно резок: Достоевский обвинил сатирика, по существу, в том, в чём тот упрекал других – в безыдейности его юмора, беспринципности, отходе от демократических идей.

Заметка «Молодое перо» окончательно определила памфлетный характер полемики Достоевского с Салтыковым-Щедриным, которая становилась всё ожесточённее в дальнейшем и предопределила тональность последующих «антищедринских» статей Достоевского – «Опять “Молодое перо”», «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», «Необходимое заявление», «Чтобы кончить». А в целом «Журнальные заметки» стали новым этапом в жаркой полемике «Времени» и позднее «Эпохи» с «Современником», которая не прекращалась вплоть до закрытия второго журнала братьев Достоевских.

Зависть

Неосущ. замысел, 1870. (XI)

План этот появился в записной тетради Достоевского в начале 1870 г. и стал, по существу, первым вариантом рабочего плана романа «*Бесы*»: в намеченных действующих лицах уже можно угадать будущих героев «Бесов»: Князь А. Б. – *Ставрогин*, Учитель – *Шатов*, мать А. Б. – *Варвара Петровна Ставрогина*, Воспитанница – *Дарья Шатова*, Красавица – *Лиза Тушина*, Картузов – *Лебядкин*. На данном этапе предполагался чисто психологический роман с «романтическим» сюжетом. Несколько раз в этом плане подчёркивается, что главное в романе – характер «Князя», то есть будущего Ставрогина.

<Заметка о Слепцове>

Неосущ. замысел, 1864. (XXVIII₂)

Первые месяцы 1864 г. Достоевский вынужденно жил в Москве из-за смертельной болезни жены *М. Д. Достоевской*. Журнал «*Эпоха*» к тому времени терпел уже окончательный крах. Писатель в очередном письме к брату *М. М. Достоевскому* (от 5 марта), сообщал, что из-за тяжёлого недомогания писать «физически» не в состоянии, но обещал: «...может быть, я изобрету как-нибудь способ, если легче будет, писать в постеле. Для этого послезавтра, *может быть*, напишу коротенькую заметку о Слепцове. Напишу умеренно, хвалить очень не буду...» К тому времени В. А. Слепцов (1836—1878) уже опубликовал свои первые рассказы и очерки и становился известен. Задуманная заметка-рецензия Достоевского в «*Эпохе*» так и не появилась.

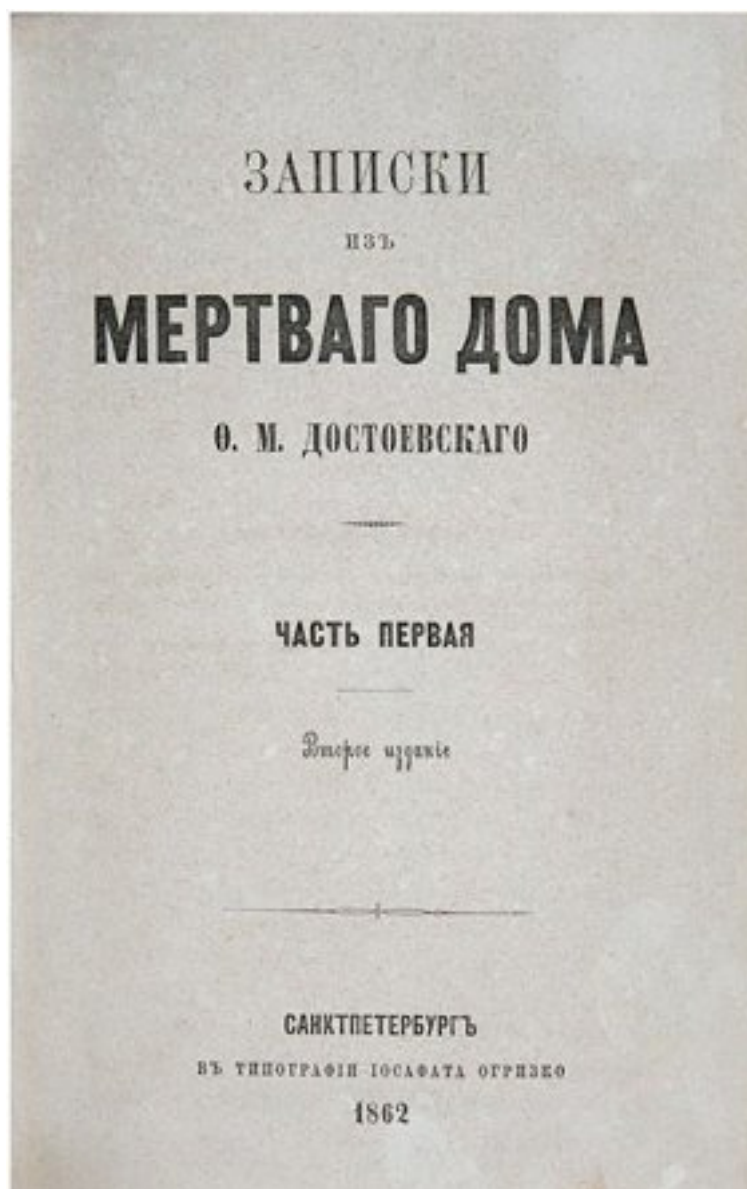
Записки из Мёртвого дома

I—IV гл.: *PM*, 1860, № 67, 1 сент.; 1861, № 1, 4 янв.; № 3, 11 янв.; № 7, 25 янв. Полностью: *Вр*, 1861, № 4, 9—11; 1862, № 1—3, 5, 12. (IV)

Основные персонажи:

А-в;
Аким Акимыч;
Акулина Анкудимовна;
Алей;
Алмазов;
Б—кий (Б—ский; Б.);
Б—м;
Баклушин Александр;
Белка;
Бумштейн Исай Фомич;
Варламов;
Васька (козёл);
Г—ков (Г—в);
Гаврилка;
Газин;
Гнедко;
Горянчиков Александр Петрович;
Двуугошова;
Ёлкин;
Ж—кий;
Жеребятников;
Коллер;
Коренев (Каменев);
Куликов;
Культяпка;
Ломов;
Лука Кузьмич (Лучка);
М—цкий;
Морозов Филька;
Настасья Ивановна;
Неустроев;
Нецветаев;
Нурра;
Орёл;
Орлов;
Осип;
Острожский;
Отцеубийца;
Петров;
Плац-майор (Восмиглазый);
Поцейкин;
Сироткин;

Скуратов;
Смекалов;
Старовер;
Сушилов;
Т—ский (Т—вский);
Товарищ из дворян;
Устьянцев;
Чекунда;
Шарик;
Шишков.



В «Введении» поясняется, что автор-«публикатор» «Записок» (Достоевский) встретился и познакомился в одном из маленьких сибирских городков К. (возможно, *Кузнецке*) с поселенцем Александром Петровичем Горянчиковым – бывшим дворянином и помещиком, который за убийство своей жены отбыл десять лет каторги. Вскоре Горянчиков скоропостижно умер, после него осталось «целое лукошко» бумаг, среди которых и обнаружилась тетрадь с воспоминаниями о каторге, которые сам Горянчиков назвал «Сцены из Мёртвого дома». Со страниц тетради открывался «совершенно новый мир, до сих пор неведомый»... В опубликованном виде «Записки» состоят из 2-х частей: в 1-й – 11 глав, во 2-й – 10. Начинаются воспоминания с

главы «Мёртвый дом», где дан самый общий «портрет» каторжного мира, затем в следующих трёх главах с общим названием «Первые впечатления» автор начинает уже подробный рассказ о своей жизни в Омском остроге и невольных соседях по нарам. И далее в главах с характерными заглавиями «Первый месяц», «Решительные люди. Лучка», «Госпиталь», «Каторжные животные» и др. вплоть до заключительной – «Выход из каторги» читатель узнавал всё новые и новые подробности, перед ним складывалась полная объёмная, живописная картина острожного мира, где есть свои радости, есть свои герои, есть свои порядки, правила и законы. Главу IV второй части «Записок» занимает вставной рассказ «Акулькин муж» – рассказ-исповедь каторжника Шишкова о своём преступлении: убийстве любимой жены из ревности...

* * *

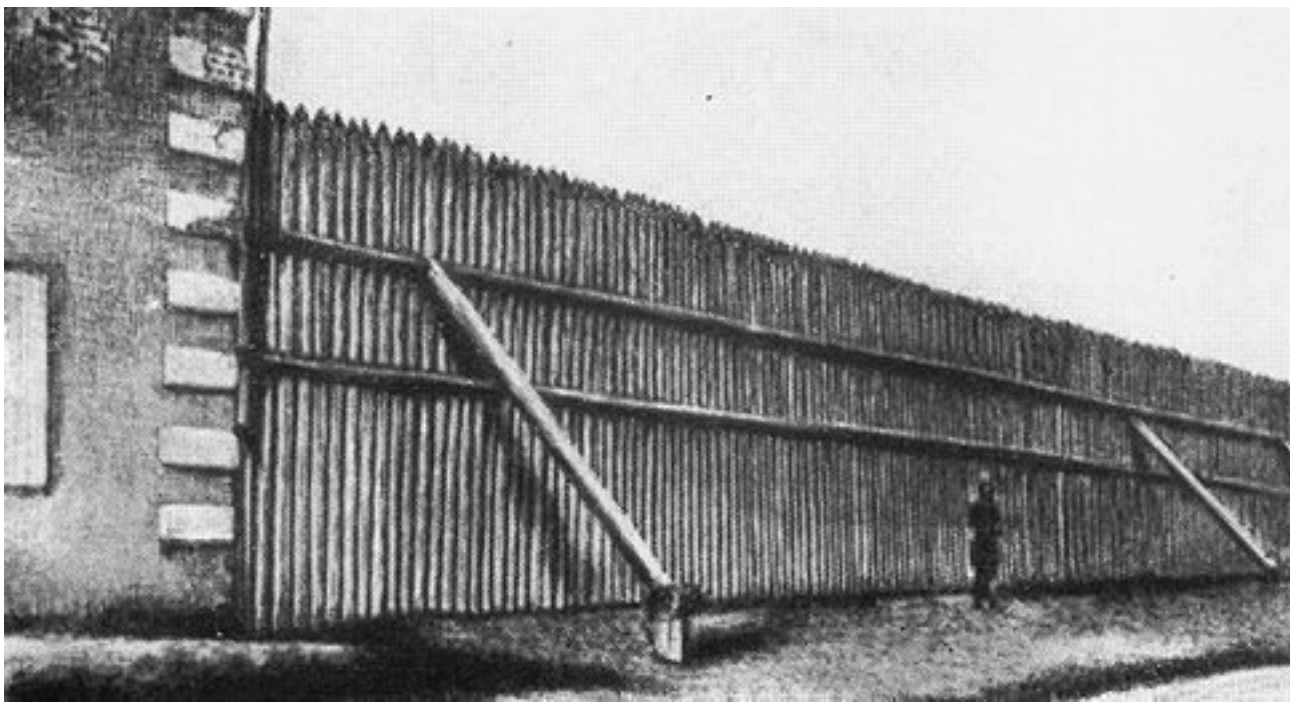
«Записки из Мёртвого дома» занимают в творчестве Достоевского особое место, резко отличаются от всех других произведений тональностью, стилистикой, формой. Это – синтез мемуаров, физиологического очерка и художественной прозы. Основу их составили личные впечатления автора, отбывшего по приговору суда над *петрашевцами* четыре года каторги в Омском остроге. Замысел книги возник ещё в Сибири, но реальная работа над ней началась только в 1860 г., после возвращения в Петербург. Первые четыре главы появились в газете «Русский мир», которую издавал, между прочим, Ф. Т. Стелловский, сыгравший в дальнейшей судьбе писателя значительную роль. С первого же номера основанного братьями Достоевскими журнала «Время» публикация «Мёртвого дома» была перенесена на его страницы и началась опять с «Введения» и первых глав. Ещё только приступая к работе над «каторжными мемуарами» автор провидчески предсказал их успех у читающей публики и мотивировал его: «Эти “Записки из Мёртвого дома” приняли теперь, в голове моей, план полный и определённый. Это будет книжка листов в 6 или 7 печатных. Личность моя исчезнет. Это записки неизвестного; но за интерес я ручаюсь. Интерес будет наикапитальнейший. Там будет и серьёзное, и мрачное, и юмористическое, и народный разговор с особенным каторжным оттенком (я тебе читал некоторые, из записанных мною на месте, выражений), и изображение личностей, никогда не слыханных в литературе, и трогательное, и, наконец, главное, – моё имя. <...> Я уверен, что публика прочтёт это с жадностью...» (М. М. Достоевскому из Твери, 9 окт. 1859 г.)

Достоевский опасался цензуры, но претензии её даже для него стали неожиданностью: изображение каторжного быта показалось ей недостаточно устрашающим и мрачным, дескать, из «Записок» можно получить превратное представление о лёгкости каторжного наказания. Автору пришлось срочно дописывать фрагмент, где он подробно объяснил тяжесть несвободы, неволи, жизни за решёткой и в кандалах, однако ж это дополнение так и не было включено в текст при первой публикации, так как запрет цензуры был всё же снят. Возникли некоторые трудности и с публикацией главы «Товарищи» (о политических преступниках), но и она была опубликована не в майском, а позже, вместе с заключительными главами «Записок», в декабрьском номере *Вр* за 1862 г.

В «Записках из Мёртвого дома» впервые появляются темы, которые займут в дальнейшем творчестве Достоевского важное место: преступление, психология преступника, «преступление и наказание», добровольное страдание, психология жертвы и психология палача, свобода мнимая и настоящая, разьединение высшего общества с народом... И ещё важно подчеркнуть, что ни в одном произведении Достоевского, включая самые «густонаселённые», нет столько персонажей и большая их часть – из народа. Отсюда в языке произведения много фольклорного материала, специфической лексики, источником которой служила «Сибирская тетрадь», составленная писателем на каторге. Примечательно, что автор, подтверждая ожидаемый успех «Записок» после публикации (из письма А. Е. Врангелю от 31 марта 1865 г.: «Мой “Мёртвый дом” сделал буквально фурор, и я возобновил им свою литературную репу-

тацию...»), всё же огорчился, что произведение его не оценено должным образом именно с этой стороны. Уже в зените славы, в записной тетради 1876 г. он сетовал, что критика, посвящённая «народным романам», о «Записках из Мёртвого дома», «где множество народных сцен», – ни слова...» Но в целом современники и критика достойно оценили это произведение Достоевского. Наиболее значительная статья – «Погибшие и погибающие» – принадлежит перу *Д. И. Писарева*, которая появилась в 1866 г. в сборнике «Луч» и в которой критик разобрал-сопоставил «Записки из Мёртвого дома» с «Очерками бурсы» (1863) *Н. Г. Помяловского*. Очень ёмко и образно охарактеризовал «каторжные записки» Достоевского *А. И. Герцен*, написавший, что эпоха общественного подъёма 1860-х гг. «оставила нам одну страшную книгу <...>, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад: это “Мёртвый дом” Достоевского, страшное повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буонаротти...» [*Герцен*, т. 18, с. 219]

Отдельным изданием при жизни автора «Записки из Мёртвого дома» выходили в 1862, 1865 и 1875 гг.



Ограда Омского острога.

Записки из подполья

Повесть. Э, 1864, № 1—2, 4. (V)

Основные персонажи:

Аполлон;

Зверков;

Лиза;

Офицер;

Подпольный человек;

Сеточкин Антон Антонович;

Симонов;

Трудолюбов;

Ферфичкин.

«Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек...», – так начинаются эти эпатажные записки. Подпольный человек, автор-герой этой исповеди, был когда-то чиновником, но уже давно бросил службу, забился в свою конуру, в своё подполье и, переварив и обмыслив все свои обиды на окружающий мир, создал вот эти «Записки», которые отнюдь им не предназначались для печати. Состоят они из двух частей: «Подполье» и «По поводу мокрого снега». Достоевским к первой части дана разъяснительная сноска, где сказано: «И автор записок и самые “Записки”, разумеется, вымышлены. <...> В этом отрывке, озаглавленном “Подполье”, это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие “записки” этого лица о некоторых событиях его жизни». Итак, в первой части – философия подполья, во второй – реалии подпольной жизни. Главный тезис подпольной философии выражен, может быть, определённое всего в следующем пассаже героя: «Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить...» И это сказано-сформулировано Подпольным человеком уже во второй – «практической» – части, где он описывает, как, выбравшись из своего подполья в мир, он претерпел массу унижений от бывших сотоварищей по школе, после чего пригласил домой проститутку с улицы, приглубил, вызвал на доверчивую откровенность и тут же оскорбил её, унизил, выгнал, выместив все накопившиеся обиды на этом несчастном существе... Второй части «Записок» предпослан эпиграф из стихотворения *Н. А. Некрасова* «Когда из мрака заблужденья...»

* * *

В «Записках из подполья» с наибольшей силой проявился новаторский приём Достоевского: он полностью передал слово герою-повествователю и, не будучи во многом его единомышленником, наделил его рассуждения такой силой доказательности, что иные читатели, исследователи отождествляли Подпольного человека с автором. Даже *А. П. Сулова* – любимая женщина, близко знавшая Достоевского, после прочтения первой части повести называла её в письме к автору «скандальной», «цинической» вещью и советовала больше подобных не писать.

Эпатажность, «скандальность» повести связана, в первую очередь, с её полемической направленностью против идеологии революционных демократов, прежде всего – против теории «разумного эгоизма» *Н. Г. Чернышевского*, его романа «Что делать?» (1863). Свою точку зрения Достоевский сформулировал ещё в «Зимних заметках о летних впечатлениях»:

«Конечно, есть великая приманка жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании, то есть хорошо, когда тебя все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. Но тут опять выходит загадка: кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому – полная воля...» В первой части «Записок из подполья» эта мысль развивается и доказывается. Рассуждения Подпольного человека близки в отдельных случаях философским идеям Канта, Шопенгауэра, Штирнера и, в свою очередь, оказали большое влияние на философскую концепцию крайнего индивидуализма Ницше и экзистенциалистов. Из письма автора к *М. М. Достоевскому* (от 26 марта 1864 г.) известно, что цензура исказила текст: «Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал *для виду*, – то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры в Христа, – то запрещено...» Что имел в виду Достоевский, можно понять по записям-наброскам к так и ненаписанной статье «Социализм и христианство» в рабочей тетради 1864—1865 гг., сделанных вскоре после опубликования «Записок из подполья»: «...социалист не может себе и представить, как можно добровольно отдавать себя за всех, по его, это безнравственно. А вот за известное вознаграждение – вот это можно, вот это нравственно. А вся-то штука, вся-то бесконечность христианства над социализмом в том и заключается, что христианин (идеал), всё отдавая, ничего себе сам не требует...» Главное, что не принимал Достоевский в идеологии «социалистов-западников» – то, что они материальное благополучие человека ставили во главу угла. Недаром сразу после опубликования первой части «Записок» *М. Е. Салтыков-Щедрин* откликнулся на неё памфлетом-пародией «Стрижи». Наиболее полный разбор повести был дан уже после смерти писателя *Н. К. Михайловским* в статье «Жестокий талант» (1882).

«Записки из подполья» – переломное произведение в творчестве писателя. Это – подступ к самым значительным его романам, многие философские концепции, разрабатываемые в «великом пятикнижии», корнями уходят в эту повесть. Читая ее, необходимо помнить кредо Достоевского как писателя: «Точно как будто скрывая порок и мрачную сторону жизни, скроешь от читателя, что есть на свете порок и мрачная сторона жизни. Нет, автор не скроет этой мрачной стороны, систематически опуская ее перед читателем, а только заподозрит себя перед ним в неискренности, в неправдивости. Да и можно ли писать одними светлыми красками?... О свете мы имеем понятие только потому, что есть тень...» (Из «Объяснений и показаний *Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев*»). По Достоевскому, *подпольность* была присуща большинству «думающих» людей, и это отразилось не только в герое данной повести, но и многих других.

Заседание общества

любителей духовного просвещения 28 марта. Корреспонденция. *Гр*, 1873, № 14, 2 апр., с подписью: Ф. Д. (XXI)

В 1872 г. в Петербурге открылся Отдел Общества любителей духовного просвещения с правом обсуждения на своих заседаниях церковных вопросов. Достоевский посещал эти собрания. В начале 1873 г. на трёх заседаниях обсуждался вопрос «о нуждах единоверия», о расколе, на которых разгорелась дискуссия между профессором Петербургской духовной академии И. Ф. Нильским и публицистом, членом редакции «*Гражданина*» Т. И. Филипповым. Отчёты об этих заседаниях печатались в *Гр*, о третьем, на котором очередь отвечать оппоненту была за Филипповым, написал Достоевский и безусловно поддержал точку зрения своего товарища по журналу: «Г-н Филиппов полагает, как читателям “Гражданина” уже известно, что соборным определением 13 мая 1667 г. употребление двоеперстия и некоторых других особенностей дониконовского обряда было воспрещено на будущее время безусловно, что тот, кто после этого определения решился бы удерживать эти особенности, явился бы, в силу одного этого, противником собора и что такое воспрещение дониконовского обряда продолжалось до 1763 г., то есть до царствования Екатерины II, при которой круто изменился взгляд правительства на старообрядцев. Г-н Нильский же думает, что клятвенное запрещение собора 1667 г. относится не к употреблению дониконовского обряда, а только к таким лицам, которые из-за этого обряда оставляли сами церковь, хулили её тайны и их совершителей, – и что если бы человек от церкви не удалялся и просил бы только о том, чтобы ему дозволено было содержать дониконовский обряд, то церковная власть против этого собственно вооружаться не стала бы и к исполнению такого желания не встретила бы с своей стороны препятствий. <...> мы, по ближайшим ознакомлениям с источниками, не колеблясь скажем, что в этом собственно вопросе г-ну Нильскому устоять против доводов его противника нет, по нашему убеждению, ни малейшей возможности. Не говоря уже про многочисленные свидетельства исторических документов, с совершенною ясностию подтверждающих взгляд г-на Филиппова на эту сторону дела, мы не можем пройти молчанием того, что в собственных статьях г-на Нильского, напечатанных в “Христианском чтении” за 1870 г., г-ном Филипповым отысканы и сообщены слушателям такие мнения, которые, если бы только скрыть имя автора, были бы непременно приписаны г-ну Филиппову или же его безусловному единомышленнику, но уж никак не г-ну Нильскому...»

Зимние заметки о летних впечатлениях

Вр, 1863, № 2, 3. (V)

Летом 1862 г. Достоевскому удалось осуществить давнюю свою мечту («рвался я туда чуть не с первого моего детства...») – увидеть своими глазами границу. Выехав из Петербурга 7 июня, он вернулся 24 августа, объехав за 2,5 месяца чуть не пол-Европы, побывав в Берлине, Дрездене, Висбадене, Кёльне, Париже, Лондоне, Дюссельдорфе, Майнце, Женеве, Люцерне, Турине, Флоренции, Генуе, Милане, Венеции, Вене, да в некоторых из них ещё и по два раза. Мысль написать о своих дорожных впечатлениях подал писателю брат и редактор по журналу *М. М. Достоевский*. Однако ж во время самого путешествия времени у Достоевского не нашлось, и, создавая их уже в Петербурге и несколько месяцев спустя, автор названием подчеркнул эту характерную особенность. По жанру это получился синтез путевых заметок и художественного, «физиологического», очерка. Состоят «Зимние заметки» из восьми глав. Достоевский, несомненно, опирался на опыт предшественников, в первую очередь русских, создавших классические образцы путевых очерков (*Н. М. Карамзин* «Письма русского путешественника», *Д. И. Фонвизин* «Письма из-за границы», *А. И. Герцен* «Письма из Франции и Италии» и др.), но в русле своей журнальной политики наполнил «Заметки» злободневным содержанием, полемикой, публицистикой. Значительная часть его повествования, по словам самого Достоевского, посвящена выяснению того, «каким образом на нас в разное время отражалась Европа и постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались...» В «Зимних заметках» проблемы взаимоотношения России и Запада прослеживаются с XVIII в., и здесь писатель во многом обобщал то, о чём писал уже в своих статьях начала 1860-х гг., в частности, в «*Ряде статей о русской литературе*». «Зимние заметки» насыщены резкой критикой в адрес европейской цивилизации и русских *западников*, и, в свою очередь, многие социально-критические идеи, рассматриваемые в этом произведении, получили в дальнейшем развитие на страницах поздних романов писателя. «Зимние заметки», в отличие от других публицистических произведений, опубликованных во «Времени», были включены автором в собрание своих сочинений 1865—1866 гг.

В личном плане эта первая поездка за границу имела чрезвычайно важное значение для Достоевского – 12 /24/ июня 1862 г. в Висбадене он впервые в жизни вошёл в игорный зал и на долгие десять лет заразился болезненной страстью к рулетке. Первые потрясающие ощущения от игры и психологию играющего человека он воссоздал впоследствии в романе «*Игрок*».

Знакомство моё с Белинским

Несохр. статья, 1867.

В период жизни за границей Достоевский в 1867 г., в Женеве, написал очерк под таким заглавием для литературного сборника «Чаша», затеваемый в Петербурге *К. И. Бабиковым*. Отправленный в сентябре 1867 г. *А. Н. Майкову* и переданный им книгоиздателю *А. Ф. Базунову*, очерк этот затерялся вместе с другими материалами несостоявшегося сборника. Содержание очерка «Знакомство моё с Белинским» позволяют представить в какой-то мере письма Достоевского 1867—1868 гг., сентябрьские записи в записной тетради 1872 г., статьи «Старые люди» (ДП 1873) и «...Старые воспоминания» (ДП, 1876, янв.), где речь идёт о *В. Г. Белинском*.

Зубоскал

Комический альманах в двух частях (в 8-ю д<олю> л<иста>), разделённых на 12 выпусков, от 3-х до 5-ти листов в каждом, и украшенных полиטיפажами. Объявление. ОЗ, 1845, № 11, с подписью: Зубоскал. (XVIII)

Среди многочисленных литературных проектов молодого *Н. А. Некрасова* был и юмористический альманах «Зубоскал», первый номер которого должен был появиться в ноябре 1845 г. Данное объявление о выходе нового издания появилось в «*Отечественных записках*» с подписью «Зубоскал». Достоевский в письме брату *М. М. Достоевскому* (16 нояб. 1845 г.) сообщал: «Некрасов между тем затеял “Зубоскала” – прелестный юмористический альманах, к которому объявление написал я. Объявление наделало шуму; ибо это первое явление такой легкости и такого юмору в подобного рода вещах...». В более раннем письме к брату (8 окт. 1845 г.) Достоевский дал краткую, но ёмкую характеристику затеваемого издания, которую затем подробно развернул-расшифровал в тексте объявления: «Некрасов аферист от природы, иначе он не мог бы и существовать, он так с тем и родился – и посему в день же приезда своего, у меня вечером, подал проект летучему маленькому альманаху, который будет соиздаться посильно всем литературным народом, но главными его редакторами будем я, Григоров<ич> и Некрасов. <...> Название его «Зубоскал»; дело в том, чтобы остричь и смеяться над всем, не щадить никого, цепляться за театр, за журналы, за общество, за литературу, за происшествия на улицах, за выставку, за газетные известия, за иностранные известия, словом, за всё, всё это в одном духе и в одном направлении...» Для первого номера альманаха Достоевский собирался писать «*Записки лакея о своём барине*» (замысел остался неосуществлённым), написал «*Роман в девяти письмах*» и в соавторстве с *Н. А. Некрасовым* и *Д. В. Григоровичем* «фарс» «*Как опасно предаваться честолюбивым снам*». «Зубоскал» был запрещён цензурой и большинство материалов, предназначенных для него, были напечатаны позже в альманахе «*Первое апреля*».

Игрок

Роман. (*Из записок молодого человека*). Полн. собр. соч. в издании Ф. Т. Стелловского, 1866. Т. 3. (V)

Основные персонажи:

Blanche (mademoiselle Blanche; Блани; m-lle Зельма);

Алексей Иванович;

Астлей (мистер Астлей);

Вурмергельм, барон;

Вурмергельм, баронесса;

Генерал;

Де-Грие;

Марья Филипповна;

Марфа;

Нильский (князь Нильский);

Полина Александровна;

Потапыч;

Тарасевичева Антонида Васильевна (бабушка).

В центре романа – семья русского генерала, волею случая обитающего в небольшом европейском городке Рулетенбурге (роман в рукописи так и назывался – «*Рулетенбург*»). Страсть к деньгам и любовные страсти-интриги правят бал в этом «случайном семействе». Сам генерал без памяти влюблён в mademoiselle Blanche, мадемуазель же не расstaётся с Де-Грие, «французика», в свою очередь, связывали с падчерицей генерала Полиной определённые отношения, в которые, к тому же, впутались какие-то деньги, к Полине совсем равнодушен, казалось бы, хладнокровный англичанин мистер Астлей, но, главное, ни жить спокойно, ни спать из-за неё не может заглавный герой и автор «записок» Алексей Иванович – «молодой человек» с блестящим образованием и недюжинными задатками, вынужденный довольствоваться ролью домашнего учителя в генеральском доме. Интрига осложняется тем, что всё и вся в этом доме зависит от того, как скоро умрёт бабушка Антонида Васильевна Тарасевичева и оставит всем наследство, а «бабуленька» вдруг приезжает в Рулетенбург самолично и начинает проигрывать своё миллионное состояние на рулетке. В центре романа – судьба Алексея Ивановича, который по приказу Полины и для неё начинает играть, поначалу выигрывает и становится в конце концов неизлечимым Игроком, то есть, по определению мистера Астлея, «пропащим человеком»: в финале становится известно, что он скитается по «игорным» городам Европы, опускается до службы лакеем, попадает то и дело в долговую тюрьму...

* * *

Летом 1865 г. под влиянием тяжких долговых обязательств после смерти брата М. М. Достоевского и окончательного крушения журнала «*Эпоха*» Достоевский подписал с издателем Ф. Т. Стелловским кабальный договор на издание собрания своих сочинений, по которому обязался к 1-му ноября 1866 г. написать ещё один новый роман не менее 12 печатных листов и если не исполнит этот пункт договора, то издатель получал право издавать все его произведения – и прежние, и новые – в течение девяти лет «даром и как вздумается». Естественно, что писатель, как раз в этот период занятый работой над «*Преступлением и наказанием*», спохватился, когда до истечения срока договора осталось меньше месяца. С помощью юной стенографистки А. Г. Сниткиной (которая впоследствии стала его второй женой) Досто-

евский совершил творческий подвиг: за 26 дней написал роман объёмом в «*Бедных людей*» (над которыми в своё время работал почти год). Конечно, в успехе дела большую роль сыграло то, что замысел подобного произведения созрел у Достоевского уже давно, во время второго путешествия писателя за границу осенью 1863 г., и он подробно изложен в письме к *Н. Н. Страхову* из Рима (18 /30/ сент.): «Сюжет рассказа следующий: один тип заграничного русского. Заметьте: о заграничных русских был большой вопрос летом в журналах. Всё это отразится в моем рассказе. Да и вообще отразится вся современная минута (по возможности, разумеется) нашей внутренней жизни. Я беру натуру непосредственную, человека, однако же, многоразвитого, но во всем недоконченного, изверившегося и не смеющего не верить, восстающего на авторитеты и боящегося их. Он успокоивает себя тем, что ему нечего делать в России, и потому жестокая критика на людей, зовущих из России наших заграничных русских. <...> Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, смелость пошли на рулетку. Он – игрок, и не простой игрок, так же как скупой рыцарь Пушкина не простой скупец. Это вовсе не сравнение меня с Пушкиным. Говорю лишь для ясности. Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует её низость, хотя потребность риска и облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ – рассказ о том, как он третий год играет по игорным городам на рулетке.

Если «Мёртвый дом» обратил на себя внимание публики как изображение каторжных, которых никто не изображал наглядно до «Мёртвого дома», то этот рассказ обратит непременно на себя внимание как НАГЛЯДНОЕ и подробнейшее изображение рулеточной игры...»

«Игрок» – роман во многом автобиографический: перипетии любви-ненависти Алексея Ивановича и Полины очень напоминают сложные взаимоотношения самого Достоевского и *А. П. Суловой*, а всепоглощающей страстью к *рулетке*, которой страдает Игрок, сам писатель болел долгих десять лет.

Идея <Чиновник, скучно...>

Неосущ. замысел, 1872. (XII)

Данный набросок плана (всего шесть строк) расположен в записной тетради среди материалов к «Бесам». Намеченная сюжетная ситуация («пощёчина», «убийство», «поджог», «уединённый остров») перекликается с мотивами, фигурировавшими в черновых материалах к «Преступлению и наказанию», в «Идиоте», «Бесах». Особенно важна в «Идее» строка, приписанная на полях: «Пустота души нынешнего самоубийцы», – предопределившая одну из главных тем будущего «Дневника писателя».

Идея. Юродивый (присяжный поверенный)

Неосущ. замысел, 1868. (IX)

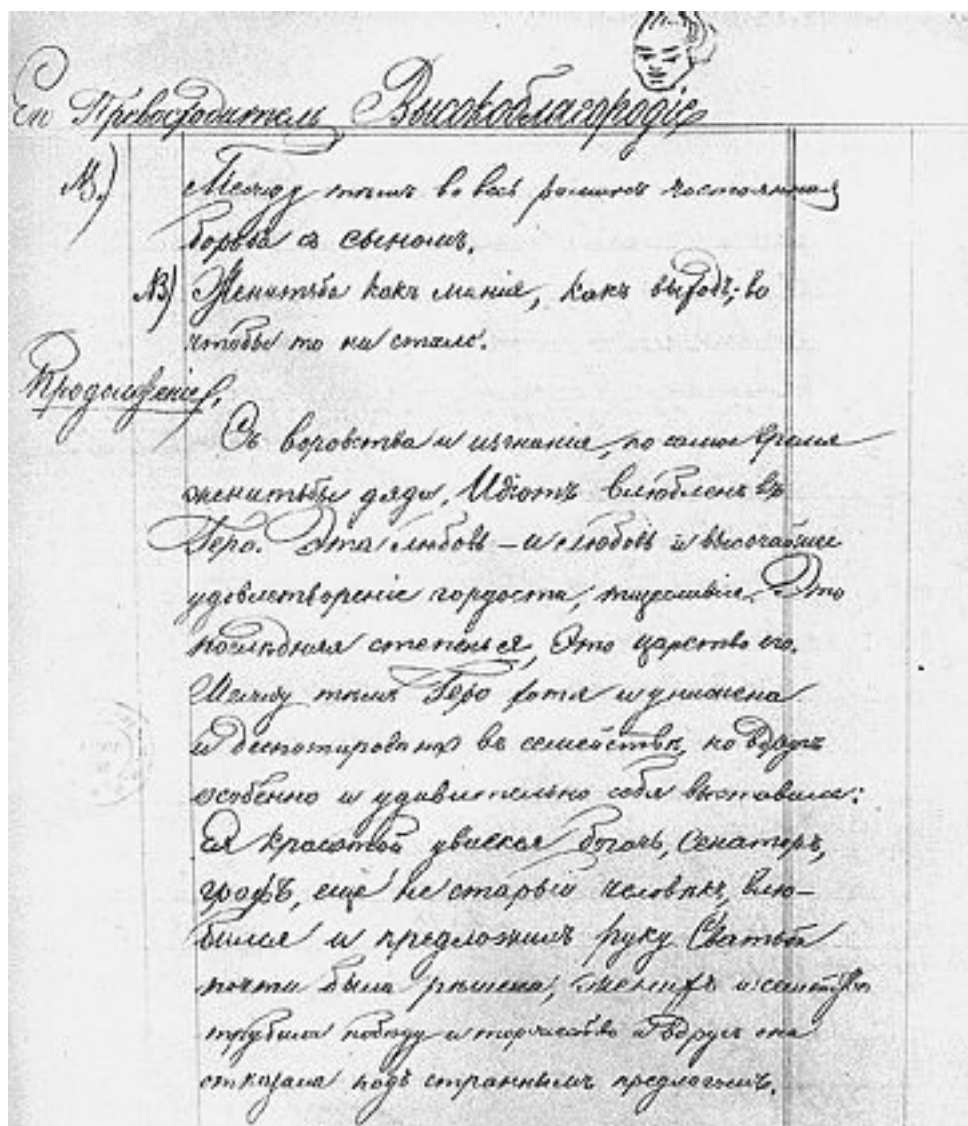
Запись сделана среди черновых материалов в к *«Идиоту»* и по замыслу тесно связана с этим романом, а образ центрального героя Юродивого весьма близок образу Идиота. Сюжетные коллизии намечаемого романа (конфликт из-за одежды) в чём-то близки коллизиям *«Шинели»* *Н. В. Гоголя*. Мотивы дуэли без выстрела и рыцарского отношения героя к жене-изменнице были позже разработаны писателем в романе *«Бесы»*.

Идиот

Роман в четырёх частях. РВ, 1868, № 1, 2, 4—12 и приложение к № 12. (VIII, IX)

Основные персонажи:

Алексей;
Барашикова Настасья Филипповна;
Бахмутов;
Белоконская (княгиня Белоконская);
Бурдовский Антип;
Дарья Алексеевна;
Докторенко Владимир;
Епанчин Иван Фёдорович;
Епанчина Аглая Ивановна;
Епанчина Аделаида Ивановна;
Епанчина Александра Ивановна;
Епанчина Елизавета (Лизавета) Прокофьевна;
Залёжнев;
Иван Петрович;
Иволгин Ардалион Александрович;
Иволгин Гаврила Ардалионович (Ганя);
Иволгин Николай Ардалионович (Коля);
Иволгина (Птицына) Варвара Ардалионовна;
Иволгина Нина Александровна;
Келлер;
Князь Щ.;
Лебедев Лукьян Тимофеевич;
Лебедева Вера Лукьяновна;
Мари;
Медик;
Мышкин Лев Николаевич (князь Мышкин);
Павлищев Николай Андреевич;
Птицын Иван Петрович;
Радомский Евгений Павлович;
Рогожин Парфён Семёнович;
Рогожин Семён Парфёнович;
Рогожин Семён Семёнович;
Суриков Иван Фомич;
Терентьев Ипполит;
Терентьева Марфа Борисовна;
Тоцкий Афанасий Иванович;
Фердыщенко;
Чебаров;
Шнейдер.



Страница черновика романа «Идиот».

Князь Лев Николаевич Мышкин (ни внешностью, ни поведением не похожий на князя) после четырёх лет лечения в Швейцарии от нервной болезни (эпилепсии), так и не долечившись, возвращается в Россию в вагоне третьего класса. Ещё в поезде он знакомится с попутчиком, купцом Парфёном Рогожиным, который только что стал миллионером и которому суждено стать его названным братом и соперником в любви. Страсти же кипят вокруг главной inferнальной героини романа – роковой красавицы Настасьи Филипповны, жестоко обиженной судьбой и людьми ещё в ранней юности. Она, впрочем, стремится не столько к мести, сколько к тому, чтобы окончательно погубить себя. Станный князь поражает её, заставляет на время забыть о своих обидах, она уже и любовь в своё сердце впустить готова, но есть ещё Аглая Епанчина, не менее гордая, но «сердечная» красавица... Сердце и душа бедного князя разрываются между двумя, выбор сделать тяжело и даже невозможно. Финал трагичен: Настасья Филипповна убита, у тела её – убийца Парфён Рогожин, впавший в горячку, и князь Мышкин, впавший в безумие, ставший окончательно идиотом...

Роман этот был задуман Достоевским за границей и писался там – начат в сентябре 1867 г. в Женеве и закончен в январе 1869 г. во Флоренции. Работа шла мучительно, писа-

тель, поджимаемый сроками (печатание романа в журнале шло практически параллельно с созданием), всё же не хотел из-за спешки портить «идею». В письме к А. Н. Майкову (31 дек. 1867 /12 янв. 1868/ г.) он приоткрыл дверцу в свою творческую лабораторию: «А со мной было вот что: *работал и мучился*. Вы знаете, что такое значит *сочинять*? Нет, слава Богу, Вы этого не знаете! Вы на заказ и на аршины, кажется, не писывали и не испытывали адского *мучения*. Забрав столько денег в «Русском вестнике» (ужас! 4500 р.), я ведь с начала года вполне надеялся, что поэзия не оставит меня, что поэтическая мысль мелькнет и развернется художественно к концу-то года и что я успею удовлетворить всех. Это тем более казалось мне вероятнее, что и всегда в голове и в душе у меня мелькает и даёт себя чувствовать много зачатий художественных мыслей. Но ведь только мелькает, а нужно полное воплощение, которое всегда происходит нечаянно и вдруг, но рассчитывать нельзя, когда именно оно произойдёт; и затем уже, получив в сердце полный образ, можно приступить к художественному выполнению. Тут уже можно даже и рассчитывать без ошибки. Ну-с: всё лето и всю осень я компоновал разные мысли (бывали иные презабавные), но некоторая опытность давала мне всегда предчувствовать или фальшь, или трудность, или маловыжитость иной идеи. Наконец я остановился на одной и начал работать, написал много, но 4-го декабря иностранного стиля бросил всё к черту. Уверю Вас, что роман мог бы быть посредствен; но опротивел он мне до невероятности именно тем, что посредствен, а не *положительно хорош*. Мне этого не надо было. Ну что же мне было делать? ведь 4-ое декабря! <...> Затем (так как вся моя будущность тут сидела) я стал мучиться выдумыванием *нового романа*. Старый не хотел продолжать ни за что. Не мог. Я думал от 4-го до 18-го декабря нового стиля включительно. Средним числом, я думаю, выходило планов по шести (не менее) ежедневно. Голова моя обратилась в мельницу. Как я не помещался – не понимаю. Наконец 18-го декабря я сел писать новый роман, 5-го января (нового стиля) я отослал в редакцию 5 глав первой части...» Далее в этом же письме автор определяет кратко и главную тему своего романа: «изобразить положительно прекрасного человека».

«Идиот» значил для Достоевского, в судьбе Достоевского-писателя чрезвычайно много. Во-первых, он знал-чувствовал, что это было второе, после «Преступления и наказания», «капитальнейшее» произведение в его творчестве, и ситуацию по аналогии можно было сопоставить с дебютным, 1846-м, годом, когда после оглушительного успеха «Бедных людей» начинающий писатель мечтал-надеялся подтвердить, закрепить, упрочить и увеличить своё реноме литературного таланта «Двойником». Тогда, как известно, эти надежды-мечты потерпели крушение. Во-вторых, в «Идиоте» Достоевский поставил перед собою неимоверной величины и сложности творческую задачу – «изобразить положительно прекрасного человека». И, по существу, русский писатель как бы бросал перчатку всей мировой литературе. По крайней мере, в письме (1/13/ янв. 1868 г.) к любимой племяннице С. А. Ивановой, пользующейся его особой доверительностью, он это недвусмысленно сформулировал, утверждая, что все писатели «не только наши, но даже все европейские», пытавшиеся изобразить положительно прекрасного человека, всегда «пасовали». Наиболее близко подошёл к решению задачи, по мнению Достоевского, лишь Сервантес со своим *Дон Кихотом* да, в какой-то мере, – Диккенс (Пиквик) и Гюго (Жан Вальжан). И тут же Фёдор Михайлович как бы проговаривается племяннице о своих самых потаённых мечтах-притязаниях: «На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо. (Всё Евангелие Иоанна в этом смысле; он всё чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного.) Но я слишком далеко зашёл...» Здесь это «я слишком далеко зашёл» – о многом говорит и дорогого стоит: замахнуться в какой-то мере на творческое соревнование с евангелистами!.. И, в-третьих, наконец, своим новым романом, создаваемым за границей, Достоевский должен был доказать самому себе, своим читателям и всем литературным врагам, что и вдали от родины он не оторвался от «почвы», не отстал от текущей российской действительности, чувствует и понимает Россию.



Рисунки Достоевского из рукописи к роману «Идиот».

Название романа «Идиот» многозначно: в толковании В. И. Даля – «малоумный, несмысленный от рождения, тупой, убогий, юродивый»; в «Карманном словаре иностранных слов, входящих в состав русского языка, издаваемом Н. Кирилловым» (СПб., 1845) специально пояснялось, что современно толкование слова подразумевает человека «кроткого, не подверженного припадкам бешенства, которого у нас называют дурачком, или дурнем». Соответственно, остальные персонажи романа во многом характеризуют себя, относясь к Мышкину «по Далю» или «по Кириллову».

«Идиот» имел значительный читательский успех, но должного разбора и оценки в критике не получил. Достоевский, не раз называвший этот роман своим любимым, спустя несколько лет одновременно и с горечью, и с гордостью записал в рабочей тетради 1876 г.: «Меня всегда поддерживала не критика, а публика. Кто из критики знает конец «Идиота» – сцену такой силы, которая не повторялась в литературе. Ну, а публика знает...» И чуть позже в письме к А. Г. Ковнеру (14 фев. 1877 г.) написал: «...Вы выделяете как лучшее из всех «Идиота». Представьте, что это суждение я слышал уже раз 50, если не более. Книга же каждый год покупается и даже с каждым годом больше. Я про «Идиота» потому сказал теперь, что все говорившие мне о нём, как о лучшем моём произведении, имеют нечто особое в складе своего ума, очень всегда меня поражавшее и мне нравившееся...» Думается, и до сих пор этот заме-

чателный роман Достоевского остаётся своеобразной «лакмусовой бумажкой», проверяющей «особенность склада ума» читателя...

Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга

Фельетон. Гр, 1878, № 23—25, 10 окт., с подписью: Друг Кузьмы Пруткова. (XXI)

Фельетон написан в *Старой Руссе* в конце июля 1878 г. В фельетоне упоминается много злободневных реалий, имён популярных писателей, журналистов, политиков – Берлинский конгресс, «*Отечественные записки*», лорд Биконсфильд, *Н. П. Вагнер*, *А. М. Бутлеров* и т. д.

Иностранные события

Цикл статей. *Гр*, 1873, № № 38—46, 51, 52, 17, 24 сент., 1, 8, 15, 22, 29 окт., 5, 12 нояб., 17, 29 дек.; 1874, № 1, 7 янв., с подписью: Д. (XXI)

С середины сентября и до конца 1873 г. Достоевский, будучи редактором «Гражданина», писал еженедельные обзоры текущих международных событий под таким названием. Эта работа привлекла писателя возможностью относительно свободного обсуждения злободневных проблем европейской жизни. Особенно много внимания в «Иностранных событиях» уделялось Франции, пережившей полосу революционных потрясений, Италии, Испании и Германии. Конечно, при такой спешной работе, а также из-за чересчур пристрастного взгляда обозревателя встречались в этих политических обозрениях противоречия и спорные выводы, но зато содержалось в них и много проницательных комментариев, немало ярких, оригинальных характеристик политических событий и деятелей.

Исповедь

Неосущ. замысел, 1859—1863. (XXVIII₁)

Большой роман под таким заглавием был задуман писателем в Сибири. В письме *М. М. Достоевскому* из Твери (9 окт. 1859 г.) он пишет: «Не помнишь ли, я тебе говорил про одну “Исповедь” – роман, который я хотел писать после всех, говоря, что ещё самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедля. <...> Я задумал его в каторге, лёжа на нарах, в тяжёлую минуту грусти и саморазложения. Он естественно разделится романа на 3 (разные эпохи жизни), каждый роман листов печатных 12. <...> Эффект будет сильнее «Бедных людей» (куда!) и «Неточки Незвановой». Я ручаюсь. <...> “Исповедь” окончательно утвердит моё имя...» Название этого романа было указано в объявлениях редакции журнала «*Время*» (1862, № 12; 1863, № 1). Однако ж замысел полностью так и не был осуществлён, в какой-то мере воплотился он в последующих «исповедальных» произведениях Достоевского, в первую очередь, – в «*Записках из подполья*».

<История Карла Ивановича>

Неосущ. замысел, 1876. (XVII)

Небольшой набросок без названия в записной тетради, позже в плане романа *«Мечтатель»* упоминается как «История Карла Иванов<ича>». Имя рассказчика совпадает с именем немца-учителя из «Детства» (1852) и «Отрочества» (1854) *Л. Н. Толстого*, которые Достоевский впервые прочёл в 1855 г. и позднее не раз перечитывал, работая над *«Подростком»* и *«Дневником писателя»*. В отрывке-наброске имитирован или, скорее, спародирован стиль устного автобиографического рассказа этого толстовского героя – старого чудака-немца, коверкающего русский язык.

История о. Нила

Статья. *Гр*, 1873, № 24, 11 июня, без подписи. (XXI)

В газете «Русские ведомости» от 30 июня 1873 г. было опубликовано «Дело о девице Анне Васильевой Огурцовой, обвинявшейся в краже», перепечатанное затем другими изданиями. Суть заключалась в том, что монах Троице-Сергиевой лавры о. Нил имел любовную связь с двумя женщинами, одна другую из ревности обвинила в воровстве, дело получило огласку. Достоевский узнал об этой истории из заметки в газете «*Русский мир*», привёл-перепечатал её в «*Гражданине*» полностью и кратко прокомментировал по пунктам. Всего в комментарии девять пунктов, в которых ирония, сарказм, горечь писателя и редактора *Гр* направлены прежде всего против судебной системы, придавшей размах этому частному случаю, а также против монаха-фарисея.

Как опасно предаваться честолюбивым снам

Фарс совершенно неправдоподобный, в стихах, с примесью прозы. Соч. гг. Пружинина, Зубоскалова, Белопяткина и К^о. (Коллективное) «Первое апреля», 1846. (I)

Основные персонажи:

Пётр Иванович;

Фарафонтов Степан Федорыч;

Федосья Карповна.

Чиновнику Петру Ивановичу, почивающему в спальне с супругой Федосьей Карповной, снится сладкий сон, будто он богатый помещик, молод и красив, рядом молодайка, но вдруг сон становится безобразным – будто его перевели в простые писари. Внезапно проснувшись, он обнаруживает в спальне вора, устремляется за ним в погоню, по дороге встречает своего начальника, которого шокирует своим странным видом и поведением, а в итоге лишается своего места вовсе...

Рассказ написан совместно с *Д. В. Григоровичем* и *Н. А. Некрасовым* для задуманного альманаха «*Зубоскал*». Достоевскому предположительно принадлежат три главы (III, VI, VII) из восьми. После запрещения «*Зубоскала*» цензурой рассказ был опубликован в альманахе «Первое апреля». *В. Г. Белинский*, рекомендуя альманах читателям (*ОЗ*, 1846, № 4) отнёс этот рассказ к наиболее удачным из всех материалов.

Каламбуры в жизни и в литературе

Статья. Э, 1864, № 10, без подписи. (XX)

Статья эта очень важна для понимания позиции Достоевского-редактора, Достоевского-журналиста. Написана она в связи с публикацией в «Голосе» объявления об издании в 1865 г. «Отечественных записок» и направлена против хозяина этих изданий А. А. Краевского. Достоевского возмущало либерально-западническое направление «Голоса», деячество и приспособленчество издателя-толстосума, которого писатель хорошо знал с юности. Пафос статьи редактора «Эпохи» ярко обозначена в резкой фразе, которая, правда, осталась в записной книжке той поры: «А что такое “Голос”? Прихвостень». Но, несмотря на это, в дальнейшем «Голос» (как и «Московские ведомости») – главный поставщик информации для Достоевского.

<Картузов>

Неосущ. замысел, 1868—1869. (XI)

В записной тетради сохранились обширные наброски плана повести о капитане Картузове (почти на 30 страницах), из которого вырос образ *Лебядкина* в «*Бесах*» и который в переработанном виде составил одну из сюжетных линий – взаимоотношения капитана-пиита и *Лизы Тушиной*. Примечательно, что в «*Бесах*» среди случайных посетителей вечеров у *Степана Трофимовича Верховенского* наряду с «жидком» *Ляминым* и каким-то «любопытным старичком» упомянут и некий «капитан Картузов».

Кашкадамов

Неосущ. замысел, 1864. (XXVII)

Составляя в записной тетради «План общего собрания сочинений» в 4-х т. в издании *Ф. Т. Стелловского* (1865—1870 гг.), Достоевский в том 4-й включил произведение под таким названием, которое так и не было написано. Возможно, из этого замысла позже, в 1869 г., вырос рассказ «*Вечный муж*», о котором автор писал *Н. Н. Страхову* (18 /30/ марта 1869 г.): «Этот рассказ я ещё думал написать четыре года назад, в год смерти брата...»

Книжность и грамотность

Статьи **III** и **IV** из цикла *«Ряд статей о русской литературе»*. Вр, 1861, № 7, 8, без подписи. (XIX)

Эта фундаментальная статья-диалогия посвящена кардинальной проблеме – просвещению народа. В первой части Достоевский больше касается теории вопроса, повторяя-высказывая своё (и журнала *«Время»*) мнение о своеобразном пути развития России, об исчерпанности реформ Петра I, о необходимости преодоления пропасти между народом и образованным обществом. Статья наполнена полемикой в первую очередь с *«Русским вестником»* и *«Отечественными записками»*. Эти два издания затеяли между собою спор о народности, о значении А. С. Пушкина, что кажется Достоевскому комическим, ибо и С. С. Дудышкин (ОЗ) и М. Н. Катков (РВ) – оба по сути отрицали народность поэта. По мнению же Достоевского, «инстинкт общечеловечности», присущий русскому народу вообще, в верхнем слое общества проявился в приобщении к европейской цивилизации и культуре, а в Пушкине это стремление нашло наиболее полное и законченное выражение, что и есть высшее проявление его народности. И в подтверждение своих тезисов Достоевский даёт своё понимание «Бориса Годунова», «Капитанской дочки», «Повестей Белкина», но подробнее всего – «Евгения Онегина». Вторая статья трактата «Книжность и грамотность» посвящена изданиям для народа, в основном – проекту «Читальника» Н. Ф. Щербины («Опыт о книге для народа», ОЗ, 1861, № 2). Ранее в журнале «Время» о статье и проекте Щербины уже публиковалась заметка «Вместо фельетона» П. А. Кускова с рядом критических замечаний. Достоевский дал более обстоятельный разбор недостатков проекта. Причём, по его мнению, другие многочисленные проекты и книжки для народа совсем уж неудачны и даже внимания не стоят. Главное, что не приемлет писатель в подобного рода изданиях – или чрезмерную идеализацию, или сатирическое изображение народа, а также менторский тон. Именно стремление Щербины взять на себя роль учителя, обличителя и исправителя нравов особенно претит Достоевскому. Статья «Книжность и грамотность» во многом перекликается с *«Записками из Мёртвого дома»*, занимает важное место в публицистике 1860-х гг., посвящённой проблеме просвещения народа, и в творчестве самого Достоевского. Основные положения статьи будут развиты им впоследствии в *«Дневнике писателя»* и очерке (речи) «Пушкин».

Крокодил

Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже, справедливая повесть о том, как один господин, известных лет и известной наружности, пассажным крокодилом был проглочен живьём, весь без остатка, и что из этого вышло. (Неоконч.) Э, 1865, № 2. (V)

Основные персонажи:

Елена Ивановна;

Иван Матвеевич;

Карльхен (крокодил);

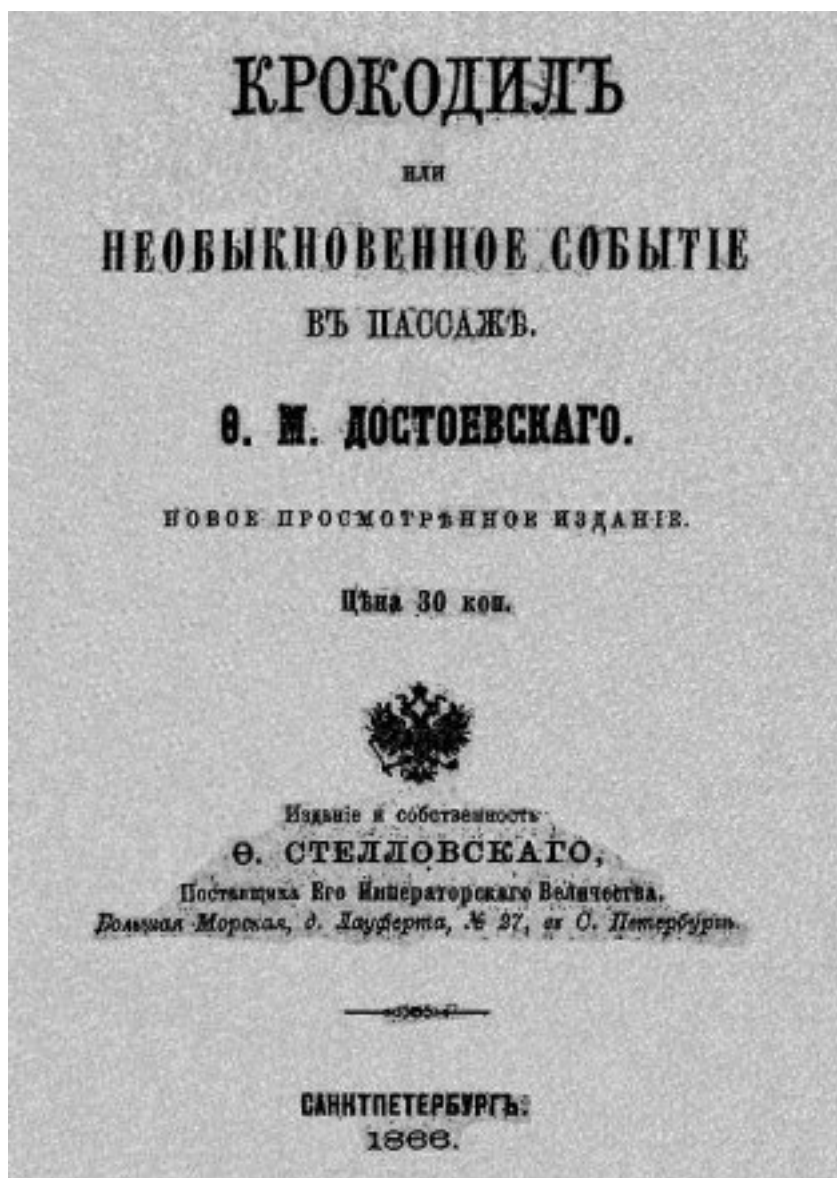
Немец;

Прохор Саввич;

Стрижов Семён Семёнович;

Тимофей Семёнович.

Повесть не была окончена, состоит всего из 4-х глав. В журнальном варианте публикации предваряло пространное «Предисловие редакции», в котором объяснялось, что данное сочинение доставлено в редакцию неизвестным автором, которому решено дать псевдоним Семён Стрижов, что сотрудник редакции Фёдор Достоевский любезно согласился поставить под сочинением своё имя и что редакция не отвечает, если всё рассказанное – ложь. Повести предпослан шуточный эпиграф – бессмысленное французское выражение: «Ohe, Lambert! Ou est Lambert? As-tu vu Lambert?» («Эй, Ламбер! Где Ламбер? Видел ты Ламбера?»). Суть же невероятной истории изложена в подзаголовке: почтенный чиновник Иван Матвеевич, который вместе с супругой Еленой Ивановной и другом дома Семёном Семёнычем пришёл в Пассаж посмотреть на крокодила, показываемого за деньги, был этим крокодилом проглочен, но, к удивлению всех и вся не погиб, а стал жить в чреве чудовища и даже решил, пользуясь своей растущей популярностью у публики, заняться из чрева крокодила «агитацией и пропагандой» идей, кои там его посещают, в то время, как друг семьи и жёнушка не очень-то огорчены его отсутствием...



Как ни подчёркивал автор невинность и шуточность произведения, но публикация уже первых глав вызвала бурю негодования в критике и прессе. Во-первых, повесть была переполнена сатирическими выпадами в адрес оппонентов Достоевского и журнала «Эпоха», а такими на тот период были журналы всех направлений – «Современник», «Русское слово», «Русский вестник», «Отечественные записки». Во-вторых и в главных, А. А. Краевский, язвительно высмеянный в «Крокодиле», в своей газете «Голос» обвинил автора в том, что это «Необыкновенное событие» – памфлет на Н. Г. Чернышевского, который в 1864 г. был осуждён и сослан в Сибирь: Иван Матвеевич, проповедующий из чрева крокодила, будто бы, – карикатура на автора «Что делать?», написавшего свой «пропагандистский» роман в Петропавловской крепости, а ветренная недалёкая супруга – злобный шарж на О. С. Чернышевскую. Для многих это показалось убедительным. Достоевский позже, в «Дневнике писателя» (1873, IV. «Нечто личное») с негодованием опроверг такие инвективы: дескать, неужели он, бывший каторжанин, способен был написать «пашквиль» на другого арестанта и ссыльного?! Автор «Крокодила» очень сожалел, что тогда же, по горячим следам, громогласно и печатно не протестовал против приписываемого ему злобного и безнравственного зубоскальства. Однако ж, он сразу оставил эту злосчастную повесть, не стал её продолжать-заканчивать. Сыграло в этом свою роль, разумеется, и закрытие «Эпохи» на этом же номере, но в черновых записях Достоевского сохранились довольно подробные намётки-планы продолжения «Необыкновенного события...», так

что автору не составило бы труда произведение закончить. Он делать этого не стал. Впрочем, от самой повести в её опубликованном варианте Достоевский отнюдь не отрекался, не чувствуя за собой никакой вины, и со спокойной совестью включил её в собрание своих сочинений (1865), не предполагая даже, что вскоре в «Современнике» обругают его роман *«Преступление и наказание»* за «пашквильную аллегорию» на Чернышевского, и что ему вновь, уже печатно, придётся как бы оправдываться за «Пассаж в Пассаже» через несколько лет в *ДП*, когда поднимется оскорбительный шум вокруг *«Бесов»*.

Кроткая

Фантастический рассказ. ДП, 1876, ноябрь. (XXIV)

Основные персонажи:

Ефимович;

Кроткая;

Лукерья;

Муж.

Рассказ занимает весь ноябрьский выпуск ДП за 1876 г., состоит из двух глав, десяти подглавок и предуведомления «От автора», в котором разъясняется форма: «Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и ещё не успел собрать своих мыслей. <...> Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, *уясняет* себе его...» Из сбивчивого, местами почти горячего монолога вырисовываются постепенно все подробности трагедии. Он – бывший офицер, в силу обстоятельств ставший ростовщиком-процентщиком, сделал предложение бедной девушке-сироте, которая от безвыходности положения вышла за него замуж. Однако тайные надежды и виды спасителя-благодетеля на безмерную благодарность и горячую любовь со стороны кроткой жены никак не оправдывались. Больше того, она как бы совершенно отгородилась от него, закрылась, затаилась. А между тем сам-то офицер-ростовщик понимает, что теперь-то только он и начинает любить жену свою, и любовь-страсть эта разгорается всё сильнее. Но когда, казалось, он уже убедил её в своей любви, распахнул всю свою душу, и осталось Кроткой только лишь принять его любовь и ответить – она предпочла выброситься из окна с образом Божией Матери в руках...

* * *

Тема самоубийства – одна из самых «капитальных» в творчестве Достоевского вообще, а в возобновлённом ДП (1876) – особенно. Буквально с первой главы («Вместо предисловия о Большой и Малой Медведицах, о молитве великого Гёте и вообще о дурных привычках») писатель начал о самоубийствах, не раз возвращался к этой теме в следующих выпусках, а в октябрьском номере «Дневника» публикует сразу две «суицидальных» статьи «Приговор» и «Два самоубийства». В последней, в частности, говорилось: «Истребление себя есть вещь серьёзная, несмотря на какой бы там ни было шик, а эпидемическое истребление себя, возрастающее в интеллигентных классах, есть слишком серьёзная вещь, стоящая неустанного наблюдения и изучения...» Именно этим сам Достоевский и занимался – неустанным наблюдением и изучением. И всё время, неустанно как бы примеривал суицидальную ситуацию на себя. В рабочей тетради того периода появляются то и дело обрывочные, но какие глубинно-знаменательные записи-пометы вроде следующей: «Да, хорошо жить на свете, и жить и умирать». Или: «Господи, благодарю Тебя за лик человеческий, данный мне. (В противоположность самоубийцам)». И писателю, конечно, тесны были рамки документальной прозы, рамки публицистики, рамки дневникового жанра. В «Приговоре» он за них, за эти рамки, как бы уже вышел, применил художественный приём перевоплощения, надел личину своего героя, заговорил-высказался чужим голосом. Да так мастерски, что иные простодушные читатели приняли этот голос за голос самого автора. Оправдываться-объясняться он будет в декабрьском выпуске «Дневника» («О самоубийстве и о высокомерии»), а пока, разохотившись, на одном дыхании, создаёт и в ноябрьском выпуске публикует повесть «Кроткая». Опять чужой голос, опять исповедальный тон, опять речь о самоубийстве. Причём, если «Приговор» – это, по существу, развёр-

нутая в художественное повествование первая часть заметки «Два самоубийства» (о смерти дочери *А. И. Герцена*), которая в октябрьском выпуске непосредственно предшествовала «Приговору», то «фантастический рассказ» «Кроткая» родился из второй части, где речь шла о швее Марье Борисовой, выбросившейся из окна с образом Божией Матери в руках. Достоевский узнал об этом трагическом случае из сообщения в газете «*Новое время*» (1876, № 215, 3 окт.). Помимо этого, в сюжете повести использованы некоторые реалии судебного дела «о подлоге завещания капитана гвардии Седкова», которое широко освещалось в прессе и обвинителем в котором выступал *А. Ф. Конш*: петербургский ростовщик Седков, бывший офицер, выгнанный из полка, женился на 16-летней девушке, которая, спустя какое-то время, совершила попытку самоубийства...

Достоевский на предварительном этапе работы напряжённо искал тон, форму повествования. В предисловии «От автора», объясняя «фантастичность» своего произведения, он ссылается на «Последний день приговорённого к смертной казни» *В. Гюго*, где не только приведены мысли героя, но и даже допускается, что он до последней секунды жизни мог их записывать. И хотя сам автор стремился избежать чрезмерной психологии (Из подготовительных материалов: «NB. Главное: без психологии, одно описание...»), но именно благодаря форме внутреннего монолога героя-рассказчика в результате получился шедевр как раз психологического повествования. Именно так и оценили новое произведение Достоевского критики и читатели. Восторженно о «Кроткой» отзывались *М. Е. Салтыков-Щедрин*, *Н. К. Михайловский*, *К. Гамсун*, *А. Жид* и многие другие писатели.

Литературная истерика

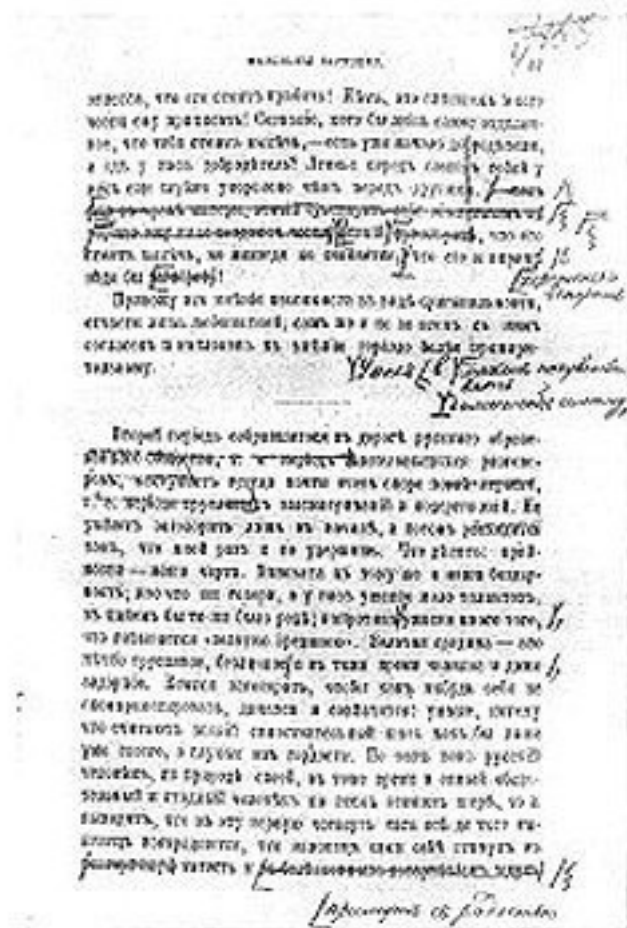
Статья. *Вр*, 1861, № 7, без подписи. (XIX)

В журнале братьев Достоевских «*Время*» (1861, № 4) был анонимно опубликован *фельетон* П. А. Кусова «Некоторые размышления по поводу некоторых вопросов», на который М. Н. Катков в своём «*Русском вестнике*» (1861, № 6) откликнулся статьёй «Одного поля ягоды», обвинив автора (намекая, что это – Достоевский) в любовании аморализмом и безнравственностью и распространяя своё заключение на позицию всего журнала. Достоевский, написав в защиту фельетона Кусова данную статью, дал резкую отповедь Каткову, считая, что «Одного поля ягоды» и особенно заключительные строки «писаны в *болезни*, именно в истерике», и что в «таких болезнях нужно уж обращаться к медицинским средствам; литературные не помогут»... «Литературная истерика» стоит в одном ряду с другими полемическими статьями-выступлениями Достоевского на страницах «*Времени*» против Каткова и его журнала – «*Свисток*» и «*Русский вестник*», «*Ответ “Русскому вестнику”*», «*Образцы чистосердечия*», «*По поводу элегической заметки “Русского вестника”*».

Маленькие картинки

(В дороге). Очерк. Сборник «Складчина», 1874. (XXI)

В 1873 г. случился голод в Самарской губернии. Русские литераторы всех направлений, забыв о ссорах и полемике, издали сборник в пользу пострадавших. Достоевский написал для него данный очерк с подзаголовком «В дороге» и первой же строке пояснил: «Я разумею дорогу паровую, чугунок и пароходы. . .» Содержание «Картинок» составили наблюдения и размышления писателя, который постоянно путешествовал по железной дороге (в Москву и за границу) и на пароходе (часть пути до *Старой Руссы*). По предложению *И. А. Гончарова*, редактора сборника, Достоевский исключил из очерка эпизод об «отрицательном типе» священника. Сборник «Складчина» вышел в конце марта 1874 г. и был, в основном, сочувственно встречен критикой. В частности, о произведении Достоевского характерен отзыв анонимного автора «*Санкт-Петербургских ведомостей*» (1874, № 90, 3 апр.): «Очерк г-на Достоевского “Маленькие картинки” может служить блистательным примером того, как крупный талант даже из самого избитого и обыкновенного сюжета способен сделать интересную и яркую вещь. . .»



Лист корректуры сборника «Складчина».

Маленький герой

(Из неизвестных мемуаров). Рассказ. ОЗ, 1857, № 8, с подписью: М—ий. (II)

Основные персонажи:

М-те М;*

М-г М;*

Блондинка;

Маленький герой;

Н—й;

Т—в;

Танкред.

«Без малого одиннадцатилетний» мальчик летом отдыхает у родственника в подмосковном имении, куда съехалось человек пятьдесят гостей. Прогулки, пикники, обеды, ужины. Попав в эту атмосферу праздника, где правит бал флирт, Маленький герой влюбляется первой пылкой любовью в великосветскую красавицу *м-те М**, совершает ради неё подвиг (укрошает необъезженного жеребца), испытывает-переживает все муки ревности и разочарования первой любви...

* * *

В момент ареста за участие в кружке *М. В. Петрашевского* (апрель 1849 г.) Достоевский писал довольно мрачный по тону и колориту роман «*Неточка Незванова*», в центре которого — трагическая судьба ребёнка, девочки, её полная недетских страданий жизнь. В тёмном, душном и сыром каземате Петропавловской крепости писатель, в ожидании приговора, создал одно из самых своих светлых и лиричных произведений — «Детскую сказку», которая при первой публикации получила название «Маленький герой». Четверть века спустя (в 1874 г.) писатель в разговоре с *Вс. С. Соловьёвым* вспоминал, что в момент работы над рассказом ему «снились тихие, хорошие, добрые сны...» [*Д. в восп.*, т. 2, с. 212] Рассказ и похож на сладкий сон, на театральный спектакль, где царят веселье, музыка, любовь, и всё это на фоне цветущего деревенского лета. «Равнодушный» к природе писатель (его не раз упрекали в этом критики) создаёт в мрачной тюремной камере произведение — настоящий гимн цветущей природе, под которым подписался бы и признанный «природовед» *И. С. Тургенев*.

После отправки Достоевского на каторгу рукопись «Детской сказки» осталась у брата, *М. М. Достоевского*. В письмах к нему (9 нояб. 1856 г., 9 марта 1857 г.) и *А. Е. Врангелю* (21 дек. 1856 г., 9 марта 1857 г.) из Сибири автор интересовался попытками напечатать рассказ, поторапливал их это сделать. Ему крайне важен был прецедент-доказательство, что ему вновь разрешено печататься. Однако ж, узнав о появлении рассказа в журнале, Достоевский высказал в письме к брату (1 марта 1858 г.) недовольство, ибо «давно думал её переделать...» К тому же потом он ещё и узнает об изменении *А. А. Краевским* в целях конспирации названия рассказа и подписи, из-за чего замысел литературной реабилитации писателя-петрашевца сводился на нет. При подготовке собрания сочинений 1860 г. Достоевский убрал несколько вступительных абзацев, где содержалось обращение повествователя к некоей Машеньке, сделал стилистическую правку.

Мальчик у Христа на ёлке

Рассказ. *ДП*, 1876, январь, гл. вторая, II. (XXII)

Рассказав в предыдущей, I-й, подглавке «Дневника» о «мальчике с ручкой», то есть – просящем милостыню, Достоевский пишет: «Но я романист, и, кажется, одну “историю” сам сочинил...» Это – грустная история о том, как совсем маленький, лет пяти-шести, и тоже нищий мальчик-сирота бродит по холодному огромному Петербургу в предрождественский вечер, заглядывает в окна, где стоят наряженные ёлки и играют весёлые дети. Попробовал он зайти в один такой дом, да его погнажи, а затем какой-то «большой злой мальчик» побил его и картуз отобрал. Спрятался «маленький герой» (не путать со счастливым персонажем «*Маленького героя*»!) в каком-то дворе, за поленницей дров и стало ему так хорошо, уютно, сонливо. Вдруг кто-то позвал его за собой и привёл на чудесную рождественскую ёлку, все дети ему рады, с ним играют, и мама здесь – смеётся радостно. «– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама!» – кричит ей мальчик и начинает расспрашивать добрых детей, что же это происходит. Ему разъясняют, что это «Христова ёлка» для тех «маленьких деточек», для которых там, на земле, нет своей ёлки... А наутро дворник нашёл за дровами тельце замёрзшего мальчика...

* * *

Одна из сквозных тем в январском выпуске «*Дневника писателя*» за 1876 г. – рождественские праздники. 26 декабря 1875 г. Достоевский с дочерью Любой (*Л. Ф. Достоевской*) побывал на рождественском детском празднике в С.-Петербургском клубе художников, на следующий день он вместе с *А. Ф. Кони* посетил колонию для малолетних преступников, и в эти дни он часто встречал-видел на улицах «мальчика с ручкой», просящего подаяния. Все эти впечатления и нашли воплощение на страницах *ДП*, в размышлениях о «теперешних русских детях» и их будущем. «Святочный рассказ» о том, как замёрший нищий мальчик попал на праздничную ёлку ко Христу – квинтэссенция этих размышлений, выраженная в художественной форме. Отталкиваясь от классических образцов жанра вроде «Девочки с серными спичками» Г. Х. Андерсена (1805—1875) и «Рождественских рассказов» Ч. Диккенса (1812—1870) и взяв за основу популярное стихотворение немецкого поэта Фридриха Рюккerta (1788—1866) «Ёлка сироты» (о котором есть упоминание в записной тетради с черновыми материалами к «Мальчику у Христа на ёлке»), Достоевский создал глубоко национально русское и оригинальное произведение. Рассказ этот, несомненно, связан незримыми нитями как с «*Бедными людьми*», «*Ёлкой и свадьбой*» и «*Униженными и оскорблёнными*», так и с будущими «*Братьями Карамазовыми*» (тема «слезинки ребёнка»). Критика положительно оценила рассказ «Мальчик у Христа на ёлке», сам Достоевский относил его к числу своих любимых и не раз читал его на публичных литературных чтениях. До конца XIX в. только отдельным изданием рассказ выходил в России более двадцати раз.

Мария Стюарт

Неосущ. замысел, 1842. – См. **Борис Годунов**.

<Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?..>

16 апреля 1864 г. Запись в записной книжке 1863—1864 гг. (XX)

Эта запись имеет большое значение для творчества и мировоззрения Достоевского, поэтому есть смысл поместить её среди произведений. Сделана она сразу после смерти первой жены писателя – *М. Д. Достоевской*. Ночью, находясь в комнате наедине с ещё не остывшим телом, Достоевский заносит в записную тетрадь свои размышления, которые сложились в своеобразный философский трактат о жизни и смерти, смерти и бессмертии, предназначении человека на земле. В этой записи и сконцентрированы-обозначены философские концепции Достоевского-писателя, Достоевского-мыслителя, которые он будет разрабатывать, углублять, исследовать во всех последующих своих великих романах. Стоит хотя бы тезисно вспомнить содержание этой записи:

Одна из главных заповедей Христа – возлюбить ближнего как самого себя – человеком на земле не исполняется в силу его, человека, несовершенства... Христос есть идеал человека во плоти и достичь этого идеала – цель человечества... Но если окончательная цель будет достигнута, то жизнь остановится-прекратится... Тогда получается, что «человек есть на земле существо только развивающееся, след<овательно>, не оконченное, а переходное»... «Следственно, есть будущая, райская жизнь»... И самый, может быть, главный вывод, который Достоевский помечает своим многозначительным латинским «заметь хорошо»: «NB. Итак, всё зависит от того: принимается ли Христос за окончательный идеал на земле, то есть от веры христианской. Коли веришь во Христа, то веришь, что и жить будешь вовеки...»

Однако ж, будет ошибкой думать, что великий писатель был однозначно религиозным мистиком. Понятия «бессмертие», «вечная жизнь» имели для него и сугубо земное, так сказать, овеществлённое выражение: человек после физической смерти остаётся-продолжает жить в детях, в памяти людской. В этом плане особенно интересно рассуждение Достоевского, что «память великих развивателей человека живет между людьми <...>. Значит, часть этих натур входит и плотью и одушевленно в других людей...» То есть, стоит уточнить-конкретизировать для ясности: великие писатели-творцы уровня Достоевского, безусловные «развиватели человека», просто обречены на бессмертие. Но писателю-философу важно определить-осмыслить и космологический аспект бессмертия. Увы, вынужден он признать, конкретные его формы человеку представить не дано. Можно только догадываться. И знать-верить, что произойдёт «синтез», достижение Христова идеала, слияние с ним: «Всё себя тогда почувствует и познает навечно. Но как это будет, в какой форме, в какой природе, – человеку трудно и представить себе окончательно...» В конце этого философского эссе, вероятно, уже в свете занимающегося за окном апрельского утра, Достоевский формулирует окончательно и смысл земного существования человека: «Итак, человек стремится на земле к идеалу, *противуположному* его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил *любовью* в жертву своего *я* людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравнивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна...» Выходит, страдание – закон, неизбежность, данность земной жизни человека. Иллюстрациями к этому и послужат многие страницы последующих произведений писателя.

Мечтатель

Неосущ. замысел, 1876—1877. (XVII)

Мечтательство — сквозная тема в творчестве Достоевского. Уже в *«Петербургской летописи»* (1847) дана характеристика типа Мечтателя, затем она конкретизируется в образе героя-повествователя *«Белых ночей»*, во многих персонажах последующих произведений. Фрагменты плана отдельного большого романа *«Мечтатель»* (всего их семь) разбросаны среди заметок к *«Дневнику писателя»* 1876 г. Писатель собирался опубликовать *«Мечтателя»* в рамках *«Дневника»*, однако замысел так и не был осуществлён. Судя по всему, в романе *«Мечтатель»* Достоевский собирался показать двойственную природу мечтательства, осознание трагедии мечтательства самим героем, который в финале должен был покончить жизнь самоубийством...

Молодое перо

См. Журнальные заметки.

Мужик Марей

Рассказ. ДП, 1876, февраль, гл. первая, III. (XXII)

Основные персонажи:

Газин;

Достоевский;

М—цкий;

Мужик Марей.

В каторжном остроге в праздничный день — обычная пьяная гульба, игра в карты, драки... Угнетённый происходящим Достоевский встречается во дворе поляка *М—цкого* (А. Мирецкого), который сказал ему по-французски, что ненавидит «этих разбойников». И вот бывший петрашевец вскоре, лёжа на нарах, вспоминает вдруг случай из детства, когда в деревне он играл один и вдруг померещилось ему, будто кто-то крикнул: «Волк бежит!» В ужасе бросился он бежать, выскочил на поляну прямо на пашущего мужика Марей, который его успокоил-защитил. На всю жизнь запомнились писателю самые, казалось бы, мелкие подробности: как протянул тот «тихонько свой толстый, с чёрным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивающих моих губ», как улыбался «какою-то материнскою и длинною улыбкой»...

* * *

Этот мемуарный рассказ связан тематически с предыдущей, 2-й, подглавкой «*Дневника писателя*», где речь шла о сближении интеллигенции с «*почвой*», народом. «Мужик Марей» — свидетельство того огромного нравственного воздействия, какое в детстве оказал на будущего писателя простой крепостной крестьянин из имения его родителей, поразивший его величием духа и бескорыстностью любви. Рассказ этот вполне мог войти и в состав «*Записок из Мёртвого дома*».

Мысль на лету

Неосущ. замысел, 1870. (XII)

«В губернский город приезжает фельдмаршал с беременной любовницей» – с этой фразы начинается набросок, в котором упоминаются пощёчина, дуэль, убийства, описание казни в Париже преступника Ж.-Б. Тропмана (7 /19/ янв. 1870 г.) и прочие трагические страсти. Отдельные мотивы замысла вошли впоследствии в роман *«Подросток»*.

На европейские события в 1854 году

Стихи, 1854. (II)

Это первое из трёх стихотворений одического жанра (кроме «*На коронацию и заключение мира*» и «*На первое июля 1855 года*»), написанных Достоевским в Семипалатинске, где после выхода из Омского острога он проходил солдатскую службу. Сочинялись они опальным писателем с одной целью – убедить правительственные круги в своей благонадёжности, добиться облегчения своей участи, получить разрешение печататься. Данная ода посвящена началу Крымской войны. Текст стихотворения по инстанции дошёл до III отделения, но разрешения на публикацию не получил, как и последующие два, и для облегчения участи бывшего петрашевца роли не сыграл.

<На коронацию и заключение мира>

Стихи, 1856. (II)

Одно из трёх (см. выше) одических стихотворений, написанных Достоевским в Сибири для облегчения своей участи. Посвящено оно заключению Парижского мира (18 /30/ марта 1856 г.) и коронации *Александра II* (26 августа 1856 г.). Благодаря хлопотам *А. Е. Врангеля*, текст этот дошёл до военного министра *Н. О. Сухозанета*, но к тому времени (июнь 1856 г.) уже прежние ходатайства частично достигли цели: царь разрешил унтер-офицера Достоевского «ввиду чистосердечного раскаяния» произвести в прапорщики, но приказал учредить за ним секретный надзор и только потом, убедившись в его благонадёжности, позволить ему печатать свои литературные труды. Стихотворение это, как и предыдущих два, при жизни автора не публиковалось.



Ф. М. Достоевский. Фотография Н. Лейбина, 1858 г.

На первое июля 1855 года

Стихи, 1855. (II)

Вторая по времени создания стихотворная попытка (см. выше) писателя-петрашевца размягчить сердца царствующих особ высоким одическим стилем, дабы привлечь внимание к своей горькой участи. Написаны эти строки в июне 1855-го, посвящены дню рождения вдовствующей императрицы Александры Фёдоровны и, благодаря хлопотам *А. Е. Врангеля*, дошли до неё. Спустя несколько месяцев, в ноябре, рядовой Достоевский был произведён в унтер-офицеры. Стихотворение это, как и другие два, опубликовано не было. И – слава Богу: уж на что *М. М. Достоевский*, старший брат, ценил и уважал литературный талант Достоевского, с восторгом принимая всё, что ни выходило из-под пера его, и тот, оценивая оду «*На коронацию и заключение мира*», написал ему напрямик, без дипломатии: «Читал твои стихи и нашёл их очень плохими. Стихи не твоя специальность...» [*Летопись*. т. 1, с. 220] Больше того, слух об этих верноподданнических виршах Достоевского распространился в литературных кругах Петербурга и лёг пятном на репутацию бывшего петрашевца. Сам писатель впоследствии никогда не вспоминал об этих вынужденных поэтических опытах и сам бы, пожалуй, удивился, если б кто ему сказал-напомнил, что он способен был сочинять строки вроде следующих:

«Знакома Русь со всякою бедой!
Случалось ей, что не бывало с вами.
Давил её татарин под пятой,
А очутился он же под ногами...»

Наши монастыри

(Журнал «беседа» 1872 г.). Статья-рецензия. *Гр*, № 4, 22 янв., без подписи. (XXI)

В этой рецензии Достоевский высказал своё мнение по поводу серии статей «Наши монастыри их богатства и получаемые ими пособия», публиковавшихся в журнале либерально-славянофильского толка «Беседа» (издатель-редактор *С. А. Юрьев*) с 3-го по 11-й номер за 1872 г. В них проводилась мысль, что монастыри и монахи живут чересчур богато, а это-де никак не вяжется с идеалами монашества. Достоевский категорически не согласился с обобщениями анонимного автора «Беседы» и напомнил простую истину, что «половина правды не только есть ложь, но даже и хуже лжи».

Необходимое заявление

Статья. Э, 1864, № 7. (XX)

Эта статья – очередное звено в ожесточённой полемике между «Эпохой» и «Современником», ответ на памфлеты М. А. Антоновича «Торжество ерундистов» и «Стрижам» (С, 1864, № 7), которые, в свою очередь, появились как ответ на статью Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах». На этот раз Достоевский сделал «Необходимое заявление», что отказывается вести полемику на таком уничижительном ругательном вплоть до оскорблений личного характера уровне. Антонович разразился в сентябрьском номере «Современника» сразу пятью статьями против Э, объединённых заглавием «Литературные мелочи». После этого Достоевский окончательно отказался иметь дело с данным господином («Чтобы кончить») и далее полемика между «Современником» и «Эпохой», вплоть до прекращения последней, велась между М. А. Антоновичем и Н. Н. Страховым.

Необходимое литературное объяснение

по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов. Статья. *Вр*, 1863, № 1, без подписи. (XX)

В ряде журналов появились полемические отклики на «*Объявление о подписке на журнал “Время” на 1863 год*», содержащее почвенническую программу журнала и скрытые резкие нападки на «*Современник*». В данном «Объяснении» Достоевский развил положения программного «Объявления», обращаясь к редакциям журналов «Современник», «*Отечественные записки*», «*Русский вестник*» и др. Название статьи связано с выражениями «сви-стуны из хлеба» и «свист из хлеба» из статьи А. Ленивцева (псевдоним А. В. Эвальда) «Недосказанные заметки» (*ОЗ*, 1862, № 10).

<Не разбойничай, Федул...>

Шуточные стихи, 1879. (XVII)

Неоконченное шуточное стихотворение (9 строк), обращённое к сыну (*Ф. Ф. Достоевскому*), дочери (*Л. Ф. Достоевской*) и жене (*А. Г. Достоевской*), набросанное среди записей к роману «*Братья Карамазовы*».

Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском

Некролог. Э, 1864, № 6. (XX)

Старший брат писателя *М. М. Достоевский* умер 10 июля 1864 г. В некрологе сказано о нём в основном как редакторе и писателе. Достоевский признаётся в конце, что о личном характере брата мог бы сказать много хорошего, но боится показаться пристрастным, так как «был слишком близок к покойному». Действительно, Михаил Михайлович был не просто братом, но и самым близким другом Достоевского с детских лет. Кроме данного некролога характеристике М. М. Достоевского посвящены также «*Примечание к статье Н. Страхова “Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве”*» и реплика «*За умершего*» из апрельского выпуска «*Дневника писателя*» за 1876 г.

Неточка Незванова

Роман (неоконч.). ОЗ, 1849, № 1, 2, 5. (II)

Основные персонажи:

Александра Михайловна;

Б.;

Ефимов Егор Петрович;

Катя;

Княгиня Х—я;

Княжна-старушка;

Князь Х—ий;

Ларенька;

Мадам Леотар;

Матушка;

Мейер Карл Фёдорович;

Незванова Анна (Неточка);

Овров;

Пётр Александрович;

С—и;

Саша;

Фальстаф;

Повествование ведётся от лица заглавной героини (в журнальной редакции стоял подзаголовок – «История одной женщины»). В опубликованной части – рассказ о детстве и отрочестве Неточки. Когда ей было два года, отец умер, мать вторично вышла замуж за музыканта Ефимова. Отчим, талантливый, но спившийся человек, доводит до гибели мать Неточки и погибает сам. Девочка-сирота по счастливой случайности попадает в дом князя Х—го, где обретает любовь, ласку, внимание почти всех домочадцев князя и дружбу его младшей дочери Кати. Однако ж Неточка, с её не по детски развитой душой, замечает, что старшая сестра Кати и падчерица князя, Александра Михайловна, крайне несчастна в своей семейной жизни и вдруг невольно проникает в её сердечную тайну...

* * *

Достоевский начал писать этот роман ещё в декабре 1846 г., сопоставляя новый замысел с «Двойником» («Это будет исповедь, как Голядкин, хотя в другом тоне и роде...» – из письма М. М. Достоевскому, янв.-фев. 1847 г.), но работа над романом затянулась. Из задуманных шести частей было написано три, каждая имела свой вполне законченный сюжет и заглавие – «Детство», «Новая жизнь», «Тайна». Работа над романом была оборвана 23 апреля 1849 г., когда Достоевский был арестован как участник кружка М. В. Петрашевского. Третья часть романа (гл. VI—VII) появилась в майском номере журнала без подписи, когда автор уже находился в Петропавловской крепости. В опубликованном фрагменте романа особенно важна тема, связанная с образом и судьбой Ефимова, и хотя речь идёт о музыканте, здесь много автобиографического, личных переживаний и раздумий писателя о своём творческом пути. Что касается «детской» и «женской» тематики, то в этом отношении «Неточка Незванова» тесно связана с произведениями западных и русских писателей – романами Жорж Санд, «Матильда, или Записки молодой женщины» (1841) Э. Сю (этот роман Достоевский собирался перевести ещё в 1844 г.), «Евгения Гранде» (переведён Достоевским в 1845 г.) О. де Бальзака, «Лавка

древностей» (1841) и «Домби и сын» (1848) Ч. Диккенса, «Кто виноват?» (1847) и «Сорока-воровка» (опубл. – 1848) А. И. Герцена, «Полинька Сакс» (1847) А. В. Дружинина и др.

Судя по последним абзацам опубликованного в ОЗ текста, героиня в дальнейшем должна была покинуть дом князя Х—го, начать самостоятельную жизнь, стать певицей... Однако ж после каторги Достоевский, увлечённый новыми замыслами, отказался от мысли закончить роман и переработал опубликованный фрагмент в повесть о детстве Нечки: убрал ряд эпизодов и действующих лиц, снял деление на части и сделал сквозную нумерацию глав.

Новые повести

Неосущ. замысел, 1872. (XII)

Короткие планы-сюжеты двух повестей. Героем первой должен был стать «чиновник или кто-нибудь» – бесталанный неудачник, помышляющий о самоубийстве, и замысел этот переключается с задуманным несколько месяцев спустя замыслом «Идея». Сюжет второй повести (дети убегают от отчима и скитаются по Петербургу), в свою очередь, тесно связан с замыслом ненаписанного романа под условным названием «*Отцы и дети*».

Об игре Васильева в «Грех да беда на кого не живёт»

Театральная рецензия (неоконч.). «Северный вестник», 1891, № 11. (XX)

Эта неоконченная заметка написана в феврале-марте 1863 г. и посвящена разбору игры известного трагического актёра *П. В. Васильева 2-го* в премьерном спектакле Александринского театра по пьесе *А. Н. Островского* «Грех да беда на кого не живёт», которая была опубликована в журнале «*Время*» (1863, № 1). Достоевский не завершил свой единственный опыт театральной рецензии, вероятно, по двум причинам: в февральском номере «Времени» уже появились статья *А. А. Григорьева* «Русский театр. Современное состояние драматургии и сцены» и письмо в редакцию Н. Косицы (*Н. Н. Страхова*), где о пьесе Островского и об исполнении роли Краснова Васильевым уже шла речь, а вскоре и журнал братьев Достоевских был закрыт.

Образцы чистосердечия

Статья. *Вр*, 1861, № 3, без подписи. (XIX)

Эта статья тесно связана с «*Ответом “Русскому вестнику”*», который появится в майском номере «*Времени*», и посвящена женскому вопросу и творчеству А. С. Пушкина. Весной 1861 г. на одном из благотворительных вечеров в Перми супруга председателя местной Казённой палаты Е. Э. Толмачёва выступила с публичным чтением «Египетских ночей» Пушкина, о чём в восторженных тонах сообщала газета «*Санкт-Петербургские ведомости*» (1861, № 36, 14 фев.). В еженедельнике «Век» её редактор П. И. Вейнберг напечатал под псевдонимом Камень-Виногоров *фельетон*, в котором едко высмеял восторги корреспондента *СпбВед* и саму Толмачёву, представив её новоявленной разнузданной Клеопатрой. Выходка «Века» вызвала волну возмущения в демократических кругах. И в этом Достоевский с ними был солидарен: он даёт суровую отповедь автору «Века», посмевавшему и оскорбить женщину, и совершенно извратить Пушкина.

<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год>

«Сын отечества», «Северная пчела», «Санкт-Петербургские ведомости», «Русский инвалид», «Искра», «Journal de St.-Pétersbourg», «Афиши», 1860, сент., с подписью: М. Достоевский. (XVIII)

Это программное объявление об издании нового *«почвеннического»* журнала было подписано официальным издателем-редактором *«Времени»*, М. М. Достоевским, но текст его «несомненно» принадлежит перу Ф. М. Достоевского, на что указал Н. Н. Страхов. «Объявление» состоит из двух частей. В первой разъяснена позиция журнала по злободневным проблемам и выдвигается главная задача *«почвеннического»* направления – «создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал», и не только соединение, примирение сторонников-последователей реформ Петра I с народным началом, но и примирение в универсальном, всемирном, смысле: «Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, всё враждебное в этих идеях найдет своё примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых...» Мысль эта получит развитие во всём дальнейшем творчестве писателя вплоть до *Пушкинской речи*. Во второй части «Объявления» приведена литературная программа журнала и здесь сразу же было заявлено: «Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов, – несмотря на наше уважение к ним – с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени...» С первых же своих номеров журнал братьев Достоевских подтвердил эту свою заявку-предупреждение – полемика с журналами практически всех направлений заняла центральное место на его страницах. И если *«Современник»* поначалу откликнулся на «Объявление» и первый номер «Времени» доброжелательно, *«Русский вестник»* сдержано, то, к примеру, *«Отечественные записки»* сразу ответили резкой статьёй С. С. Дудышкина «Русская литература и мнения “Времени”» (ОЗ, 1861, № 2). Основные программные положения «Объявления» были вскоре повторены и развиты Достоевским в *«Ряде статей о русской литературе»*.

<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1862 год>

Вр, 1861, № 9, с подписью: Редактор М. Достоевский. (XIX)

Во втором «Объявлении» Достоевский, фактический редактор и ведущий сотрудник «Времени», только вкратце повторяет программные заявления, сделанные в *«Объявлении о подписке на журнал “Время” на 1861 год»*. И на этот раз текст получился явно полемичным, но теперь журнал братьев Достоевских намеревался вести литературную борьбу, главным образом, с изданиями «западнического» толка – *«Современником»*, *«Русским вестником»*, *«Русским словом»*. Журнал *Н. А. Некрасова* на выпады и предупреждения, содержащиеся в «Объявлении» «Времени», ответил резкой статьёй *М. А. Антоновича* «О почве» (С, 1861, № 12). К моменту публикации *«Объявления о подписке на журнал “Время” на 1863 год»* полемика с «Современником» достигнет своего апогея.

<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1863 год>

Вр, 1862, № 9, с подписью: Редактор-издатель *М. Достоевский*. (XX)

Перед началом третьего года издания «*Время*» имело большой читательский успех (тираж более 4300 экз.) и новое «Объявление о подписке» популярного журнала вызвало широкий интерес в публике и у конкурентов. Программную статью «почвеннического» издания широко обсуждали как в стане, по терминологии Достоевского, «теоретиков» («*Современник*», «Русское слово», «*День*»), так и «доктринёров» («*Русский вестник*», «*Отечественные записки*»). Причём *С* и *РСл* сразу не могли ответить журналу братьев Достоевских из-за приостановки на 8 месяцев, но с января 1863 г. первым же делом возобновили полемику со *Вр*, уделив много внимания именно «Объявлению». Особенно серьёзная полемика вокруг него вспыхнула снова уже после публикации заметки Достоевского «*Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов*» (*Вр*, 1863, № 1)

<Объявление об издании журнала «Эпоха» после кончины М. М. Достоевского>

Э, 1864, № 6, без подписи. (XX)

В этом кратком «Объявлении» подписчики журнала уведомляются, что издание будет продолжено, ответственным редактором после смерти *М. М. Достоевского* назначен *А. У. Порецкий*, опаздывающие номера будут выпущены и направление журнала останется прежним.

<Объяснения и показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев>

1849. (XVIII)

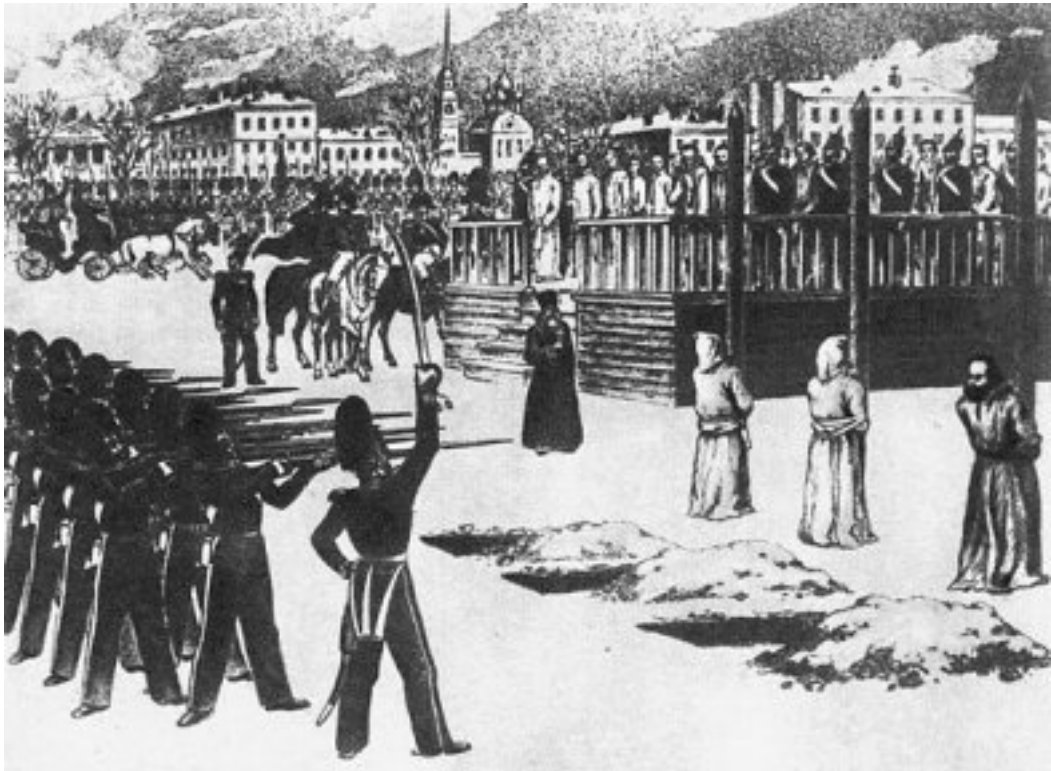
С весны 1846 г. Достоевский начал посещать «пятницы» *М. В. Буташевича-Петрашевского*, на которых обсуждались «новые идеи», вопросы переустройства мира, кипели бурные политические дискуссии. Со временем писатель стал участником ещё более законспирированных и более радикальных кружков-фракций внутри *петрашевцев* – *С. Ф. Дурова* и *Н. А. Спешнева*. 23 апреля 1849 г. по доносу осведомителя *П. Д. Антонелли* Достоевский вместе с другими петрашевцами был арестован и провёл под следствием в Алексеевском равелине Петропавловской крепости восемь месяцев. Приговором *Военно-ссудной комиссии* он был приговорён к смертной казни «расстрелянием». Впоследствии *генерал-аудиториат*, а затем и *Николай I* смягчили приговор Военно-ссудной комиссии. Но 22 декабря 1849 г. на Семёновском плацу Достоевский прошёл-испытал весь обряд приготовления к казни (он будет не раз вспоминать об этих страшных минутах – в «*Идиоте*», «*Дневнике писателя*», частных разговорах), в последний момент услышал указ о помиловании и окончательный приговор: 4 года каторги и затем – служба рядовым. Каторгу писатель отбывал в *Омском* остроге, военную службу – в *Семипалатинске*. Опубликованные в *ПСС* материалы следствия включают в себя собственно рукописное Достоевским «Объяснение», протоколы допросов, мемуарную запись писателя с подробностями ареста в альбом *О. А. Милоковой* и фрагменты-выписки из официальных документов следственной комиссии. Как видно из материалов, Достоевский на следствии держался очень осторожно и достойно, стремясь не повредить товарищам по несчастью, пытаясь всячески принизить значение собраний Петрашевского, представить их обычными вечерами разговоров на отвлечённые, сугубо теоретические темы. Вместе с тем, отвергая все и всяческие обвинения себя и сотоварищей в посягательстве на устои самодержавной России, в тайных революционных намерениях, писатель не скрывал на допросах суть своих воззрений по самым острым вопросам, например, об учении *Ш. Фурье*, которым были увлечены петрашевцы: «Фурьеризм – система мирная; она очаровывает душу своею изящностью <...> в системе этой нет ненавистей. Реформы политической фурьеризм не полагает; его реформа – экономическая <...> как ни изящна она, она всё же утопия, самая несбыточная. <...> Фурьеризм вреда нанести не может серьёзного...» Одним словом, ничего нет опасного и преступного в обсуждении фурьеризма... Интересно, что перед господами из Комиссии Достоевский отстаивал даже и право писателя на свободу, обличая непомерный гнёт цензуры: «Уже не могут существовать при строгости нынешней цензуры такие писатели, как Грибоедов, Фонвизин и даже Пушкин. <...> Цензор во всём видит намёк, заподозревает, нет ли тут какой личности, нет ли желчи, не намекает ли писатель на чьё-либо лицо и на какой-нибудь порядок вещей. В самой невиннейшей, чистейшей фразе подозревается преступнейшая мысль <...> Точно как будто скрывая порок и мрачную сторону жизни, скроешь от читателя, что есть на свете порок и мрачная сторона жизни. Нет, автор не скроет этой мрачной стороны, систематически опуская её перед читателем, а только заподозрит себя перед ним в неискренности, в неправдивости. <...> О свете мы имеем понятие только потому, что есть тень...»



Алексеевский рavelин Петропавловской крепости.

Через много лет, уже будучи известным писателем, автором *«Преступления и наказания»*, *«Идиота»*, *«Бесов»*, Достоевский в главе ДП за 1873 г. *«Одна из современных фальшей»*, отвергая наветы, что он (как раз в *«Бесах»*) предал будто бы идеалы юности, с глубоким убеждением и вполне понятной гордостью вспоминал-писал: *«“Монстров” и “мошенников” между нами, петрашевцами, не было ни одного (из стоявших ли на эшафоте, или из тех, которые остались нетронутыми, – это всё равно). Не думаю, чтобы кто-нибудь стал опровергать это заявление моё. Что были из нас люди образованные – против этого, как я уже заметил, тоже, вероятно, не будут спорить. Но бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. <...> Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Это дело давнопрошедшее, а потому, может быть, и возможен будет вопрос: неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной натуры, делом недоразвитков и буянов? Нет, мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстрелянием, прочтённый нам всем предварительно, прочтён был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную ещё жизнь, может быть, и раскаивались в иных тяжёлых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга. Нет, нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения*

и сердца наши <...>. Это нечто другое было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастье, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнён и даже приравнен к самой низшей ступени его...»



Обряд казни на Семёновском плацу. Художник Б. Покровский.

Одна мысль (поэма)

Тема под названием «император». (IX) Неосущ. замысел, 1867. (IX)

Набросок «поэмы» сделан среди подготовительных записей к *«Идиоту»*. В основе сюжета – жизнь героя, который почти до 20 лет воспитывается в темнице и, впервые столкнувшись с людьми, познав человеческие страсти, умирает... Основным источником исторических сведений для сюжета поэмы «Император», вероятнее всего, послужила статья М. И. Семевского «Иоанн VI Антонович. 1740—1764 гг. Очерк из русской истории» (ОЗ, 1866, № 4). Видимо, не случайно Достоевский, неудовлетворённый образом гордого и страстного героя «Идиота», каким он складывался в первых редакциях романа, набросал среди черновых вариантов замысел сюжета о кротком герое-царе – как бы историческом прообразе князя Мышкина.

<Описывать всё сплошь одних попов...>

Эпиграмма, 1874. (XVII)

Эта эпиграмма-четверостишие на *Н. С. Лескова* написана в период полемических отношений между писателями (см. «*Смятенный вид*» и «*Ряженный*»). В ней обыгрывается («Теперь ты пишешь в захудалом роде...») заглавие лесковского романа «Захудалый род. Хроника князей Протозановых...» (1874).

Опять «Молодое перо»

Ответ на статью «Современника» «Тревоги “Времени”» («Современник», март, № 3). Статья. *Вр*, 1863, № 3, без подписи. (XX)

Данное остро полемичное по тону выступление «Времени» является очередным ответом на очередной выпад «Современника» и стоит в одном ряду с другими статьями Достоевского, направленными конкретно против *М. Е. Салтыкова-Щедрина* – «Молодое перо», «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», «Необходимое заявление...», «Чтобы кончить». На этот раз Достоевского особенно задело то, что Щедрин успех «Времени» объяснил восьмимесячной приостановкой «Современника» в 1862 г. В ответ на попытки полной дискредитации своего журнала фактический редактор «Времени» использовал весь свой талант памфлетиста, дабы, в свою очередь, дискредитировать и «Современник», и Салтыкова-Щедрина как сатирика, причисляя его к «свистунам, свистящим из хлеба». Но главное, чего добивался Достоевский, – ещё раз убедительно заявить самостоятельность и прогрессивность «Времени», отличающегося как от реакционных и либеральных, так и от революционно-демократических изданий.

Ответ редакции «Времени» на нападение «Московских ведомостей»

Собр. соч. 1883 г., т. I (в тексте воспоминаний *Н. Н. Страхова*, засвидетельствовавшего здесь же авторство Достоевского), с подписью: Редакция «Времени». (XX)

В апрельской книжке «*Времени*» за 1863 г. была помещена (за подписью: Русский) статья Н. Н. Страхова «Роковой вопрос» по поводу польского восстания. В газете *М. Н. Каткова* «*Московские ведомости*» (1863, № 109, 22 мая) тут же появился донос «По поводу статьи “Роковой вопрос” в журнале “Время”», подписанный сотрудником катковских изданий К. А. Петерсоном, в котором издатели *Вр* обвинялись в том, что, опубликовав эту «антипатриотическую» статью анонимно, в качестве редакционной, они как бы солидаризировались с её автором и уподобились «бандитам», которые «наносят удары с маской на лице»... Достоевский сразу понял угрозу, нависшую над журналом, и срочно написал «Ответ», который для оперативности направил в газету «*Санкт-Петербургские ведомости*». Статья в газете была набрана, но цензор, уже знавший о неблагоприятной реакции на «Роковой вопрос» в правительственных кругах, не пропустил её, а 24 мая 1863 г. по «высочайшему повелению» журнал «Время» был закрыт. В «Ответе» Достоевский пытался объяснить, что Петерсон понял «Роковой вопрос» совершенно превратно, что она как раз насквозь патриотична и обвинил автора «Московских ведомостей» и само издание в доноситељстве. О «Роковом вопросе» Достоевский позже, в письме *И. С. Тургеневу* (17 июня 1863 г.), напишет: «Мысль статьи <...> была такая: что поляки до того презирают нас как варваров, до того горды перед нами своей европейской цивилизацией, что нравственно (то есть самого прочного) примирения их с нами на долгое время почти не предвидится...»

Ответ «Русскому вестнику»

Статья. *Вр*, 1861, № 5, без подписи. (XIX)

Это – вторая статья (после «*Образцов чистосердечия*»), в которой Достоевский продолжил дискуссию (теперь уже напрямую с «*Русским вестником*») о женском вопросе и «Египетских ночах» А. С. Пушкина, поводом для которой послужил фельетон П. И. Вейнберга (под псевдонимом Камень-Виногоров) в редактируемом им еженедельнике «Век» (1861, № 8, 22 фев.)

Большое место здесь занимает художественный анализ «Египетских ночей», Достоевский ещё раз, как бы продолжая развивать тезисы ещё одной своей статьи – «*“Свисток” и “Русский вестник”*» – опровергает утверждение М. Н. Каткова о недостаточной будто бы глубине пушкинского творчества.

Ответ «Свистуну»

См. Журнальные заметки.

Отцы и дети

Неосущ. замысел, 1876. (XVII)

Записи к этому роману опять с «чужим» названием (см. «*Борис Годунов*») появились в записной тетради среди материалов к мартовскому выпуску «*Дневника писателя*». Не случайно название (конечно, – условное, предварительное) перекликается с известным произведением *И. С. Тургенева*: две главные темы тургеневского романа «Отцы и дети» (1862) – «нигилизм» и столкновение-спор «отцов» и «детей» – уже в те годы тоже крайне интересовали Достоевского. В «*Преступлении и наказании*», «*Идиоте*», «*Вечном муже*» и особенно «*Подростке*» писатель уже в какой-то мере касался этих тем, а в январском выпуске *ДП* за 1876 г. сообщил читателям: «Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. <...> я возьму отцов и детей по возможности из всех слоёв общества и прослежу за детьми с их самого первого детства.<...> А пока я написал лишь “Подростка” – эту первую пробу моей мысли...» Роман «Отцы и дети» Достоевский так и не написал, но основные коллизии плана-замысла в какой-то мере воплотились впоследствии в романе «*Братья Карамазовы*».

Петербургская летопись

Фельетоны. СПбВед, 1847, № 93, 27 апр.; № 104, 11 мая; № 121, 1 июня; № 133, 15 июня, с подписью: Ф. Д.; а также № 81, 13 апр. (коллективное), с подписью: Н. Н. (XVIII)

Под фельетоном в середине XIX в. понимался «отдел рассказней в газете» (В. И. Даль). По сути, тогдашний фельетон – это синтез репортажа, обозрения и эссе «обо всём и ни о чём», рассуждения на злобу дня, зарисовки городской жизни с элементами *физиологического очерка*. В «Санкт-Петербургских ведомостях» воскресный фельетон имел постоянное название «Петербургская летопись», и в этом разделе печатались поочерёдно несколько авторов. Очередной фельетон в номере от 13 апреля 1847 г. сопровождался примечанием, что из-за внезапной кончины постоянного фельетониста Э. И. Губера редакция вынуждена была обратиться к «одному из наших молодых литераторов». Им, по мнению исследователей, был – А. Н. Плещеев, который привлёк к соавторству своего товарища, тоже «молодого литератора» Достоевского, уже широко известного к тому времени после публикации «Бедных людей» и «Двойника». А уже следующий фельетон, в номере *СПбВед* от 27 апреля, и ещё три Достоевский написал самостоятельно и подписал своими инициалами. Главная тема фельетонов Достоевского – Петербург; сквозной герой-рассказчик – «фланёр-мечтатель». Размышления «фланёра-мечтателя» о Петербурге, его роли в истории России, типологии жителей столицы перемежаются бытовыми зарисовками, уличными сценками, набросками характеров. Всё это послужило своеобразными эскизами к произведениям, которые писатель уже вскоре создаст – «Слабое сердце», «Белые ночи», «Неточка Незванова» и др. А, к примеру, сластолюбивый Юлиан Мастакович не только целиком «перейдёт» из «Летописи» в повесть «Слабое сердце» и рассказ «Ёлка и свадьба», но и отразится, в какой-то мере, в образах таких героев поздних произведений Достоевского, как Трусоцкий в «Вечном муже» и Свидригайлов в «Преступлении и наказании». Опыт фельетониста впоследствии пригодился как Достоевскому-журналисту («Петербургские сновидения в стихах и прозе»), так и Достоевскому-художнику, в романах которого фельетонность играла такую значительную роль.

Петербургские сновидения в стихах и прозе

Фельетон. *Вр*, 1861, № 1, без подписи. (XIX)

Достоевский, начиная вместе с братом *М. М. Достоевским* издание «*Времени*», очень большое значение придавал литературному фельетону. Для первого номера такой фельетон написал поэт-сатирик *Д. Д. Минаев*. Однако уже после прохождения номера через цензуру, перед самым выходом журнала в свет, Достоевский заменил фельетон Минаева на свои «Петербургские сновидения», оставив в тексте лишь его стихотворные фрагменты. Скорее всего, фактического редактора «Времени» не удовлетворили и художественный уровень минаевского фельетона, и его идеологическая направленность. В композиционном плане «Петербургские сновидения» близки «*Петербургской летописи*»: в центре внимания – личность фельетониста-рассказчика, «мечтателя и фантазёра», его переживания, мнения. Юмористическое и эксцентричное в начале повествование сменяется полными лиризма автобиографическими воспоминаниями о петербургской юности писателя. Очень важен для понимания творческого кредо Достоевского его взгляд на роль и задачи фельетониста, сформулированный в «Петербургских сновидениях»: «А знаете ли, что такое иногда фельетонист (разумеется, иногда, а не всегда)? Мальчик, едва оперившийся, едва доучившийся, а часто и не учившийся, которому кажется, что так легко писать фельетон: “Он без плана, думает он, это не повесть, пиши о чем хочешь <...>!” Иному современному строчиле (вольный перевод слова “фельетонист”) и в голову не приходит, что без жара, без смысла, без идеи, без охоты – всё будет рутиной и повторением, повторением и рутиной. Ему и в голову не приходит, что фельетон в наш век – это... это почти главное дело. Вольтер всю жизнь писал только одни фельетоны...» В свете этого суждения дополнительный смысл получают многочисленные иронические и пародийные упоминания в «Петербургских сновидениях» фельетонов Нового Поэта (*И. И. Панаева*) в «*Современнике*». Судя по финалу, Достоевский собирался продолжить фельетон в следующих номерах журнала, но это намерение не осуществилось.

План для рассказа (в «Зарю»)

Неосущ. замысел, 1869. (IX)

После завершения работы над *«Идиотом»*, Достоевский, живший в то время за границей, через *Н. Н. Страхова* предложил журналу *«Заря»* своё новое будущее произведение, «повесть, т. е. роман» размером с *«Бедных людей»*, но затем, когда выяснилось, что аванс редакция заплатить не в силах, писатель взамен согласился написать для «Зари» рассказ «весьма небольшой, листа в 2 печатных». В это время и появился в рабочей тетради данный план, начинавшийся весьма красноречиво: «Рассказ вроде пушкинского (краткий и без объяснений, психологически откровенный и простодушный)...» В конце концов для «Зари» Достоевским был написан *«Вечный муж»*, а некоторые коллизии данного «Плана для рассказа» (любовная история хроменькой девочки, пощёчина без ответа, дуэль без выстрела...) воплотились, в какой-то мере, в романе *«Бесы»*.

Повесть об уничтоженных канцеляриях

Неосущ. замысел, 1846. (XXVIII₁).

Повесть под таким названием, как и «*Сбритые бакенбарды*», Достоевский собирался написать для альманаха «*Левиафан*», затеваемого В. Г. Белинским. Замысел частично был использован вскоре при создании повести «*Господин Прохарчин*».

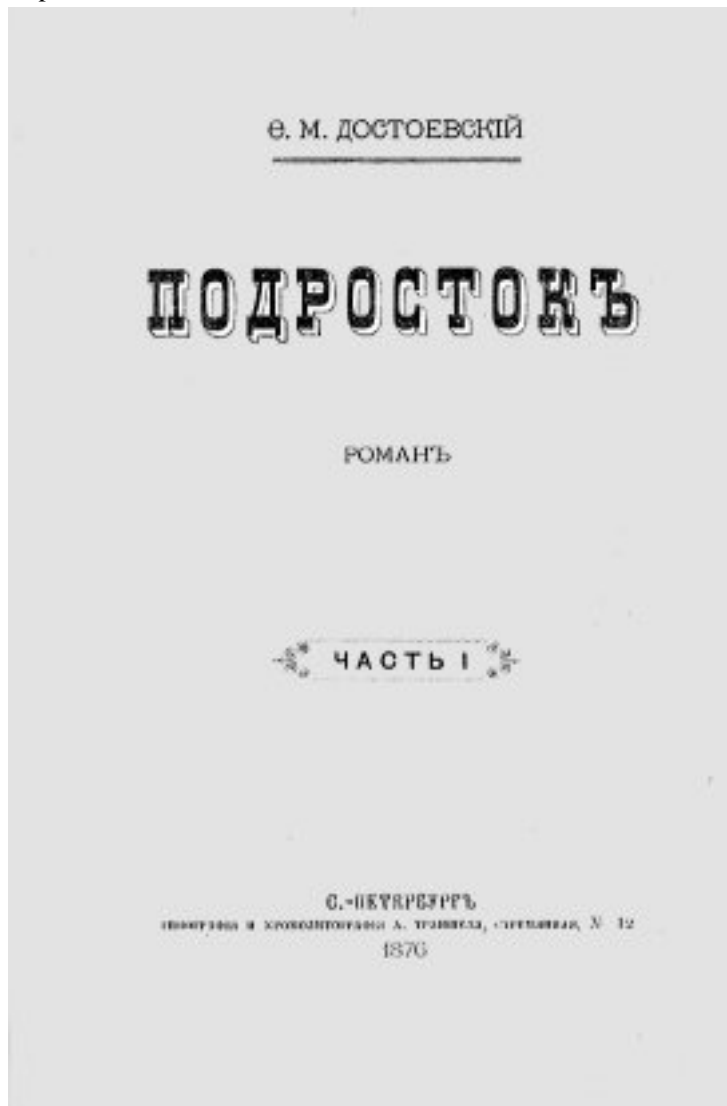
Подросток

Роман. ОЗ, 1875, № 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12. (XIII, XVI, XVII)

Основные персонажи:

Александр Семёнович;
Андреев Николай Семёнович;
Андроников Алексей Никанорович;
Арина;
Афердов;
Ахмаков;
Ахмакова Катерина Николаевна;
Ахмакова Лидия;
Барон Р.;
Бьоринг (барон Бьоринг);
Васин Григорий;
Вердён Альфонсина Карловна, де (Альфонсинка);
Версилов Андрей Петрович;
Версилова Анна Андреевна;
Версилов-младший;
Дарзан Алексей Владимирович;
Дарья Онисимовна (Настасья Егоровна);
Дергачёв;
Долгорукая Елизавета Макаровна;
Долгорукая Софья Андреевна;
Долгорукий Аркадий Макарович (Подросток);
Долгорукий Макар Иванович;
Зверев Ефим;
Зерициков;
Крафт;
Кудрюмов;
Ламберт;
Мальчик-самоубийца;
Марья Ивановна;
Марья;
Матвей;
Нащокин Ипполит Александрович;
Николай Семёнович;
Олимпиада;
Оля;
Остров;
Пётр Ипполитович;
Пётр Степанович;
Пруtkова Татьяна Павловна;
Семён Сидорович (Рябой);
Скотобойников Максим Иванович;
Сокольский Николай Иванович (князь Сокольский);
Сокольский Сергей Петрович (князь Серёжа);

*Стебельков;
Студент;
Тихомиров;
Тришатов;
Тушар;
Червяков.*



Роман состоит из 3-х частей, по форме это – записки-воспоминания заглавного героя Аркадия Долгорукого о событиях годичной давности, когда он был ещё 19-летним «подростком». Тогда он приехал из Москвы, где учился в частном пансионе, в Петербург, где жили его мать, сестра и настоящий отец дворянин Андрей Петрович Версилов («юридическим» отцом Аркадия считался бывший дворовый Версилова – крестьянин Макар Долгорукий). Приехал же Подросток в столицу не просто для того, чтобы воссоединиться с семьёй, но для осуществления своей «идеи», которая должна была вознести его над миром, сделать могущественным человеком, тайным властелином всего и вся. Его идея – «стать Ротшильдом», то есть путём «упорства и непрерывности» разбогатеть как миллионщик Ротшильд, ибо «деньги – это единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество». Но при этом, став миллионщиком, оставаться внешне почти нищим, жить тихо, уединённо, отгородившись своим миллионом от всего мира – вот в чём суть идеи Подростка: внутреннее могущество при внешнем смирении... Однако ж в Петербурге уже вскоре «идея» Аркадия терпит крах, как указано автором в подготовительных материалах, «от многих причин, а именно: 1) от столкновения с

людьми и от того, что не утерпел и обнаружил идею: *стыд за неё*; 2) социализм пошатнул верование: хочет и идею и остаться благородным; 3) свысока отношение ЕГО [Версилова] к идее <...> 4) столкновение с жизнью, сластолюбие, честолюбие, не своё общество <...> Всё рушится через обиды, которые вновь возвращают его к своей идее, но уже не теоретически, а взаправду, озлобленного и желающего отомстить <...> 5) отношение к Княгине [Ахмаковой], честолюбие, страсть и заговор <...> Но на заговор он решился отнюдь не из идеи, а из страсти; 6) Макар Иванов и те (Мать и сестра. – *Н. Н.*)...» Да, Подросток оказывается втянут буквально во все и всяческие взаимоотношения и столкновения остальных героев романа. Версиров переживает перипетии поздней любви к Катерине Николаевне Ахмаковой, и Аркадий оказывается замешан в самую сердцевину этих запутанных трагических отношений... Свой сложный роман развивается у сестры Лизы с князем Серёжей – и здесь Подросток оказывается вовлечённым в самую гущу событий... Как раз в это время возникает и действует в столице Российской империи тайный кружок нигилистов-заговорщиков Дергачёва – и с ним Аркадий Долгорукий умудряется связаться, чуть совсем не погубив свою будущность, а, может, и жизнь... Ну и, разумеется, первую и безответную страсть-любовь к недостижимой красавице предстояло испытать юному герою именно в этот период... Но, конечно, самое главное жизненное приключение, какое он пережил за этот год – трудный переход-путешествие из мира детства, отрочества во взрослую жизнь, из подростков в юноши...

* * *

«Подросток» был написан в период с февраля 1874 по ноябрь 1875 г. Создавался он после «антинигилистических» *«Бесов»* и редактирования «реакционного» *«Гражданина»*, так что кажется совершенно невероятным появление нового романа Достоевского на страницах демократических *«Отечественных записок»*. Сделано это было по предложению одного из руководителей журнала *Н. А. Некрасова*, высоко ценившего талант Достоевского с юности. Писатель, у которого перед этим во время публикации *«Бесов»* возникали с издателем *«Русского вестника»* *М. Н. Катковым* серьёзные разногласия (тот отказался печатать главу *«У Тихона»*), с охотой согласился. Но характерно в этом плане признание-утверждение из его письма к жене, *А. Г. Достоевской*, от 20 декабря 1874 г.: «Некрасов вполне может меня стеснить, если будет что-нибудь против их направления: он знает, что в “Р<усском> вестнике” теперь (т. е., на будущий год) меня не возьмут, так как “Русский вестник” завален романами. Но хоть бы нам этот год пришлось милостыню просить, я не уступлю в направлении ни строчки!..» И это заявил человек, знающий, можно сказать, в буквальном смысле, что значит – просить милостыню (стоит вспомнить только его отчаянные письма-мольбы из-за границы о денежной помощи к таким, например, людям, как *И. С. Тургенев*). Большую роль в подготовке замысла и создания «Подростка» сыграл *«Дневник писателя»* 1873 г., в котором Достоевский исследовал вопросы текущей действительности, уяснял для себя и читателей «капитальные вопросы» дня. В этом плане особый интерес представляет глава «Одна из современных фальшей», где он писал об особой трудности познания «добра» и «зла» для представителей тех русских семейств, в которых разрыв с народом «преемствен и наследствен ещё с отцов и дедов...» Замысел романа о «детстве», «отрочестве» и «юности» героя корнями уходит в неосуществлённый замысел *«Житие великого грешника»* (1869—1870), недаром в черновиках намечался подзаголовок к роману – «Исповедь великого грешника, писанная для себя». Важен для понимания «Подростка» и другой неосуществлённый замысел, возникший позже – *«Отцы и дети»* (1876). Сам автор в январском выпуске *ДП* за 1876 г. пояснял: «Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. <...> Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для “Отечественных записок”, я чуть было не начал

тогда моих “Отцов и детей”, но удержался, и слава Богу: я был не готов. А пока я написал лишь “Подростка” – эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни. Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и “случайность” свою и тою широкостью, с которою ещё целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своём <...> Всё это выкидыши общества, “случайные” члены “случайных” семей...» Для понимания замысла и воплощения «Подростка» чрезвычайно важны и две записи в черновых материалах: 1) «Нет у нас в России ни одной руководящей идеи...»; 2) «ГЛАВНАЯ ИДЕЯ. Подросток хотя и приезжает (в Петербург. – Н. Н.) с готовой идеей, но вся мысль романа та, что он ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе, этого жаждет он, ищет чутьём, и в этом цель романа...»

Поначалу Достоевский главным героем хотел сделать Версилова, но акцент повествования сместился на образ Подростка, на «детей» после того, как бывший петрашевец и автор «Бесов» познакомился в прессе с материалами процесса над членами революционно-народнического кружка А. В. Долгушина, который проходил в Сенате с 9 по 15 июля 1875 г. Кружок Дергачёва в романе, общение с его участниками (прообразами которых послужили долгушинцы), особенно с Васиным и Крафтом, сыграли большую роль в поисках Аркадием «руководящей идеи».

«Подросток» – это роман-исповедь. И – самая крупная и сложная по сюжету исповедь в мире Достоевского. Если, к примеру, «Записки из подполья» «писал» уже сложившийся, потерявший во многое веру и отчаявшийся герой-автор, и вследствие этого читателю приходится сквозь словеса его «сверхисповеди», под напускной шелухой самонаговоров угадывать его истинную сущность, то Подросток в своём дневнике перед читателем, как на ладони. Даже в стиле (Достоевский долго искал «тон» этих записок, добиваясь того, чтобы буквально был слышен молодой, ещё ломкий голос формирующейся на наших глазах личности Аркадия Долгорукого) проявляются возраст и характер Подростка. Как и многие авторы-герои Достоевского, он горячо отрекается от звания литератора, потому что творчество для него – не лестница к славе и не средство наживы, нет, такие люди по самой своей богатой творческой натуре хотя бы раз в жизни не могут не выплеснуть свои чувства и мысли в литературной «автобиографии», не исповедаться хотя бы на бумаге. В соответствии со своим возрастом Подросток начинает записки с броского максималистского афоризма: «Надо быть слишком подло влюблённым в себя, чтобы писать без стыда о самом себе...» Себя он оправдывает тем, что пишет в первый и последний раз в жизни. Поставив перед собою творческую задачу – обнажить полностью свою душу в момент её формирования, Аркадий подводит под это прочный теоретический фундамент: «Сделаю предисловие: читатель, может быть, ужаснётся откровенности моей исповеди и простодушно спросит себя: как это не краснел сочинитель? Отвечу, я пишу не для издания; читателя же, вероятно, буду иметь разве через десять лет <...>. А потому, если я иногда обращаюсь в записках к читателю, то это только приём. Мой читатель – лицо фантастическое...» Не верить этому заявлению нельзя (как и аналогичному *Подпольного человека*), без такой внутренней установки, конечно же, никогда бы не получилось и не могло получиться полной откровенности. Принцип откровенности в творчестве был одним из краеугольных у самого Достоевского. Характерно в этом плане заявление Подростка-писателя: «Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное, от литературных красот, литератор пишет тридцать лет и в конце совсем не знает, для чего он писал столько лет. Я – не литератор, литератором быть не хочу и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почёл бы неприличием и подлостью...» Здесь чрезвычайно знаменательно упоминание о тридцати годах: во время работы над «Подростком» у Достоевского за плечами были как раз эти тридцать лет творческой деятельности и в пись-

мах, «Дневнике писателя» того периода у него не раз проскальзывали мысли, выражающие сомнение в могуществе литературы, в значимости всего им сделанного...



Страница черновика романа «Подросток».

Критика на «Подростка» была неоднозначной. Ещё в период печатания романа появились развёрнутые отзывы В. Г. Авсеенко в «Русском мире» (1875, № 27, 55), А. М. Скабичевского в «Биржевых ведомостях» (1875, № 35), Вс. С. Соловьёва в «С.-Петербургских ведомостях» (1875, № 32, 58), П. Н. Ткачёва в «Деле» (1876, № 4—8) и ряд других, но они совершенно не удовлетворили Достоевского – ему было ясно, что его опять не понимают. Продолжая работать над романом, он заносит для памяти в записную книжку: «В финале Подросток: “Я давал читать мои записки одному человеку, и вот что он сказал мне” (и тут привести мнение автора, то есть моё собственное)...» Что это за мнение? От имени своего героя, Николая Семёновича, Достоевский, намекая, в первую очередь, на Л. Н. Толстого, с выстраданной убеждённоностью констатирует: «Если бы я был русским романистом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя. <...> Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства!

Работа неблагоприятная и без красивых форм. Да и типы эти, во всяком случае – ещё дело текущее, а потому и не могут быть художественно законченными. Возможны важные ошибки,

возможны преувеличения, недосмотры. Во всяком случае, предстояло бы слишком много угадывать. Но что делать, однако ж, писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему? Угадывать и... ошибаться...»

Но, несмотря на это «самооправдание» Достоевского, упрёки современников в искажении действительности и т. п. в его адрес продолжали раздаваться. Каково же было Достоевскому сознавать это непонимание при твёрдой уверенности в правильности своего литературного пути, творческого метода! У него невольно прорывались, может быть, не совсем скромные (и то на взгляд обывателя!) восклицания вроде следующего (в главе «Ряженый» из ДП, 1873 г.): «Но я всё-таки выскажу, что только гениальный писатель или уж очень сильный талант угадывает тип *современно* и подаёт его *своевременно*; а ординарность только следует по его пятам, более или менее рабски, и работая по заготовленным уже шаблонам...»

Наиболее интересные и точные суждения о «Подростке» содержались в цикле очерков «Вперемежку» Н. К. Михайловского, которые начали публиковаться в «Отечественных записках» с января 1876 г.

Пожар в селе Измайлове

Статья. *Гр*, 1873, № 24, 11 июня, без подписи. (XXI)

В «*Московских ведомостях*» (1873, № 134, 1 июня) появилось сообщение о большом пожаре в подмосковном селе Измайлове. Достоевского в заметке привлекли «особые обстоятельства», сообщённые корреспондентом – пожар нечем оказалось тушить, так как крестьяне пропили в кабаках все ломы, топоры и вёдра... Отталкиваясь от этого и других подобных сообщений, редактор «*Гражданина*» продолжил разговор на злободневную тему, поднятую им незадолго до того в «*Дневнике писателя*» («*Мечты и грёзы*») и которая остро интересовала его всегда (см. «*Пьяненькие*») – повсеместное пьянство на Руси, «спаивание народа».

Ползунков

Рассказ. «Иллюстрированный альманах, изданный И. Панаевым и Н. Некрасовым», 1848.
(II)

Основные персонажи:

Марья Федосеевна;

Марья Фоминишна;

Ползунков Осип Михайлович;

Федосей Николаевич.

Чиновник Ползунков в кругу своих сослуживцев вспоминает горький анекдот, случившийся с ним в прежней канцелярии за 6 лет до того: подшантажировал он своего начальника Федосея Николаевича (было за что!) и получил с него мзду-взятку. Однако ж Федосей Николаевич приманил его своей дочкой-невестой, обещанием приданного, обкрутил, объегорил, свои деньги назад выманил, да и ещё и со службы Ползункова «по собственному желанию» выгнал, ибо тот имел глупость в качестве первоапрельской шутки написать собственноручно будущему тестю прошение об отставке...

* * *

Рассказ написан в 1847 г. специально для альманаха, задуманного *Н. А. Некрасовым* как приложение к «*Современнику*». В письмах и объявлениях об издании «Иллюстрированного альманаха» произведение Достоевского упоминалось под названиями «*Рассказ Плисмьелькова*» и «*Шут*». После прохождения корректуры через цензуру альманах был отпечатан в нескольких экземплярах с рассказом Достоевского уже под заглавием «Ползунков», но в сентябре 1848 г. повторная цензура, ожесточившаяся после революционных событий во Франции, запретила альманах. После хлопот *И. И. Панаева* редакции «Современника» разрешили издать другой сборник-приложение, куда был допущен и «Ползунков», но рассказ Достоевского в «Литературный сборник» не попал, вероятно, из-за расхождения писателя с кругом *С.*

«Ползунков» стоит в одном ряду с другими ранними произведениями Достоевского – «*Бедные люди*», «*Двойник*», «*Господин Прохарчин*» и по жанру близок к *физиологическому очерку* из петербургской жизни. В «Иллюстрированном альманахе» рассказ Достоевского был украшен тремя рисунками *П. А. Федотова* (1815—1852), что, вероятно, послужило впоследствии рождению сплетни в литературных кругах о том, будто молодой Достоевский, возмнив себя гением, требовал выделять при публикации свои произведения «каймай» (см. *П. А. Анненков*).

По поводу элегической заметки «Русского вестника»

Статья. *Вр*, 1861, № 10, без подписи. (XIX)

Это – очередная отповедь *М. Н. Каткову* в ответ на его новые выпады против журнала братьев Достоевских, содержащихся в «Заметке для журнала “Время”» и «Элегической заметке» (*РВ*, 1861, № 7 и № 8). Катков же, в свою очередь, полемизировал в них с прежними статьями Достоевского – «*Свисток*» и «*Русский вестник*», «*Ответ “Русскому вестнику”*», «*Литературная истерика*». Достоевский-публицист этого периода – периода полемики с катковским «Русским вестником» – во многом солидарен с представителями демократического лагеря, в частности, с *Н. Г. Чернышевским*, о котором идёт речь в статье. Заканчивает же Достоевский напоминанием, что уже ранее («*Книжность и грамотность*») предрекал *М. Н. Каткову* повторение в русской журналистике неблагоприятного пути *Ф. В. Булгарина* (1789—1859): «Да, “Русский вестник”, мы уже вам пророчили прежде, что вы рано ли, поздно ли поворотите на одну дорожку. Дорожка эта торная, гладкая. Вероятно, найдёте и товарищей... Счастливый путь! И весело, и выгодно! Останавливать не будем!»

Попрошайка

Рассказ. Гр, 1873, № 39, без подписи. (XXI)

Основные персонажи:

NN (Иван NN, генерал NN);

С. Павел Михайлович.

Некий Д. рассказывает историю о некоем уже покойном Павле Михайловиче С., который имел дар выпрашивания. Этому Д. понадобилось получить от генерала NN, который славился своей неприступностью, рекомендательное письмо для своего родственника, и Павел Михайлович по его просьбе с этой задачей блистательно справляется – выпрашивает рекомендацию в считанные полчаса. Его дар попрошайки зиждется на даре психолога: он разгадал сущность генерала-скряги и сыграл на этом, сделав поначалу вид, будто пришёл просить у того взаймы значительную сумму...

Этот малоизвестный рассказ Достоевского, написанный им в период работы редактором «Гражданина», напоминает анекдотичностью сюжета ранние произведения писателя («Ползунков», «Роман в девяти письмах»). Авторство установлено на основании стилистического анализа и гонорарной ведомости.

Последние литературные явления. Газета «День»

Статья V из цикла *«Ряд статей о русской литературе»*. Вр, 1861, № 11, без подписи. (XIX)

В предыдущих статьях цикла определилось отношение «почвеннического» журнала братьев Достоевских к либеральным и демократическим изданиям – «*Отечественным запискам*», «*Современнику*», «*Русскому вестнику*». В данной, заключительной, статье «выясняются отношения» со славянофилами. Газета «День», орган славянофильства, начала выходить в Москве с 15 октября 1861 г. (издатель-редактор *И. С. Аксаков*). Первые же номера разочаровали Достоевского, и он довольно резко высказал своё разочарование. А не устраивали его во взглядах славянофилов, ярко выраженных на страницах первых номеров своей газеты, – догматичность, неумение и нежелание считаться с духом времени, категоричность суждений, полное отрицание всего, что было после Петра I. Достоевский же считал, что *западничество* не менее русское явление, чем славянофильство. Совершенно не удовлетворили редактора «*Времени*» и «литературные вопросы» в славянофильской газете – оторванные от живой жизни, далёкие от подлинного реализма, высокомерные по тону. «Да что ж вы-то делали, К. Аксаков? а не вы, так все ваши славянофилы? Читаешь иные ваши мнения и, наконец, поневоле придёшь к заключению, что вы решительно в стороне себя поставили, смотрите на нас как на чуждое племя, точно с луны к нам приехали, точно не в нашем царстве живете, не в наши годы, не ту же жизнь переживаете! Точно опыты над кем-то делаете, в микроскоп кого-то рассматриваете. Да ведь это ваша же литература, ваша, русская? Что же вы свысока-то на неё смотрите, как козявку её разбираете? Да ведь вы сами литераторы, господа славянофилы. Ведь вы хвалитесь же знанием народа, ну и представьте нам сами ваши идеалы, ваши образы...» В дальнейшем Достоевский продолжил на страницах «Времени» полемику с газетой «День» в статьях «*Славянофилы, черногогорцы и западники*», «*Два лагеря теоретиков*», «*О новых литературных органах и о новых теориях*».

<Предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»>

Вр, 1862, № 9, под названием «Предисловие от редакции» и без подписи. (XX)

В 1862 г. вышел из печати новый роман *В. Гюго* «Отверженные», имевший необычайный успех. На волне этого успеха журнал «*Время*» решил опубликовать впервые полный перевод романа «Собор Парижской Богоматери», написанный за 30 лет до того (1831). Достоевский, предваряя перевод Ю. П. Померанцевой кратким предисловием, счёл нужным пояснить-подсказать читателям, что ранний роман французского писателя уже содержит в себе истоки социальной проблематики его позднейших произведений, в том числе и – «Отверженных». «Его мысль, – подчеркнул Достоевский, – есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия, и этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоконравственная; формула её – восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнётом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль – оправдание униженных и всеми отринутых парий общества...»

<Предисловие к публикации «Три рассказа Эдгара Поэ»>

Вр, 1861, № 17, с подписью: Ред. (XIX)

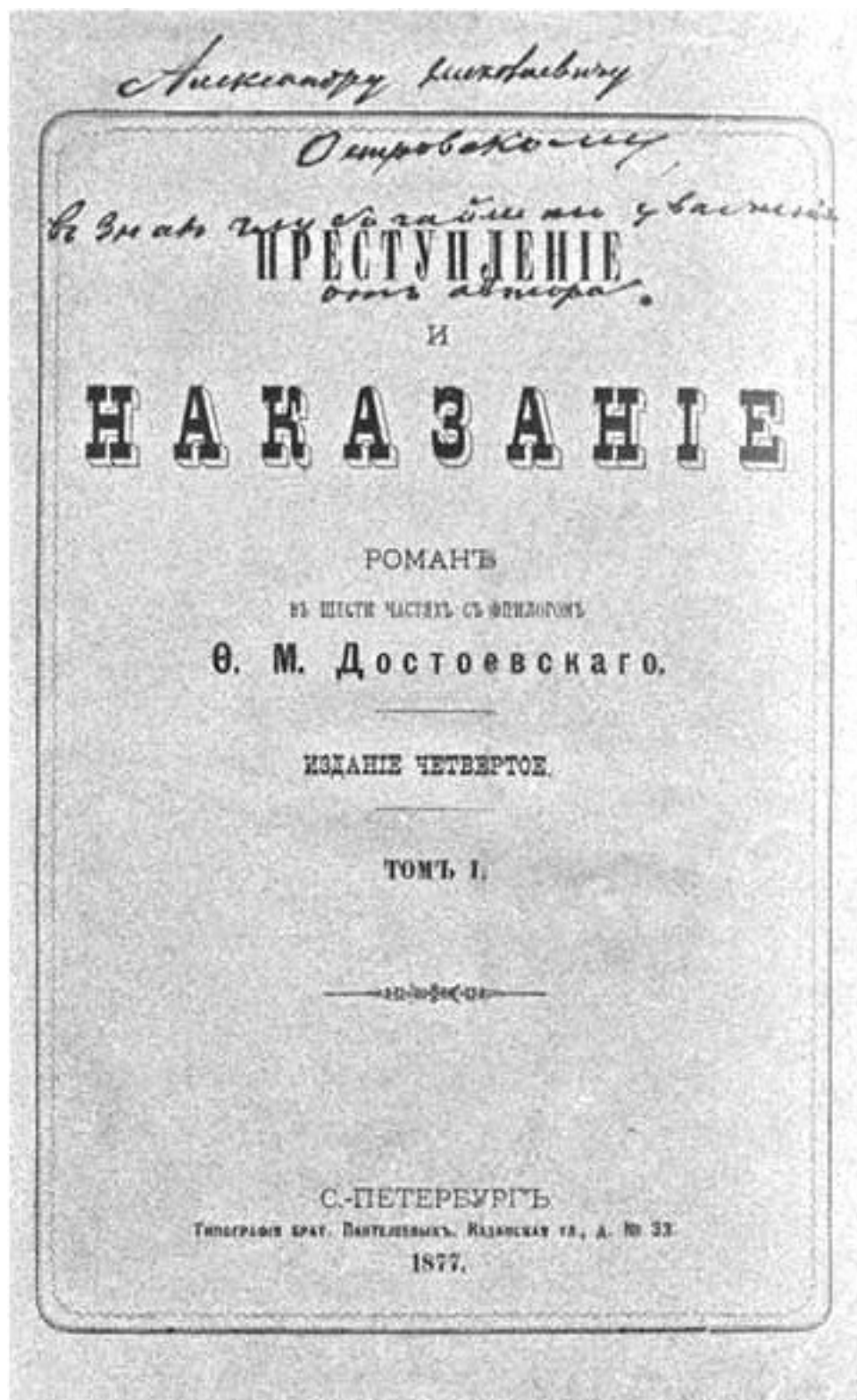
Творчество американского писателя Эдгара Аллана По (1809—1849) уже достаточно широко было известно русскому читателю с конца 1840-х гг. Данное предисловие предпослано публикации впервые переведённых на русский язык (Д. Михайловым) трёх рассказов По – «Сердце-обличитель», «Чёрный кот» и «Чёрт в ратуше». Ранее, в № 3 «*Времени*» за тот же год, была опубликована новелла этого же автора «Похождения Артура Гордона Пэйма». Подбор произведений и предисловие Достоевского – первая в России попытка адекватно представить и оценить творчество американского писателя-новатора. Сопоставляя его с Э. Т. А. Гофманом, русский писатель подчёркивает «материальную фантастичность» По, убедительность бытовых деталей в его невероятных по сюжету произведениях: «... в Эдгаре Поэ есть именно одна черта, которая отличает его решительно от всех других писателей и составляет резкую его особенность: это сила воображения. Не то чтобы он превосходил воображением других писателей; но в его способности воображения есть такая особенность, какой мы не встречали ни у кого: это сила подробностей...» Достоевский-художник, как известно, и сам исповедовал в творчестве подобный принцип.

Преступление и наказание

Роман в шести частях с эпилогом. РВ, 1866, № 1, 2, 4, 6—8, 11, 12. (VI, VII)

Основные персонажи:

Алёна Ивановна;
Афросиньюшка;
Ахиллес;
Девочка-невеста;
Дементьев Николай (Миколка);
Дуклида;
Заметов Александр Григорьевич;
Зарницына Наталья Егоровна;
Зарницына Прасковья Павловна;
Зосимов;
Капернауков;
Кох;
Лебезятников Андрей Семёнович;
Лизавета Ивановна;
Липпехель Амалия Людвиговна (Ивановна; Фёдоровна);
Лужин Пётр Петрович;
Луиза (Лавиза) Ивановна;
Мармеладов Семён Захарович;
Мармеладова Катерина Ивановна;
Мармеладова Полина (Поля);
Мармеладова Софья Семёновна (Соня);
Мещанин;
Миколка;
Настасья;
Никодим Фомич;
Пестряков;
Порох Илья Петрович;
Порфирий Петрович;
Пьяная девушка;
Разумихин Дмитрий Прокофьевич;
Раскольников Родион Романович;
Раскольников Авдотья Романовна;
Раскольников Пульхерия Александровна;
Ресслих Гертруда Карловна;
Свидригайлов Аркадий Иванович;
Свидригайлова Марфа Петровна;
Тит Васильич;
Филипп.



Автограф Достоевского (дарственная надпись А. Н. Островскому)
на издании романа «Преступление и наказание» 1877 г.

«Это – психологический отчёт одного преступления.

Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключённый из студентов университета, мещанин по происхождению, и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях поддавшийся некоторым странным “недоконченным” идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился

убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, больна, жадна, берёт жидовские проценты, зла и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. “Она никуда не годна”, “для чего она живет?”, “Полезна ли она хоть кому-нибудь?” и т. д. Эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить её, обобрать; с тем, чтоб сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства – притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твёрдым, неуклонным в исполнении “гуманного долга к человечеству”, чем, уже конечно, “загладится преступление”, если только может назваться преступлением этот поступок над старухой глухой, глупой, злой и больной, которая сама не знает, для чего живёт на свете, и которая через месяц, может, сама собой померла бы.

Несмотря на то, что подобные преступления ужасно трудно совершаются – то есть почти всегда до грубости выставляют наружу концы, улики и проч. и страшно много оставляют на долю случая, который всегда почти выдает винов<ных>, ему – совершенно случайным образом удаётся совершить своё предприятие и скоро и удачно.

Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы. Никаких <...> подозрений нет и не может быть. Тут-то и развёртывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы встают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берёт своё, и он – кончает тем, что *принуждён* сам на себя донести. Принуждён, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединённости с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. <...> Преступн<ик> сам решает принять муки, чтоб искупить своё дело...» (Из письма *М. Н. Каткову*, 10 /22/ – 15 /27/ сентября 1865 г.) Так сам Достоевский представлял главную сюжетную линию своего будущего романа, предлагая его издателю «*Русского вестника*». Чуть далее в том же письме обозначена и главная идея романа, выразившаяся затем в его названии: «В повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль, что налагаемое юридическ<ое> наказание за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают законодатели, отчасти и потому, что он и сам его нравственно требует...»

* * *

В начале лета 1865 г. Достоевский срочно уезжает за границу. Дела его ужасны: в ушедшем году умерли один за другим брат *М. М. Достоевский* и жена *М. Д. Достоевская*, только что окончательный крах потерпел и журнал «*Эпоха*», случился-произошёл окончательный разрыв с *А. П. Сусловой*, многочисленные кредиторы грозят долговой тюрьмой, семейство Михаила Михайловича, пасынок *П. А. Исаев*, больной младший брат *Н. М. Достоевский* и другие бедные родственники не просто ждут, а требуют от него помощи, бесконечные изнуряющие припадки падучей замучили окончательно... За границей он намеревался хотя бы на время скрыться от кредиторов (да и родственников) и найти выход из очередного жизненного тупика. Надежды на очередной *Рулетенбург* и на этот раз не оправдались: выиграть разом и большую сумму не удалось, больше того, – проиграл последние гроши. Оставалась, как всегда, последняя надежда – на литературу, на свой талант. Ещё перед отъездом-бегством из Петербурга он предложил свою будущую повесть под названием «*Пьяненькие*» издателям «*Санкт-Петербургских ведомостей*» *В. Ф. Коршу* и «*Отечественных записок*» *А. А. Краевскому*. Получил отказ. Тогда, от безвыходности положения, писатель, уже из-за границы, и решил обратиться с предложением к Каткову. Надо помнить, что совсем незадолго до того Достоевский на страницах своих журналов «*Время*» и «*Эпоха*» вёл ожесточённую полемику с «*Русским вестником*», «*Московскими ведомостями*» и персонально с их издателем – нелюбезных слов с обеих

сторон было высказано немало (см.: «Свисток» и «Русский вестник», «Ответ “Русскому вестнику”», «Литературная истерика», «По поводу элегической заметки “Русского вестника”»). Катков предложение принял, просимый автором аванс в триста рублей выслал. И – получил произведение, которое произвело потрясение в читающей публике и увеличило тираж журнала на несколько сот экземпляров. Но, самое главное, первый роман из «великого пятикнижия» Достоевского окончательно утвердил его реноме глубочайшего писателя-психолога, поднял его авторитет в мыслящей России (а позже и за рубежом) на должную высоту.

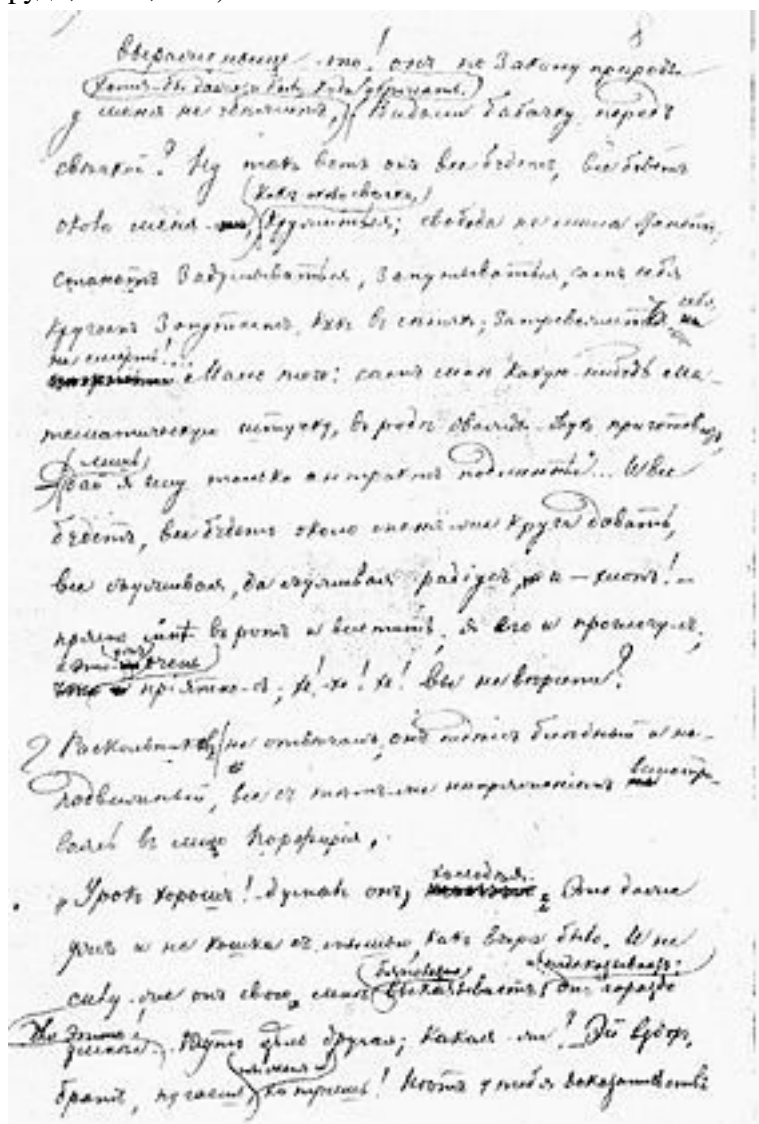
Появление «Преступления и наказания» было подготовлено всем предыдущим творчеством Достоевского. Тема Петербурга («Слабое сердце»), тема подполья («Записки из подполья»), тема мечтательства («Белые ночи»), тема преступления и наказания («Записки из Мёртвого дома») – эти и многие другие темы переплавились-слились в новом романе, приобрели углублённый философский смысл. Но одна тема, только лишь мимоходом затронутая-упомянутая прежде в «Господине Прохарчине», через 20 лет именно в «Преступлении и наказании» заняла главенствующее место, была исследована-показана автором во всей её сложности и глубине. В раннем рассказе один из героев, «дрожа от досады и бешенства», кричит *Прохарчину*: «Что вы, один, что ли, на свете? для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон или нет?..» Господин Прохарчин на вопрос этот иступлённый не ответил, да и вопрос был риторическим. А вот для Раскольникова это как раз вопрос отнюдь не риторический, от него зависит не только вся его будущность, но и просто-напросто – жизнь. Вопрос о наполеонизме в «Преступлении и наказании» сформулирован главным героем так: «Тварь ли я дрожащая или *право* имею?..»

«Преступление и наказание», по сути – криминальный роман. Тема преступления, которую писателю-петрашевцу довелось непосредственно изучать четыре года на нарах Омского острога, также именно в этом произведении впервые у Достоевского (как впоследствии в «Бесах» и «Братьях Карамазовых») была положена в сердцевину сюжета, стала предметом психологического исследования. В результате этого исследования темы наполеонизма, переплетённой с темой преступления, Достоевским была обоснована главная философско-этическая идея романа – невозможность для человека основать своё личное счастье на несчастье других людей.

Несомненна связь «Преступления и наказания» и образа его главного героя с русской и мировой литературой. Прежде всего, это – А. С. Пушкин (поединок Германа с богатой старухой-графиней в «Пиковой даме», «бунт» Евгения в «Медном всаднике», Борис Годунов, страдающий под гнётом своего преступления, ода «Наполеон», известные строки в «Евгении Онегине» о том, что-де «Мы все глядим в Наполеоны...» и т. д.); это и М. Ю. Лермонтов («Герой нашего времени», «Маскарад»), и Н. В. Гоголь («Портрет»). Из западных авторов в этом плане прежде всего стоит упомянуть французов Ш. Нодье и его роман «Жан Сбогар» (1818), с заглавным героем которого сам Достоевский сопоставлял Раскольникова в черновых материалах, а также О. де Бальзака – его Растиньяка из романа «Отец Горио» (1835), о котором автор «Преступления и наказания» вспоминал и много позже, в черновиках к *Пушкинской речи*: «У Бальзака в одном романе один молодой человек в тоске перед нравственной задачей, которую не в силах ещё разрешить, обращается с вопросом к любимому своему товарищу, студенту, и спрашивает его: “Послушай, представь себе, ты нищий, у тебя ни гроша, и вдруг где-то там, в Китае, есть дряхлый, больной мандарин, и тебе стоит только здесь, в Париже, не сходя с места, сказать про себя: умри, мандарин, и за смерть мандарина тебе волшебник пошлёт сейчас миллион, и никому это неизвестно...”» Но принципиальное различие между Раскольниковым и его литературными предшественниками-«двойниками» состоит в том, что и пушкинский Германн, и бальзаковский Растиньяк думают прежде всего о своей выгоде, для них «наполеоновский бунт» – средство возвыситься в так ненавидимом ими обществе, сделать карьеру. А Раскольников недаром же сравнивает себя не только с Наполеоном, но и с Магометом: он стре-

мится совершить «бунт» во имя не только своего личного блага, но и блага других – общего блага.

Сразу же после публикации начальных глав началась история критики «Преступления и наказания». Первым откликнулась газета «Голос» (1866, № 48, 17 фев. /1 марта/) А. А. Краевского, который, как упоминалось, имел за год до того недальновидность отказаться от предложенного Достоевским нового романа. Однако ж отзыв анонимного рецензента «Голоса» вполне восторжен, и он справедливо и дальновидно заявил, что новый «роман обещает быть одним из капитальных произведений автора “Мёртвого дома”». Неожиданной была первая реакция органа демократов – «Современника» (1866, № 2, 3), а вслед за ним и «Искры» (1866, № 12—14), где Достоевского обвинили в клевете на молодое поколение. Наиболее фундаментальные разборы романа сделали: Н. Н. Страхов «Наша изящная словесность. “Преступление и наказание”» (ОЗ, 1867, № 3—4), Д. И. Писарев «Борьба за жизнь» («Дело», 1867, № 5; 1868, № 8), Н. Д. Ахшарумов «“Преступление и наказание”. Роман Ф. М. Достоевского» («Всемирный труд», 1867, № 3).



Страница наборной рукописи «Преступления и наказания».

Первые главы «Преступления и наказания» были только-только сданы в *PB* и готовились к публикации, как 12 января 1866 г. в Москве некий студент Данилов убил и ограбил ростовщика Попова и его служанку Нордман – то есть, по существу, «одновременно» с Раскольниковым совершил аналогичное преступление, только без философской подкладки. Достоевский

позже (11 /23/ дек. 1868 г.), в письме к А. Н. Майкову, имея, в первую очередь, в виду именно этот случай, с понятной гордостью писал, противопоставляя своё понимание реализма взглядам своих «литературных врагов»: «Ихним реализмом – сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты...»

Трагическим летом 1864 г. в письме к младшему брату А. М. Достоевскому (29 июля) автор «*Записок из подполья*», сломленный потерей старшего брата и жены и, словно повторяя своего героя, угрюмо себе пророчит: «Впереди холодная одинокая старость и падучая болезнь моя...» Менее чем через два с половиной года, осенью 1866 г., вот как сбылись-оправдались мрачные прогнозы писателя-пророка: В «Русском вестнике» публикуются последние главы «Преступления и наказания», вызывающего ажиотаж в публике – слава Достоевского растёт и ширится; всего за 26 дней в силу обстоятельств создан-написан новый замечательный роман «*Игрок*»; он встречается с А. Г. Сниткиной, с которой предстоит ему пережить последнюю и самую сильную любовь, которая до конца жизни станет его незаменимым помощником, другом, соратницей, любовницей, женой, матерью его детей... Хороши пророчества! Можно сказать, этот период – период создания «Преступления и наказания» – был самым лучшим, переломным и основополагающим периодом в личной и творческой судьбе Достоевского.

Приговор

«Предсмертная записка». *ДП*, 1876, октябрь, гл. первая, IV. (XXIII)

В предыдущей, третьей, подглавке выпуска Достоевский сопоставил два самоубийства: «материалистическое» – дочери А. И. Герцена *Елизаветы Герцен* и «кроткое» – швеи Марьи Борисовой (послужившей затем прототипом заглавной героини повести «*Кроткая*»). В «Приговоре», который в черновых материалах имел заглавие «Дочь Герцена», он от имени самоубийцы-«матерьялиста», как бы изнутри, показал «философию» этой категории «самоубийц от скуки», о которых речь уже шла в связи с самоубийством Надежды Писаревой (*ДП*, 1876, май, гл. 2, II). Основные тезисы «Приговора» таковы: «...В самом деле: какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то там своих вечных законов? Я создан с сознанием и эту природу *сознал*: какое право она имела производить меня, без моей воли на то, сознающего? Сознающего, стало быть, страдающего, но я не хочу страдать – ибо для чего бы я согласился страдать? Природа, чрез сознание моё, возвещает мне о какой-то гармонии в целом. Человеческое сознание наделало из этого возвещения религий. Она говорит мне, что я, – хоть и знаю вполне, что в “гармонии целого” участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму её вовсе, что она такое значит, – но что я всё-таки должен подчиниться этому возвещению, должен смириться, принять страдание в виду гармонии в целом и согласиться жить. Но если выбирать сознательно, то, уж разумеется, я скорее пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я существую, а до целого и его гармонии мне ровно нет никакого дела после того, как я уничтожусь, – останется ли это целое с гармонией на свете после меня или уничтожится сейчас же вместе со мною. <...> Для чего устраиваться и употреблять столько стараний устроиться в обществе людей правильно, разумно и нравственно-праведно? На это, уж конечно, никто не сможет мне дать ответа. Всё, что мне могли бы ответить, это: «чтоб получить наслаждение». Да, если б я был цветок или корова, я бы и получил наслаждение. Но, задавая, как теперь, себе беспрерывно вопросы, я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и *непосредственном* счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же всё это будет уничтожено: и я, и всё счастье это, и вся любовь, и всё человечество – обратится в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья, – не от нежелания согласиться принять его, не от упрямства какого из-за принципа, а просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это – чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его. Ну, пусть бы я умер, а только человечество оставалось бы вместо меня вечно, тогда, может быть, я всё же был бы утешен. Но ведь планета наша не вечна, и человечеству срок – такой же миг, как и мне. И как бы разумно, радостно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество, – всё это тоже приравняется завтра к тому же нулю. <...> уж одна мысль о том, что природе необходимо было, по каким-то там косным законам её, истязать человека тысячелетия, прежде чем довести его до этого счастья, одна мысль об этом уже невыносимо возмутительна. Теперь прибавьте к тому, что той же природе, допустившей человека наконец-то до счастья, почему-то необходимо обратить всё это завтра в нуль, несмотря на всё страдание, которым заплатило человечество за это счастье, и, главное, нисколько не скрывая этого от меня и моего сознания, как скрыла она от коровы, – то невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль: “ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?” <...> в моём несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, – вместе со мною к уничтожению... А так как природу

я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого. N. N.»

На Достоевского посыплются обвинения в апологии самоубийства, так что вскоре, уже в декабрьском выпуске *ДП*, ему придётся оправдываться и расставлять точки над *і* заново.

Примечание <к статье Н. Страхова «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве»>

Э, 1864, № 9. (XX)

Случилось так, что А. А. Григорьев, один из ведущих сотрудников «Времени», в середине 1861 г. из-за разногласий с братьями Достоевскими и в силу разных прочих обстоятельств покинул журнал и уехал из Петербурга в Оренбург, где без малого год служил учителем в кадетском корпусе. Однако ж связи с редакцией журнала он не терял и активно переписывался с Н. Н. Страховым, делясь в письмах своими размышлениями о литературе, «почвенничестве», своих взаимоотношениях с редакцией журнала. Николай Николаевич, публикуя после смерти А. Григорьева в сентябрьском номере «Эпохи» воспоминания о нём, включил в текст и одиннадцать писем поэта и критика. Достоевский счёл нужным сделать примечание, пояснив в первых строках: «Никак не могу умолчать о том, что в первом письме Григорьева касается меня и покойного моего брата...» И далее по пунктам писатель уточняет, что: 1) М. М. Достоевский в качестве редактора журнала ни в коем случае не «загонял как почтовую лошадь высокое дарование Ф. Достоевского»; 2) во взглядах редакции и Григорьева на славянофильство имелись расхождения, но никогда редактор не требовал от Григорьева «отступничества от прежних убеждений»; 3) в первые годы существования «Времени» действительно были колебания, но – «не в направлении, а в способе действия»; 4) суждения Григорьева о сотрудниках и принципах работы редакции только доказали, что «он не имел ни малейшего понятия о практической стороне издания журнала». И в конце Достоевский несколькими штрихами ярко характеризует, отдавая ему должное, Аполлона Григорьева как яркого поэта, критика и публициста (см. А. А. Григорьев).

**<Примечание к статье Н. Н. Страхова
«Нечто об “опальном журнале” (письмо к редактору)»>**

Вр, 1862, № 5, с подписью: Ред. (XX)

В 1862 г. ожесточённую полемику с «*Современником*» и «Русским словом» на страницах «*Времени*» вёл ведущий критик журнала *Н. Н. Страхов* (Н. Косица). Редакция «Времени» до этого письма Страхова прямо в его полемику (в основном с «Современником») не вмешивалась, однако, когда накал полемики достиг критического градуса, Достоевский счёл необходимым добавить к очередной статье своего сотрудника несколько резко язвительных замечаний в адрес сотрудника «Современника» *М. А. Антоновича*.

<Примечание к статье «Процесс Ласенера»>

Вр, 1861, № 2, с подписью: Ред. (XIX)

По инициативе Достоевского редакция *«Времени»* со второго номера начала публикацию цикла материалов, посвящённых нашумевшим в Европе уголовным процессам. Всего во *«Времени»*, а затем в *«Эпохе»* было опубликовано семь таких очерков. Первая публикация, которую Достоевский снабдил примечанием, была посвящена процессу над Пьером-Франсуа Ласенером (1800—1836), приговорённым судом в Париже за воровство и убийства к смертной казни. Преступник этот примечателен был кроме всего прочего тем, что писал в заключении стихи и мемуары, в которых изобразил себя «жертвой общества» и «мстителем». Образ Ласенера, о котором в «Примечании» сказано как о «личности человека феноменальной, загадочной, страшной и интересной», в какой-то мере был использован Достоевским при работе над образами некоторых героев будущих произведений, в первую очередь — *Раскольникова*.

Пушкин

(Очерк). *Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности. МВед*, 1880, № 162, 13 июня. (XXVI)

С 6 по 8 июня 1880 г. в Москве проходили торжества по случаю открытия памятника А. С. Пушкину работы А. М. Опекушина. В празднестве приняли участие за малым исключением все крупнейшие писатели земли русской – Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Д. В. Григорович, А. Ф. Писемский, Я. П. Полонский, А. Н. Майков, А. Н. Плещеев и др. Впрочем, к «малому» исключению принадлежали И. А. Гончаров (по болезни) и Л. Н. Толстой с М. Е. Салтыковым-Щедриным, не пожелавшие участвовать в празднике в силу своих убеждений. Достоевский, прервав работу над *«Братьями Карамазовыми»* и уединившись в *Старой Руссе*, на едином дыхании за неделю (с 13 по 21 мая) написал свою «Пушкинскую речь». В Москву он приехал 23 мая, ещё не зная, что из-за кончины императрицы Марии Александровны (жены Александра II) пушкинские торжества перенесены с 25 мая на более поздний срок. Речь свою писатель, к счастью не уехавший обратно в Петербург, как поначалу намеревался, произнёс 8 июня – на второй день юбилейного заседания Общества любителей российской словесности. Ещё только работая над текстом речи, Достоевский писал К. Д. Победоносцеву (19 мая 1880 г.): «Приехал же сюда в Руссу не на отдых и не на покой: должен ехать в Москву на открытие памятника Пушкина, да при этом ещё в качестве депутата от Славянского благотворительного общества. И оказывается, как я уже и предчувствовал, что не на удовольствие поеду, а даже, может быть, прямо на неприятности. Ибо дело идет о самых дорогих и основных убеждениях. Я уже и в Петербурге мельком слышал, что там в Москве свирепствует некая клика, старающаяся не допустить иных слов на торжестве открытия, и что опасаются они некоторых ретроградных слов, которые могли бы быть иными сказаны в заседаниях Люб<ителей> российской словесности, взявших на себя всё устройство праздника. Меня же именно приглашал председатель Общества и само Общество (официальной бумагой) говорить на открытии. Даже в газетах уже напечатано про слухи о некоторых интригах. Мою речь о Пушкине я приготовил, и как раз в самом крайнем духе моих (наших то есть, осмелюсь так выразиться) убеждений, а потому и жду, может быть, некоего поношения. Но не хочу смущаться и не боюсь, а своему делу послужить надо и буду говорить небаязненно. Профессора ухаживают там за Тургеневым, который решительно обращается в какого-то личного мне врага. <...> Впрочем, что Вас утруждать мелкими сплетнями. Но в том-то и дело, что тут не одни только сплетни, а дело общественное и большое, ибо Пушкин именно выражает идею, которой мы все (малая кучка пока ещё) служим, и это надо отметить и выразить: это-то вот им и ненавистно. Впрочем, может быть, просто не дадут говорить. Тогда мою речь напечатаю...»

Достоевскому не только дали говорить – его выступление стало апофеозом всего празднества. С первых же слов речи «“Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа”, – сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое...», – и до заключительных: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унёс с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем», – переполненный зал Дворянского собрания слушал Достоевского буквально затаив дыхание и периодически взрываясь громом аплодисментов. А вроде бы, на первый взгляд, оратор не говорил ничего особенного или совершенно нового. Сам писатель, публикуя свою речь в виде очерка в единственном выпуске *«Дневника писателя»* за 1880 г., предварил её «Объяснительным словом», где по пунктам обозначил главные темы речи: «1) То, что Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества,

возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы её не верующего, Россию и себя самого (то есть своё же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей) в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего. Алеко и Онегин породили потом множество подобных себе в нашей художественной литературе... <...> 2) Он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные. Свидетельствуют о том типы Татьяны, женщины совершенно русской, уберегшей себя от наносной лжи, типы исторические, как, например, Инок и другие в “Борисе Годунове”, типы бытовые, как в “Капитанской дочке” и во множестве других образов <...>. Главное же, что надо особенно подчеркнуть, – это то, что все эти типы положительной красоты человека русского и души его взяты всецело из народного духа... <...> Третий пункт, который я хотел отметить в значении Пушкина, есть та особая характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения – способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, и перевоплощения почти совершенного... <...> 4) Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит её со всем народом нашим, и, как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой способности, по крайней мере в своей деятельности, в деятельности художника. Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил её во всё двухсотлетие с петровской реформы не раз...»

Сам писатель вечером того же 8 июня по горячим следам дрожащими от волнения руками описывал А. Г. Достоевской происшедшее так: «Утром сегодня было чтение моей речи в «Любителях». Зала была набита битком. Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она! Что петербургские успехи мои! Ничто, нуль сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать – ничто не помогало: восторг, энтузиазм (всё от «Карамазовых»!). Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнём. Всё, что я написал о Татьяне, было принято с энтузиазмом. (Это великая победа нашей идеи над 25-летием заблуждений!). Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рёв, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: всё ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты – всё это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками, вдруг, например, останавливают меня два незнакомые старика: “Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили, Вы наш святой, вы наш пророк!”. “Пророк, пророк!” – кричали в толпе. Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. “Вы гений, вы более чем гений!” – говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя – есть не просто речь, а историческое событие! Туча облегла горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, всё рассеяло, всё осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений, “Да, да!” – закричали все и вновь обнимались, вновь слёзы. Заседание закрылось. Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились из залы все, а главное женщины. Целовали мне руки, мучали меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, полнейшая

победа! Юрьев (председатель) зазвонил в колокольчик и объявил, что Общество люб<ителей> рос<сийской> словесности единогласно избирает меня своим почётным членом. Опять вопли и крики. После часу почти перерыва стали продолжать заседание. Все было не хотели читать. Аксаков вошел и объявил, что своей речи читать не будет, потому что всё сказано и всё разрешило великое слово нашего гения – Достоевского. Однако мы все его заставили читать. Чтение стало продолжаться, а между тем составили заговор. Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой. В этот час времени успели купить богатейший, в 2 аршина в диаметре лавровый венок, и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались на эстраду и увенчали меня при всей зале венком: “За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего!”. Все плакали, опять энтузиазм. Городской глава Третьяков благодарил меня от имени города Москвы. – Согласись, Аня, что для этого можно было остаться: это залого будущего, залого всего, если я даже и умру...»

Эти сведения подтверждаются многочисленными воспоминаниями свидетелей триумфа Достоевского. Однако ж, уже через несколько дней и особенно после публикации текста речи в *«Московских ведомостях»* она вызвала острую полемику, что побудило автора выпустить в августе специальный выпуск *ДП* с текстом «Пушкинской речи» и своими комментариями к ней. Но это только подлило масла в разгоревшийся спор вокруг неё, который не утихал практически до последних дней жизни Достоевского.

Пушкинская речь

См. Пушкин (Очерк).

Пьяненькие

Неосущ. замысел, 1864. (VII)

Наброски к роману под таким заглавием появились в рабочей тетради в 1864 г. После краха журнала «*Эпоха*» Достоевский, надеясь получить аванс под будущее произведение, предлагал издателям «*Санкт-Петербургских ведомостей*» В. Ф. Коршу и журнала «*Отечественные записки*» А. А. Краевскому свой новый роман. В частности, последнему он писал 8 июня 1865 г.: «Роман мой называется “Пьяненькие” и будет связан с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке...» Предложение издателями было отклонено, а замысел «Пьяненьких» впоследствии вошел в состав «*Преступления и наказания*» в качестве сюжетной линии, связанной с семейством *Мармеладовых*.

Рассказ Плисмылькова

См. Ползунков.

Рассказы Н. В. Успенского

Статья. *Вр*, 1861, № 12, без подписи. (XIX)

Как и статья «*Выставка в Академии художеств за 1860—61 год*», данная статья не была включена Н. Н. Страховым в список анонимных статей Достоевского, опубликованных в журналах «*Время*» и «*Эпоха*», составленный им по просьбе А. Г. Достоевской для первого посмертного издания мужа. Авторство Достоевского по содержанию и стилистическим признакам установлено позже (в частности, – Л. П. Гроссманом). Статья написана в связи с выходом первого сборника рассказов Н. В. Успенского (Рассказы Н. В. Успенского, ч. 1—2, СПб., 1861), в который вошли произведения молодого писателя-демократа, опубликованные в «*Современнике*». Книга эта стала событием в литературной и общественной жизни России того времени, вызвала в печати многочисленные отклики и полемику. Споры в основном шли о задачах и способах изображения народа, народной жизни в литературе. Говоря об Успенском, Достоевский проводит мысль, что русская литература «не доросла ещё до широкого и глубокого взгляда» на народ: «Да не подумает, впрочем, читатель, что мы хоть сколько-нибудь сравниваем его с Островским, Тургеневым, Писемским и т. д. Предшествовавшие ему замечательные писатели, о которых мы сейчас говорили, сказали во сто раз более, чем он, и сказали верно, и в этом их слава. И хоть они все вместе взглянули на народ вовсе не так уж слишком глубоко и обширно (народа так скоро разглядеть нельзя, да и эпоха не доросла еще до широкого и глубокого взгляда), но, по крайней мере, они взглянули первые, взглянули с новых и во многом верных точек зрения, заявили в литературе сознательно новую мысль высших классов общества о народе, а это для нас всего замечательнее. Ведь в этих взглядах наше всё: наше развитие, наши надежды, наша история...» Успенский, считает Достоевский, в изображении народа руководствуется самыми лучшими чувствами и побуждениями, но... И писатель-критик высказывает мнение, которое перекликается с его кредо, уже высказанным в статье о выставке в Академии художеств: для правды изображения жизни мало одной фотографичности (одного «дагерротипизма»). И в конце статьи-рецензии высказаны пожелания и надежды: «Не знаем, разовьётся ли далее г-н Успенский. То, что движет его внутренне, – верно и хорошо. Он подходит к народу правдиво и искренно. Вы это чувствуете. Но может ли он взглянуть глубже и дальше, сказать собственно *своё*, не повторять чужого, и, наконец, суждено ли ему развиваться художественно? Суждено ли ему развить в себе *свою* мысль и потом ясно, осязательно её высказать? Всё это вопросы. Но задатки очень хороши; будем надеяться».

Роман в девяти письмах

С, 1847, № 1. (I)

Основные персонажи:

Евгений Николаевич;

Иван Петрович;

Пётр Иванович.

Это и вправду «роман», ибо, как выясняется на последней странице, главная интрига заключена в любви и супружеской измене; но не только в девяти письмах, а ещё и приплюсовано две записочки жён Петра Ивановича и Ивана Петровича к Евгению Николаевичу. Суть же в том, что пока два ловких шулера вели между собою переписку на тему, как бы им покапительнее обчистить Евгения Николаевича в карты, тот, оказывается, весьма ловко и успешно наставлял им рога...

* * *

Эту шутливую вещицу молодой Достоевский написал в одну ночь в середине ноября 1845 г. для первого номера затеваемого *Н. А. Некрасовым* юмористического альманаха «*Зубо-скал*». После запрещения последнего «Роман...», за который автор уже получил гонорар в размере 125 рублей ассигнациями, был опубликован в «*Современнике*». Вскоре после написания «Романа в девяти письмах», 16 ноября 1845 г., автор сообщал в письме к *М. М. Достоевскому*: «Вечером у Тургенева читался мой роман во всём нашем круге <...> и произвёл фурор...» Но сразу после публикации произведения оно вызвало разочарование у *В. Г. Белинского*, *И. С. Тургенева* и других членов «нашего круга», то есть кружка Белинского. Однако ж *А. А. Григорьев* в «Московском городском листке» (1847, № 52, 5 марта), обзревая январские и февральские номера журналов, выделил рассказ Достоевского из всех произведений *натуральной школы* и назвал его «прекрасным».

<Роман о князе и ростовщике>

Неосущ. замысел, 1869—1870. (IX)

Три фрагмента, условно объединённые этим названием, – промежуточное звено между планом «*Жития Великого грешника*» и замыслом «*Бесов*». Намечаемые здесь образы Князя, Красавицы, Воспитанницы, Учителя и других персонажей продолжали развиваться в планах «*Зависти*» и воплотились впоследствии в образы героев романа «Бесы».

<Роман о помещике>

Неосущ. замысел, 1868. (IX)

Короткий, в один абзац, набросок плана записан среди черновых материалов к *«Идиоту»*. В сюжете, судя по первым словам («Помещик. Отца убили. Спорное поле...»), должны были отразиться детские воспоминания писателя о времени, когда родители приобрели сельцо *Даровое*, странные обстоятельства смерти отца, *М. А. Достоевского*. Романа о своём отце писатель так и не написал.



Даровое. Дом Достоевских.

Ростовщик

Неосущ. замысел, 1866. (V)

Набросок плана сделан в рабочей тетради в начале 1866 г. Намечался, судя по всему, бурный сюжет – с насмешками, оскорблениями, дуэлями и самоубийствами. Герои обозначены как: «Граф (Сол-б)», «Vielgors.» и «Данилов, О П.», над последним сверху приписано – «Черн.». Вероятно, прототипами персонажей должны были стать *В. А. Соллогуб*, *М. Ю. Виельгорский*, *Н. Г. Чернышевский*. В романе «Преступление и наказание», над которым писатель работал как раз в это время, тема ростовщичества играла важную роль, будет затрагиваться она и в романе «Идиот» (1867), замысле под условным названием «Роман о Князе и Ростовщике» (1870), «Подростке» (1875). Но ещё большую роль играла тема ростовщичества в жизни самого Достоевского. Взять только небольшой период его жизни из минувшего 1865 г.: 2-го апреля писатель относит к ростовщику *Готфридту* золотую булавку за 10 рублей серебром и под 5 процентов; 20-го апреля закладывает у того же Готфридта ещё одну булавку за ту же цену и под те же проценты; 15-го мая выпрашивает у ростовщицы *Эриксан* под заклад серебряных ложек 15 рублей – к Готфридту идти, видимо, уже не вмоготу; но через пять дней, 20-го мая, Достоевский всё же опять обращается к Готфридту, однако ж – через посредника, свою знакомую *П. П. Аникееву*, и закладывает на этот раз ватное пальто за десятку... Нет, недаром писатель через полгода намеревался писать роман «Ростовщик» и не случайно в «Преступлении и наказании» образ процентщицы *Алёны Ивановны* получился столь полнокровен и отвратителен.

Рулетенбург

См. Игрок.

Ряд статей о русской литературе

Вр, 1861, № 1, 2, 7, 8, 11, без подписи. (XVIII, XIX)

Цикл из пяти частей включил в себя статьи: I. «Введение»; II. «Г-н — бов и вопрос об искусстве»; III, IV. «Книжность и грамотность»; V. «Последние литературные явления. Газета “День”»; «Вопрос об университетах». Достоевский ещё в Сибири замысливал писать циклы статей под названием «Письма об искусстве», «Письма из провинции». С первого же номера основанного вместе с братом М. М. Достоевским журнала «Время» писатель осуществляет давнюю идею под новым названием — «Цикл статей о русской литературе». По замыслу автора статьи-части цикла должны были регулярно появляться в каждом номере журнала, однако ж срочная работа над «Униженными и оскорблёнными», «Записками из Мёртвого дома», другими художественными и публицистическими произведениями, сложные обязанности редактора не позволили это сделать. В течение 1861 г. было написано только четыре статьи («Книжность и грамотность» состояла из двух частей), а с 1862 г. цикл уже не возобновлялся. На первый взгляд, в цикле нет единой скрепляющей идеи, но все статьи объединены одной кардинальной темой — русская литература, её развитие и состояние. Во всех статьях встречается немало автобиографических фрагментов — воспоминаний Достоевского о начале своего творческого пути, о периоде каторги и ссылки, ссылки на другие его произведения. Полемическая направленность «Ряда статей» выдержана в духе программы журнала братьев Достоевских, сформулированной в «Объявлении о подписке на журнал “Время” на 1861 год». Именно здесь, особенно во «Введении» и «Книжности и грамотности», уточняются и окончательно обосновываются положения «почвенничества». С позиций «почвенничества» ведётся в рамках цикла статей полемика с «Современником», «Отечественными записками», «Русским вестником», газетой «День». Именно такая позиция позволяла находить рациональное зерно как в политике западников, так и в направлении славянофилов, что обеспечило «Времени» уже на первом году издания успех у самой широкой читающей публики. «Введение», как и весь первый номер журнала братьев Достоевских, встретило доброжелательный приём в изданиях разных направлений. Положительные отклики появились в «Северной пчеле» (1861, № 54, 9 марта), «Московских ведомостях» (1861, № 13, 17 янв.), С (1861, № 1) и др. Только ОЗ в январском и затем в февральском номерах в обзорах С. С. Дудышкина по понятным причинам (в 1-м номере *Вр* содержалось немало иронических замечаний в их адрес) весьма придирчиво, в брюзгливом тоне оценили программные материалы нового журнала.

Сбритые бакенбарды

Неосущ. замысел, 1846. (XXVIII₁).

В 1846 г. уйдя из *«Отечественных записок»*, В. Г. Белинский собирался издать альманах *«Левиафан»*, к участию в котором пригласил и Достоевского. Молодой писатель, в тот период как раз пожинавший первые упоительные плоды славы после публикации *«Бедных людей»* и *«Двойника»*, был полон замыслов. В письме к брату М. М. Достоевскому от 1 апреля 1846 г. он, в частности, сообщает о своём сотрудничестве с Белинским: «Я пишу ему две повести: 1-я) “Сбритые бакенбарды”, 2-я) “Повесть об уничтоженных канцеляриях”, обе с потрясающим трагическим интересом и – уже отвечаю – сжатые донельзя. Публика ждет моего с нетерпением. Обе повести небольшие. <...> “Сбритые бакенбарды” я кончаю...» Вероятно, сюжет был связан с указом императора *Николая I* (1837 г.) о запрете носить усы и бороды гражданским чинам. Увы, ни альманах не вышел, ни «Сбритые бакенбарды» так и не были кончены и черновик не сохранился. Отзвуки этого замысла можно обнаружить в *«Селе Степанчикове и его обитателях»*, где полковник *Ростанев* по приказу *Фомы Опискина* вынужден был сбрить бакенбарды.

«Свисток» и «Русский вестник»

Статья. Вр, 1861, № 3, без подписи. (XIX)

Данная статья появилась в одном номере со статьёй *«Образцы чистосердечия»*, непосредственно связана с нею и продолжает цикл публикаций *«Времени»* в ходе полемики с М. Н. Катковым и его журналом (*«Ответ “Русскому вестнику”*», *«По поводу элегической заметки “Русского вестника”*»). Непосредственным поводом для написания данной статьи стало программное выступление *«Русского вестника»* (1861, № 1) *«Несколько слов вместо “Современной летописи”*», носившее подчёркнуто антидемократический характер и высмеивающее, уничижающее не только «Свисток» (сатирическое приложение к журналу *«Современник»*), но и содержащее выпады против всей русской литературы: по мнению Каткова, – «скудной», «ничтожной», неспособной на самобытное развитие. Вступая в спор о литературе Достоевский утверждает величие русской словесности и в первую очередь ведёт спор о значении творчества А. С. Пушкина не только с «Русским вестником», но и с «Современником», и с *«Отечественными записками»*, предвосхищая своими формулировками будущую *«Пушкинскую речь»* (1880): «Русская мысль уже начала отражаться и в русской литературе, и так плодотворно, так сильно, что трудно бы, кажется, не заметить русскую литературу, а вы спрашиваете: “что такое русская литература?” Она началась самостоятельно с Пушкина. Возьмите только одно в Пушкине, только одну его особенность, не говоря о других: способность всемирности, всечеловечности, всеотклика. Он усваивает все литературы мира, он понимает всякую из них до того, что отражает её в своей поэзии, но так, что самый дух, самые сокровеннейшие тайны чужих особенностей переходят в его поэзию, как бы он сам был англичанин, испанец, мусульманин или гражданин древнего мира...»

Село Степанчиково и его обитатели

Из записок неизвестного. Повесть. ОЗ, 1859, № 11, 12. (III)

Основные персонажи:

Бахчеев Степан Алексеевич;
Видоплясов Григорий;
Гаврила Игнатьевич;
Григорий (Гришка);
Ежевикин Евграф Ларионыч;
Ежевикина Настасья Евграфовна (Настенька);
Коровкин;
Крахоткин (генерал Крахоткин);
Крахоткина (генеральша Крахоткина);
Мизинчиков Иван Иванович;
Обноскин Павел Семёнович;
Обноскина Анфиса Петровна;
Опискин Фома Фомич;
Перепелицына Анна Ниловна (девица Перепелицына);
Ростанев Егор Ильич;
Ростанев Илья (Илюша);
Ростанева Александра (Сашенька);
Ростанева Прасковья Ильинична;
Сергей Александрович;
Татьяна Ивановна;
Фалалей.

Повествование состоит из двух частей, 18-ти глав (в 1-й – 12; во 2-й – 6) и ведётся от лица Сергея Александровича, племянника полковника Ростанева, который, приехав к дяде в имение, становится свидетелем-летописцем бурных событий. Уже в названиях некоторых глав подчёркнута водевильность содержания: «Про белого быка и про комаринского мужика», «Объяснение в любви», «Фома Фомич созидает всеобщее счастье» и пр. А суть происходящего в следующем: отставной полковник Ростанев, добрейшей души человек, живёт в своём сельце Степанчикове, но вместо того, чтобы наслаждаться счастьем и покоем, терпит тиранию своей маменьки генеральши Крахоткиной и ещё более тотальную тиранию ничтожного приживальщика – Фомы Фомича Опискина, фаворита генеральши-вдовы. Бедный полковник не смеет без его разрешения ни день рождения сына как следует отпраздновать, ни предложение любимой девушке сделать. Впрочем, воодушевлённый как раз пламенем любви к Настеньке и пристыженный племянником-гостем, Ростанев решается-таки на бунт против домашнего тирана, вышвыривает его из дому, но... то была лишь буря в стакане воды и в финале Фома опять возведён на трон...

* * *

«Село Степанчиково», вторая (после «Дядюшкиного сна») сибирская повесть Достоевского, написана в Семипалатинске в 1857—1859 гг. Предназначалась она поначалу для «Русского вестника». Писатель придавал ей большое значение, даже называл «романом» и писал М. М. Достоевскому (9 мая 1859 г.): «Этот роман, конечно, имеет величайшие недостатки и, главное, может быть, растянутость; но в чём я уверен, как в аксиоме, это то, что он имеет в

то же время и великие достоинства и что это *лучшее* моё *произведение*. Я писал его два года (с перерывом в середине “Дядюшкина сна”). Начало и середина обделаны, конец писан наскоро. Но тут положил я мою душу, мою плоть и кровь. Я не хочу сказать, что я высказался в нём весь; это будет вздор! Ещё будет много, что высказать. К тому же в романе мало сердечного (то есть страстного элемента, как например в “Дворянском гнезде”), – но в нём есть два огромных типических характера, *создаваемых* и *записываемых* пять лет, обделанных безукоризненно (по моему мнению), – характеров вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой. Не знаю, оценит ли Катков, но если публика примет мой роман холодно, то, признаюсь, я, может быть, впаду в отчаяние. На нём основаны все лучшие надежды мои и, главное, упреждение моего литературного имени. <...> Конечно, я могу очень ошибаться в моем романе и в его достоинстве, но на этом все мои надежды...» Однако ж и в «Русском вестнике» *М. Н. Каткова*, и затем в «Современнике» товарища юности *Н. А. Некрасова* новое произведение автора «*Бедных людей*» по достоинству не оценили, его условия приняты не были, и повесть появилась в конце концов в журнале *А. А. Краевского*, который заплатил по 120 рублей с листа. Надежды Достоевского на триумф «романа» у критики и читателей также не оправдались – он прошёл незамеченным. Свою роль сыграло и то, что фамилия автора была указана без инициалов, так что часть публики могла приписать авторство Михаилу Достоевскому, который регулярно публиковался в *ОЗ* как беллетрист. Только через много лет, уже после кончины автора, этому произведению и особенно образу Фомы Опискина было отдано должное. К примеру, *Н. К. Михайловский* в своей фундаментальной статье «Жестокий талант» (1882) причислил Опискина к классическим для Достоевского психологическим типам. Первые произведения Достоевского, написанные после долгих лет вынужденного молчания, после почти десяти лет каторги и солдатчины, оказались на удивление весёлыми по содержанию, юмористическими. В «Селе Степанчикове», в частности, большое место занимает пародия, в том числе и на *Н. В. Гоголя* и его «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Сам писатель объяснял «водевильность» и «незлобивость» первых своих послекаторжных повестей тем, что ужасно опасался цензуры (см. «Дядюшкин сон»).

<Сибирская тетрадь>

1852—1860. (IV).

Это – первая сохранившаяся так называемая рабочая (записная) тетрадь Достоевского – весь ранний архив писателя, арестованного 23 апреля 1849 г. за участие в кружке *М. В. Петрашевского*, попал в III Отделение и до нас не дошёл. Велась она тайно в *Омском остроге* (в основном в периоды, когда писатель-петрашевец лежал в госпитале) и затем в *Семипалатинске*, куда он был переведён рядовым в линейный полк. Представляет она собой 28 листов писчей бумаги, сшитых в самодельную тетрадку, без переплёта и без заглавия. Сам Достоевский в записной тетради 1872—1875 гг. упомянет о ней так: «Мою тетрадку каторжн<ую>». Содержится в ней 486 пронумерованных записей – в основном, словечки, выражения, мини-диалоги из каторжного мира («Переменил участь», «Придётся понюхать кнута» «Пробуровил тысячу»...), а также пометки автобиографического характера, касающиеся взаимоотношений писателя с будущей женой *М. Д. Исаевой*. Материалы «Сибирской тетради» особенно помогли Достоевскому при работе над «*Записками из Мёртвого дома*». Но не только. Подсчитано, что записи из «Каторжной тетрадки» использованы писателем в художественных текстах: «*Село Степанчиково и его обитатели*» – 55 раз; «*Бесы*» – 50; «*Братья Карамазовы*» – 32; «*Подросток*» – 28; «*Преступление и наказание*» – 21; «*Униженные и оскорблённые*» – 14; «*Идиот*» – 8; «*Дядюшкин сон*» – 4; «*Записки из подполья*» – 2.

Скверный анекдот

Рассказ. Вр, 1862, № 11. (V)

Основные персонажи:

Зубиков Аким Петрович;

Клеопатра Семёновна;

Медицинский студент;

Млекопитаев;

Млекопитаева (дочь);

Млекопитаева (мать);

Никифоров Степан Никифорович;

Офицер;

Пралинский Иван Ильич;

Пселдонимов Порфирий Петрович;

Пселдонимова;

Сотрудник «Головешки»;

Трифон;

Шипуленко Семён Иванович.

Однажды в зимний петербургский вечер собрались в одном доме три «ваших превосходительства» за бокалом доброго вина и заспорили на животрепещущую тему – о либерализме, сближении с простым народом, гуманном отношении к подчинённым... Самый молодой из генералов и самый, как он считал, прогрессивный – Иван Ильич Пралинский, который горячее всех и ратовал за «сближение», возвращаясь из гостей домой в подпитом и благодушном настроении, попадает вдруг по воле случая и своему желанию на свадьбу своего подчинённого – чиновника Пселдонимова. И – лучше бы этого не делал: такой конфуз с ним произошёл, такой скверный анекдот случился, что ни приведи Господь – напился, буянил, глупости говорил и делал, на посмешище себя выставил со своим либерализмом. Так что наутро, на тяжелейшее угарное утро, увы, не осталось от мечтаний либеральных в генеральской похмельной душе и следа...

* * *

Рассказ был написан Достоевским в период, когда эйфория в обществе от либеральных реформ в России начала 1860-х исчезла-растворилась окончательно. Стало совершенно ясно, что высшие бюрократические круги, все эти «ваши превосходительства» как консервативного, так и либерального толка озабочены только тем, чтобы реформы не поколебали сущность прежних общественных отношений. «Скверный анекдот» по тематике близок «Сатирам в прозе» М. Е. Салтыкова-Щедрина, в которых период реформ назван «эпохой конфузов». И главная мысль сатирического рассказа Достоевского: так называемые реформы сверху обманули всех – и «пралинских», и «пселдонимовых».

Слабое сердце

Повесть. ОЗ, 1848, № 2. (II)

Основные персонажи:

Артемяева Елизавета Михайловна (Лизанька);

Мадам Леру;

Нефёдевич Аркадий Иванович;

Шумков Василий Петрович (Вася);

Юлиан Мастакович.

В жизни Васи Шумкова, мелкого чиновника, писаря, наметился счастливый перелом: он сделал предложение любимой девушке, предложение принято, впереди свадьба, да и на службе всё хорошо – Вася с его чудесным каллиграфическим почерком пользуется благорасположением начальства, есть виды на повышение жалования... Да вот беда, и к свадьбе готовиться надо, и работу срочную закончить, а времени в обрез. Ну никак не успевает бедный Вася, как ни мучился. И ведь взбрело же, вскочило в голову несчастному, что его не просто накажут за нерадение, а – забреют в солдаты. Не выдержало слабое сердце, погиб Вася и вместо венца и семейной уютной квартирки отправился он прямиком на *седьмую версту*, в жёлтый дом, в небытие. А спешное дело, которое он переписывал, как потом выяснилось, не было таким уж спешным и вполне могло подождать...

* * *

«Слабое сердце» стоит в ряду других ранних произведений Достоевского с героями из чиновничьего мира – «Бедные люди», «Двойник», «Господин Прохарчин». С другой стороны, в этой повести продолжена тема «мечтательства» и тема Петербурга, заявленные прежде в «Петербургской летописи» и «Хозяйке», и которые будут затем продолжены в «Белых ночах». Не исключено, что в тот – «докаторжный» – период творчества Достоевский намеревался, по примеру *О. де Бальзака* с его «Человеческой комедией», создать повествовательный цикл со сквозными темами, связанными сюжетами, общими героями. По крайней мере, Юлиан Мастакович, перешедший в «Слабое сердце» из «Петербургской летописи» появится вскоре в «Ёлке и свадьбе». И уже в тот период молодой писатель, для которого главным было сказать в литературе своё «новое» слово, пытался определить именно свой путь, свою непохожесть на всех других писателей той эпохи. Достоевский, в конце концов, создал свой особый вид романа, резко отличающийся от типичного русского романа, создаваемого *И. С. Тургеневым*, *Л. Н. Толстым*, *И. А. Гончаровым*. И в этом плане получает дополнительный глубинный смысл его ироническая усмешка в первых же строках ранней повести «Слабое сердце»: «Автор, конечно, чувствует необходимость объяснить читателю, почему один герой назван полным, а другой уменьшительным именем<...> Но для этого было бы необходимо предварительно объяснить и описать и чин, и лета, и звание, и должность, и, наконец, даже характеры действующих лиц; а так как много таких писателей, которые именно так начинают, то автор предполагаемой повести, единственно для того чтоб не походить на них (то есть, как скажут, может быть, некоторые, вследствие неограниченного своего самолюбия), решается начать прямо с действия...» Конечно, камешек в огород *И. С. Тургенева*, *Н. А. Некрасова* и других «некоторых» из окружения *В. Г. Белинского*, содержащийся в скобках, показывает, что суждение это сделано Достоевским в пылу и в азарте незаконченного спора, но высказанное кредо стало действительно правилом во всём творчестве писателя: описания занимают мизерную часть в его произведениях, на первом месте – действие и диалоги.

Первые критические отзывы на «Слабое сердце» были противоречивы: так, *С. С. Дудышкин* (*ОЗ*, 1849, № 1) назвал эту повесть наряду с «Белыми ночами» в числе лучших произведений за 1848 г., рецензент же «*Современника*» (1849, № 1) *П. В. Анненков*, напротив, признал новое произведение Достоевского слезливым, надуманным и вообще неудачным. Думается, в похвалах первого свою роль сыграло то, что повести были опубликованы в *ОЗ*, а в суровой критике второго – личные неприязненные отношения к автору. Правда, сам Достоевский в первое своё собрание сочинений (1860) «Слабое сердце» всё же не включил.

Славянофилы, черногорцы и западники, самая последняя перепалка

Статья. *Вр*, 1862, № 9, без подписи. (XX)

В войне с Турцией 1861—1862 гг. за свою независимость славянская Черногория потерпела поражение. В некоторых российских газетах, широко освещавших эти события, была объявлена подписка, сбор средств в пользу черногорцев. Как ни странно, зачинщицей доброго дела выступила газета крайне западнического направления «Современное слово» (1862, № 63), затем это объявление перепечатали другие издания самых разных направлений, в том числе и славянофильская газета «День». Но вместе с этим, между «Современным словом» и «Днём» вспыхнула резкая полемика по вопросу о помощи Черногории со взаимными упрёками и обвинениями в неискренности намерений. Достоевский, довольно язвительно прокомментировав эту не делающую чести ни славянофилам, ни западникам «перепалку», в конце убеждённо заявляет, что «западничество» и «славянофильство» со временем уступят место «почвенничеству»: «Мы верим, что эти две наивнейшие и невиннейшие теперь в мире теории умрут наконец сами собою, как две дряхлые ворчливые бабушки в виду молодого племени, в виду свежей национальной силы, которой они до сих пор не верят и с которой до сих пор, по привычке всех бабушек, обходятся как с несовершеннолетней малюткой...»

Смерть поэта (Идея)

Неосущ. замысел, 1869. (IX)

Замысел состоит из двух набросков планов произведения и одного диалога, предположительно отнесённого к этому замыслу. Заглавным героем должен был стать живущий в «углах» молодой человек, вся горькая судьба которого намечена одним ёмким предложением: «Поэт, 26 лет, бедность, заработался, воспаление в крови и нервы, чистый сердцем, не ропщет, умирает, брюхатая Жена и двое детей». Среди героев обозначены Атеист, Раскольник, Попик, Племянник, Доктор-нигилист и др., упоминается дважды фамилия *С. Г. Нечаева*. Первоначальный план данной повести возник в тесной связи с замыслом романа *«Атеизм»*, затем частично вошёл в замысел *«Романа о Князе и Ростовишке»*.

Сон смешного человека

Фантастический рассказ. ДП, 1877, апрель. (XXV)

Основные персонажи:

Девочка;

Смешной человек;

Спутник.

По форме это – рассказ-монолог Смешного человека о том, как он открыл «истину». Однажды, в ноябрьский дождливый поздний вечер он возвращался голодный и уставший в свой угол, отогнал по дороге маленькую Девочку, которая умоляла его куда-то пойти, спасти её умирающую мать. Прогнал же он её потому, что «всё ему было всё равно» – он решил в этот вечер застрелиться. Но уже дома, в своей конуре от хозяев под крышей на пятом этаже, он начинает думать об этой девочке, не может никак прогнать её из памяти, момент самоубийства всё отодвигается и он незаметно для себя засыпает. И снится Смешному человеку, что он таки простреливает себе сердце из револьвера, его хоронят, но он продолжает всё понимать, чувствовать и ощущать. И вот могила разверзлась, кто-то увлекает его в фантастическом полёте через миры и пространства космоса на звезду-планету, которую пристально разглядывал он в тот вечер в разрыве туч. Планета та оказалась удивительно похожа на землю, только, в отличие от земли, люди там жили удивительно счастливо. И никогда Смешной человек «не видывал на нашей земле такой красоты в человеке», глаза этих людей «сверкали ясным блеском», лица «сияли разумом», в голосах их «звучала детская радость». И понял Смешной человек, что это «была земля, не осквернённая грехопадением», и люди здесь жили, как и предки землян когда-то, «в раю»... А далее герой «фантастического рассказа» с горечью, стыдом и ужасом вспоминает-рассказывает, как он развратил тамошних счастливых людей, привил им все пороки землян, погубил чудесную райскую планету... Но, к счастью, это был только сон. Проснувшись, Смешной человек понял, что обрёл-понял истину: «... я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. <...> Главное – люби других как себя <...> Если только все захотят, то сейчас всё устроится...» Так просто! Но Смешной человек, только ещё собираясь идти проповедовать эту простую истину, уже знает-предполагает, что его посчитают за сумасшедшего...

* * *

«Сон смешного человека» – единственное художественное произведение в ДП за 1877 г. Этот «фантастический рассказ» имеет такой же подзаголовок, как и «Кроткая», но здесь «фантастичность» не просто условное обозначение формы повествования, а художественный приём, суть произведения. Для понимания этого надо вспомнить суждение Достоевского из письма к Ю. Ф. Абазы от 15 июня 1880 г.: «Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал «Пиковую даму» – верх искусства фантастического. И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем, в конце повести, то есть прочтя её, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов...» Недаром в черновых набросках к своему «фантастическому рассказу» Достоевский упомянул и Э. По, о «фантастическом реализме» которого писал за десять с лишним лет до того в <Предисловии к публикации «Три рассказа Эдгара По»> в журнале «Время».

В «Сне смешного человека» с наибольшей силой отразились и сконцентрировались размышления Достоевского о «золотом веке», который, как он (вслед за А. Сен-Симоном, *Ш. Фурье* и другими утопистами при всём расхождении с их идеями-теориями) верил, находится не позади, а впереди человечества. При жизни Достоевского этот глубоко философский и просто прекрасный рассказ критика не удостоила вниманием.

Сороковины

Книга странствий. Неосущ. замысел, 1875—1877. (XVII)

Произведение, судя по небольшому наброску плана в записной тетради, должно было состоять из «мытарств» 1-го, 2-го и т. д. Замысел этот позже воплотился в какой-то мере в «*Братьях Карамазовых*» (кн. 9, гл. III—V и кн. 11, гл. IX), где показано «хождение души по мытарствам» *Дмитрия Карамазова*, а также в сцене встречи-диалога *Ивана Карамазова* с Чёртом.

Социализм и христианство

Неосущ. замысел, 1864—1865. (XX).

В записной тетради сохранилось несколько черновых набросков под таким заглавием. Судя по всему, в этой статье Достоевский намеревался развить ряд идей, содержащихся в «Зимних заметках о летних впечатлениях» и в записи от 16 апреля 1864 г. «*Маша лежит на столе...*» В плане статьи намечены многие вопросы, важные для понимания мировоззрения Достоевского в 1860—1870-е гг.

Стена на стену

Статья. *Гр.*, 1873, № 24, 11 июня, без подписи. (XXI)

Заглавие статьи связано с заметкой в № 145 *«Русского мира»*, в которой сообщалось о кулачном бое «стенка на стенку» в подмосковной деревне Свистухе со смертоубийством одного из участников. Об этом случае Достоевский упоминал в статье *«Пожар в селе Измайлове»*. На этот раз редактор *«Гражданина»* вновь обращается к сообщениям в газетах *«Русский мир»*, *«Биржевые ведомости»*, *«Современность»* о случаях нелепых разборок-тяжб, самоуправства, преступлений, о начальниках-самодурах и дворянах-преступниках, чтобы поднять вопрос о падении нравов. Достоевский с горькой иронией констатирует, что «рыцарские обычаи уничтожаются повсеместно и мы демократизируемся повсеместно». И ещё: «Вся Россия заражена в известном смысле страшною мнительностью, во всех сословиях и во всех занятиях и именно насчёт власти. Каждый думает про себя: “А ну как подумают про меня, что у меня не так много власти?...»

Столетняя

Рассказ. ДП, 1876, март, гл. первая, II. (XXII)

Основные персонажи:

Дама;

Макарыч;

Марья Максимовна;

Миша;

Пётр Степанович;

Сергей.

Одна знакомая Дама (по свидетельству *А. Г. Достоевской*, это была она) рассказала автору, как встретила в одно утро несколько раз одну и ту же древнюю старушку, куда-то упорно с передышками-остановками поспешающую. Порасспросила её, пяточок подала (хотя старушка и не нищенка) и оказалось, что бабушке этой уже сто четыре годочка, из дому уже редко выходит, а тут – «тепло, солнышко светит» и решила она: «дай пойду к внучкам пообедать». И вот никак у писателя из ума не идёт рассказ об этой «столетней», полной «душевной силы», и в воображении дорисовал он «продолжение о том, как она дошла к своим пообедать». Он придумал-домыслил и внучку, и её мужа-цирюльника, и трёх детишек, и гостя, который сидел у них, когда бабушка пришла, всем имена дал. И получилась «правдоподобная меленькая картинка» – светлая и печальная одновременно – о том, как эту душевную столетнюю старушку сподобил Господь Бог добаться в солнечный день до дома внучки, и там прямо во время разговора с ними умереть – окончить свой путь земной тихо и без мучений, среди родных и близких людей...

У Тихона

Глава из романа «Бесы». (XI)

Основные персонажи:

Лебядкин Игнат Тимофеевич;

Лебядкина Марья Тимофеевна;

Матрёша;

Ставрогин Николай Всеволодович;

Тихон (отец Тихон).

В главе, которая должна была быть девятой, рассказывается, как Ставрогин посетил живущего в монастыре на покое архиерея Тихона и дал прочесть ему свою исповедь. В этой откровенной и циничной до предела исповеди Ставрогин признавался-живописал, как несколько лет тому назад изнасиловал 14-летнюю Матрёшу, затем спокойно наблюдал в щёлку, как девочка эта вешается, а через некоторое время женился на убогой и хромой Марье Лебядкиной. Редакция «Русского вестника» отказалась публиковать уже набранную главу, несмотря даже и на то, что Достоевский переделывал-смягчал текст. А между тем, глава эта имеет чрезвычайно важное значение для характеристики Ставрогина, и мыслилась автором как идейный и композиционный центр романа. Однако ж в дальнейшем, при отдельном издании романа, Достоевский главу «У Тихона» почему-то так и не восстановил. Сохранилась она в виде гранок декабрьской книжки *PВ* за 1871 г. с правкой Достоевского и в виде копии, сделанной А. Г. Достоевской с рукописи и не доведённая до конца.

Униженные и оскорблённые

Роман в четырёх частях с эпилогом. Вр, 1861, № 1—7, с подзаголовком: «Из записок неудавшегося литератора» и посвящением *М. М. Достоевскому*. (III)

Основные персонажи:

Азорка;

Александр Петрович;

Александра Семёновна;

Архипов;

Безмыгин;

Бубнова Анна Трифоновна (мадам Бубнова);

Валковский Алексей Петрович (Алёша);

Валковский Пётр Александрович (князь Валковский);

Иван Петрович;

Ихменев Николай Сергеевич;

Ихменева (Шумилова) Анна Андреевна;

Ихменева Наталья Николаевна (Наташа);

Маслобоев Филипп Филиппович;

Матрёна;

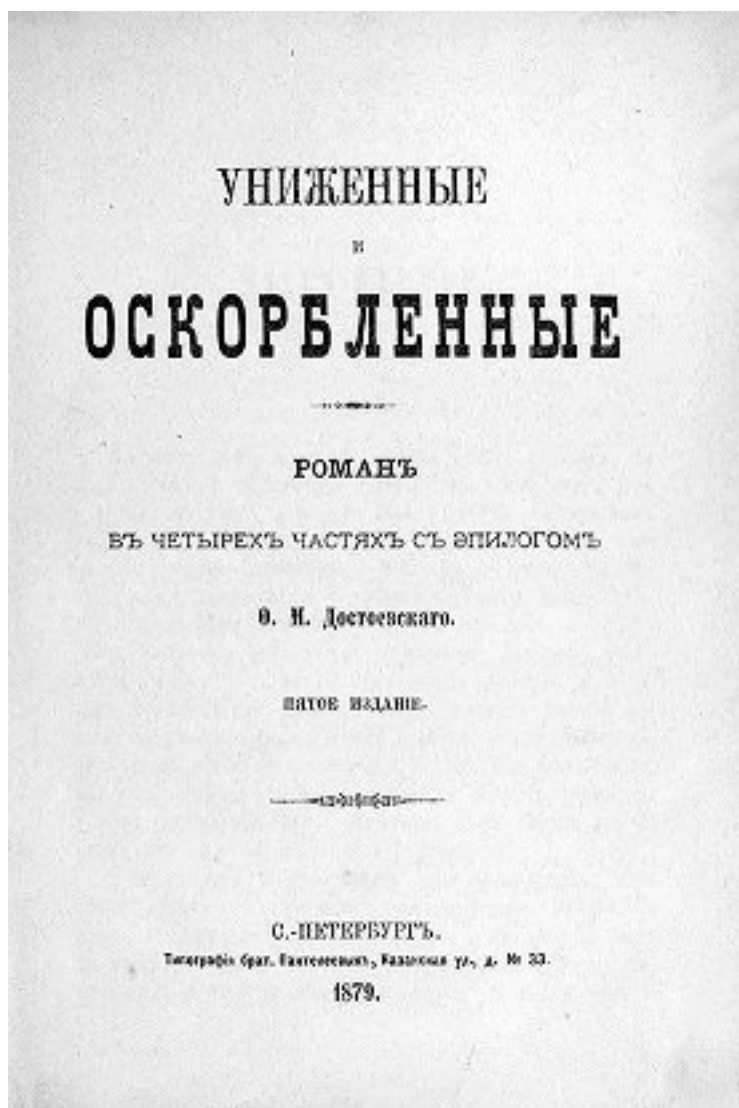
Митрошка;

Нелли (Елена);

Сизобрюхов Степан Терентьевич;

Смит Иеремия;

Филимонова Катерина Фёдоровна (Катя).



Бедный и больной литератор Иван Петрович, находясь при смерти в больнице, пишет-вспоминает о событиях последнего года. Все эти «прошедшие впечатления» волнуют его «до боли, до муки», и если бы он не изобрёл себе «этого занятия» – написать нечто вроде романа о происшедшем, – он бы «умер с тоски». А произошло вот что. Иван Петрович рано остался сиротой и вырос в семье мелкопоместного помещика Ихменева, которая стала ему как родной, а единственная их дочь, Наташа, – вместо сестры. И вот два года назад, когда Иван уже жил в Петербурге и только-только «выскочил в литераторы», его первый роман (судя по пересказу, очень напоминающий *«Бедные люди»*) имел успех, разорившийся Ихменев с семьёй перебрался в столицу – искать справедливости, вести тяжбу с разорителем. А им, обидчиком, был сосед по имениям князь Валковский. Тяжба приняла затяжной и невыгодный для старика Ихменева характер. А между тем, у Наташи Ихменевой (которую Иван Петрович, конечно же, давно и горячо любил совсем не как сестру) вспыхивает страстный роман с молодым князем Алёшей Валковским, она сбегает от родителей к нему. У Алёши же, в свою очередь, есть невеста Катя, которую он любит. Но он и Наташу полюбил, казалось бы, больше жизни – даже наперекор отцу. А Иван Петрович, махнув рукой на личное счастье, помогает Наташе и Алёше выстоять в борьбе с деспотизмом родителей, поддерживает их. Для него главное ничего на свете нет – лишь бы его любимая была счастлива. А теперь о Нелли. Эта нищая девочка появилась в судьбе Ивана Петровича тоже год назад. Он случайно познакомился с её дедом в день его смерти и взял как бы опекунство над девочкой, оставшейся совсем сиротой. Но, как выясняется по ходу повествования, не совсем уж она сирота, ибо отцом-то её является никто другой,

как всё тот же князь Валковский. Но настоящую семью обретает Нелли, ставшая Леной, в доме Ихменевых... Однако ж кончается всё грустно: процесс Валковскому проигран, Наташа молодым князем брошена, Нелли умерла, Иван Петрович остаётся один, дни его сочтены, «Униженные и оскорблённые» – его лебединая песня...

* * *

Ещё из Сибири (8 нояб. 1857 г.) Достоевский писал старшему брату *М. М. Достоевскому*, что собирается написать «роман из петербургского быта, вроде “Бедных людей” (а мысль ещё лучше “Бедных людей”)...» Но приступил он к работе над романом уже в Петербурге в мае 1860 г. и завершил в июле 1861-го. Роман имел большой успех у читающей публики и способствовал быстрому росту тиража журнала *«Время»*. Мнения критиков, естественно, разделились. Одними из первых и доброжелательно оценили новый роман автора «Бедных людей»: *Н. Г. Чернышевский* (*С*, 1861, № 2) и *А. Н. Плещеев* (*МВед*, 1861, № 13, 17 янв.), *А. Хитров* («Сын отечества», 1861, № 9) и др. А вот *Г. А. Кушелев-Безбородко* (*РСл*, 1861, № 9), *Н. А. Добролюбов* (*С*, 1861, № 9), *Е. Тур* («Русская речь», 1861, № 11) и ряд других рецензентов, наоборот, признавая занимательность романа, находили в нём серьёзные, на их взгляд, недостатки – надуманность сюжета, немотивированность поведения героев, мелодраматический колорит. О том, как близко к сердцу принимал Достоевский подобные отзывы, можно судить по его признанию в *«Примечании <к статье Н. Страхова “Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве”>»*, сделанному спустя три года: «Совершенно сознаюсь, что в моём романе выставлено много кукол, а не людей, что в нём ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму (на что требовалось действительно время и выноска идей в уме и в душе). В то время как я писал, я, разумеется, в жару работы, этого не сознавал, а только разве предчувствовал. Но вот что я знал наверно, начиная тогда писать: 1) что хоть роман и не удастся, но в нём будет поэзия, 2) что будет два-три места горячих и сильных, 3) что два наиболее серьёзных характера будут изображены совершенно верно и даже художественно. Этой уверенности было с меня довольно. Вышло произведение дикое, но в нём есть с полсотни страниц, которыми я горжусь...» И далее автор, отдав всю какую только можно дань скромности, позволяет вылиться из-под своего пера и фразе, наполненной достоинством и сдержанной авторской гордостью: «Произведение это обратило, впрочем, на себя некоторое внимание публики...» Невольно подумаешь – если бы та же Евгения Тур (*Е. В. Салиас-де-Турнемир*), посчитавшая высокомерно, что-де «Униженные и оскорблённые» «не выдерживают ни малейшей художественной критики», вместо своих пухлых «художественных» романов («Племянница», «Три поры жизни» и пр.) написала бы, создала только одно произведение уровня и значимости этого «петербургского романа» Достоевского, она уже не была бы сейчас так прочно и безнадежно забыта...

«Униженные и оскорблённые» – первый большой, со сложным разветвлённым сюжетом роман писателя, это как бы репетиция, проба, подступ к романам, которые составят «великое пятикнижие» Достоевского, принесут ему всемирную известность. Недаром в «Униженных и оскорблённых» вспоминается творческая история самого первого романа писателя – «Бедные люди», – недаром возникает и своеобразная переключка между заглавиями. Достоевский как бы подводит итог своему раннему периоду творчества, оценивает его и окончательно завершает.

Хозяйка

Повесть. ОЗ, 1847, № 10, 12. (I)

Основные персонажи:

Алексей (Алёша);

Дворник-татарин;

Катерина;

Кошмаров;

Мурин Илья;

Ордынов Василий;

Ярослав Ильич.

В повести, состоящей из двух частей, много таинственного, недосказанного, мистического. Молодой человек по фамилии Ордынов решил переменить квартиру и снял угол от жильцов в квартире некоего Мурина, у которого в прошлом была какая-то мрачная история и который на поверку оказывается чуть ли не колдуном. Странная у Мурина и молодая жена Катерина (дворник-татарин так прямо считает её сумасшедшей) и тоже со своей мрачно-таинственной историей в прошлом. Между Ордыновым и Катериной вспыхивают-начинаются вдруг болезненные мучительные отношения – горячая какая-то любовь. И, конечно, – ревность со стороны старого мужа, дело чуть не доходит до смертоубийства. Но всё заканчивается лишь разлукой – Ордынов съезжает от Муриных, переносит тяжелейшую болезнь, чудом выживает, а через некоторое время узнаёт, что Мурины уехали из Петербурга...

* * *

Достоевскому, после упоительного успеха *«Бедных людей»*, суждено было испытать горькую чашу: В. Г. Белинский, а вслед за ним и большинство читателей и критиков считали каждое его последующее произведение всё более неудачным. Молодой писатель после очередного провала с повестью *«Господин Прохарчин»* отказывается от прежних аналогичных замыслов, от «повторения старого», как напишет он в 20-х числах октября М. М. Достоевскому, и с вдохновением пишет-создаёт *«Хозяйку»*. Вместо бедного униженного чиновника в герои взят «мечтатель», что внесло в типичную «петербургскую» повесть с элементами «физиологического очерка» струю романтизма. Кроме того, в этом произведении впервые у Достоевского столь много внимания уделено анализу внутреннего психологического состояния героя, исследованию самых потаённых «извивов» его души. Определённое воздействие на стиль (близкий фольклорному) и колорит повести оказало раннее творчество Н. В. Гоголя, особенно – «Страшная месть».

Увы, надежды Достоевского на успех своего необычного произведения провалились. Белинский первый и беспощадно осудил его «романтический» опыт в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (С, 1848, № 1, 3): «...автор хотел попытаться помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши сюда немного юмору в новейшем роде и сильно натеревши всё это лаком русской народности <...> Во всей этой повести нет ни одного простого и живого слова или выражения: всё изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво...» В письмах же к друзьям (В. П. Боткину, П. В. Анненкову) «неистовый Виссарион» и вовсе не церемонился, называя *«Хозяйку»* «мерзостью» и «страшной ерундой». Из критиков разве только А. А. Григорьев, уже тогда более чутко понимающий творчество Достоевского, как достоинство повести отметил её «тревожную лихорадочность» (РСЛ, 1859, № 5).

Честный вор

(Из записок неизвестного). Рассказ. ОЗ, 1848, № 4, под заглавием: «Рассказы бывалого человека. (Из записок неизвестного). I. Отставной. II. Честный вор». (II)

Основные персонажи:

Аграфена;

Астафий Иванович;

Емельян Ильич (Емеля);

Костоправов;

Неизвестный.

Астафий Иванович, отставной солдат и бывший дворецкий, оставшись без места, зарабатывает на хлеб шитьём. По доброте душевной приютил он в своём углу пьянчужку Емелю, с которым сошёлся-познакомился случайно в харчевне. Тот, конечно, благодарен без меры, держит себя тихо, скромно, «ветошкой», лишнего не просит, всё по кабакам ходит пьёт горькую и почти не ест. Только однажды пропали у Астафия Ивановича только что пошитые рейтузы из сундука. Емельян клянётся-божится – не он украл. А сам пьян и нос в табаке. Так и не признался и вовсе пропал из дому. А через пять дней возвратился, трезвый, похмельный, в мучительном раздумье, всё маялся какой-то думой, даже выпить чарку, поднесённую добрейшим Астафием Ивановичем, наотрез отказался, в конце концов слёг от переживаний в смертельном недуге и уже перед самой кончиной признался-таки: он, он украл злополучные портки – согрешил...

* * *

Достоевский задумывал цикл произведений, объединённых образом повествователя – Неизвестного. Кроме «Рассказов бывалого человека» он появляется ещё в «Ёлке и свадьбе». Сами же «Рассказы бывалого человека» должны были, судя по всему, состоять из трёх произведений, объединённых, в свою очередь, героем по имени Астафий Иванович. В первом рассказе, под названием «Отставной» (текст его публикуется в ПСС в примечаниях к «Честному вору»), Астафий Иванович вспоминает о своём солдатском прошлом и об участии в войне против Наполеона. Во втором, под названием «Домовой», герой уже оставил солдатскую службу, живёт в Петербурге, работает на фабрике. Третьим и был «Честный вор», события в котором происходят «тому назад года два», когда Астафий Иванович, уже побывав в дворецких у одного барина, был без места и встретился с Емелей, и эту горькую историю рассказывает он Неизвестному, у которого, в свою очередь, является теперь жильцом и нахлебником. Замысел «Домового» не был осуществлён (сохранилось в рукописи лишь начало), и в ОЗ появились только две части. Для издания 1860 г. Достоевский объединил оба рассказа под общим заглавием «Честный вор (Из записок неизвестного)». Название это перекликается с популярной комедией-водевилем Д. Т. Ленского «Честный вор» (1829). П. В. Анненков в обзоре «Заметки о русской литературе прошлого года» (С, 1849, № 1) весьма благожелательно оценил «Честного вора», и это был единственный отзыв о рассказе Достоевского в критике 1840-х гг.

Чтобы кончить

Последнее объяснение с «Современником». Статья. Э, 1864, № 9, без подписи. (XX)

Данное «объяснение» стало действительно последним в полемике Достоевского с «Современником», начатой статьёй «Молодое перо» и продолженной статьями «Опять “Молодое перо”», «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», «Необходимое заявление». На последнюю из них и заметку в том же номере «Эпохи» (1864, № 7) Н. Н. Страхова «Мрак неизвестности (Заметки летописца)» М. А. Антонович («Посторонний сатирик») разразился пятью статьями, объединённых заглавием «Литературные мелочи», в 9-м номере «Современника». В окончательном ответе редактора «Эпохи» язвительно подчёркивается эта несоразмерность затраченных полемических средств: «Господа Современники, в июльской книге нашей по поводу двух ваших статей об “Эпохе”, сотрудник наш Ф. Достоевский написал о вас заявление, самое необходимое, – в три страницы. На это вы ответили полемикой ровно в *сорок восемь страниц!* <...> Сорок восемь страниц ответа на три страницы! И неужели вы не сообразили, что это не только бестактно, но и бездарно; что можно отвечать и двумя страницами, но так, что и на двух страницах (если вы правы) можно совершенно разрушить своего противника...» В дальнейшем, вплоть до закрытия «Эпохи», полемику с Антоновичем вёл Страхов.

Чужая жена и муж под кроватью

(Происшествие необыкновенное). Рассказ. Впервые как два отдельных рассказа: 1) «Чужая жена. (Уличная сценка)», *ОЗ*, 1848, № 1; 2) «Ревнивый муж. (Происшествие необыкновенное)», *ОЗ*, 1848, № 11. (II)

Основные персонажи:

Александр Демьянович;

Амишка;

Бобыницын;

Половицын;

Творогов Иван Ильич;

Шабрин Иван Андреевич;

Шабрина Глафира Петровна.

Болезненно ревнивый муж, пытаясь выследить жену, сначала знакомится сразу с двумя её любовниками, а в другой раз и вовсе по ошибке попадает совершенно в чужую квартиру и сам оказывается под кроватью в роли прячущегося от мужа любовника, причём, с изумлением обнаруживает, что прячется под кроватью не один...

* * *

Судя по начальным строкам рассказа «Ревнивый муж», опущенные при слиянии его с рассказом «Чужая жена» (в издании 1860 г.), эти произведения входили в цикл, объединённых рассказчиком *Неизвестным*, и были, таким образом, связаны с «*Ёлкой и свадьбой*» и «*Честным вором*». При объединении двух рассказов «Ревнивый муж» был значительно сокращён. Это произведение, написанное на стыке сатирического *фельетона* и водевиля, наглядно подтверждает комический талант Достоевского, уже ярко проявившийся в «*Бедных людях*». Мало кто помнит пронизательное суждение *В. Г. Белинского* о молодом Достоевском в рецензии на «*Петербургский сборник*» (*ОЗ*, 1846, № 3): «С первого взгляда видно, что талант г. Достоевского не сатирический, не описательный, но в высокой степени творческий и что преобладающий характер его таланта – юмор. <...> смешить и глубоко потрясать душу читателя в одно и тоже время, заставить его улыбаться сквозь слёзы, – какое умение, какой талант!...» Водевильное содержание подчёркнуто и характерным названием – автору хорошо были известны популярные водевили тех лет «Муж в камине, а жена в гостях», «Жена за столом, а муж под полом» и т. п. Этот свой «водевильный опыт» пригодится писателю позже при работе над первыми «послекаторжными» произведениями – «*Дядюшкин сон*» и «*Село Степанчиково и его обитатели*». Достоевский помнил, конечно, об успехе «Чужой жены» и «Ревнивого мужа» – *С. С. Дудышкин*, обозревая достижения русской литературы за 1848 г. (*ОЗ*, 1849, № 1), свидетельствовал, что публика их читала с удовольствием.

Шут

См. **Ползунков.**

Щекотливый вопрос

Статья со свистом, с превращениями и переодеваниями. *Вр*, 1862, № 10, без подписи. (XX)

Данная статья – кульминационная в полемике Достоевского с *М. Н. Катковым* и его «*Русским вестником*». Основной объём её занимает драматическая пародийная сцена, якобы пришедшая автору: действие происходит в банкетном зале на обеде по подписке, Оратор (Катков) – произносит спич, который всё время сбивается на диалог-спор, ибо его беспрестанно перебивают то Нигилист, то Николай Филиппович (Павлов, редактор газеты «Наше время»), то разные другие голоса справа и слева. В этой мало известной современному читателю статье ярко проявился не только полемический талант Достоевского, но и талант драматурга (стоит вспомнить не дошедшие до нас его ранние драматические опыты «*Мария Стюарт*», «*Борис Годунов*» и «*Жид Янкель*») и блестящий дар пародиста (проявившийся ещё в «*Бедных людях*»).

Сатирический портрет Каткова, рисуемый здесь, был намечен ещё в «*Ответе "Русскому вестнику"*» (*Вр*, 1861, № 5), где об издателе *РВ* сказано: «Подумаешь, что ему приятнее всего, собственно, процесс, манера наставлений и болтовни...» В «Щекотливом вопросе» отправной точкой для Достоевского стала статья «Кто виноват?» в газете «Современное слово» (1861, № 99—102), в которой Катков объявлялся чуть ли не главным виновником зарождения и разгула нигилизма в России. Редактор «*Времени*» остроумно обыграл это абсурдное преувеличение, создав остросатирический портрет Каткова – англоманствующего тщеславного фразёра, равнодушного к России. Примечательно то, что Оратор-Катков из «Щекотливого вопроса» во многом напоминает тщеславного литератора-западника *Кармазинова* из будущего романа «*Бесы*», который будет публиковаться как раз на страницах катковского «Русского вестника» – ирония истории литературы.



Раздел II. **ПЕРСОНАЖИ**

Blanche (mademoiselle Blanche; Бланш; m-lle Зельма)

«Игрок»

Француженка-авантюристка, предмет воздыханий *Генерала*, вместе со своим дружкой и дальним родственником *Де-Грие* ловко использующая страсть старого ловеласа в корыстных целях. «Кто такая m-lle Blanche? Здесь у нас говорят, что она знатная француженка, имеющая с собой свою мать и колоссальное состояние. Известно тоже, что она какая-то родственница нашему маркизу, только очень дальняя, какая-то кузина или троюродная сестра. <...> M-lle Blanche красива собою. Но я не знаю, поймут ли меня, если я выражусь, что у ней одно

из тех лиц, которых можно испугаться. По крайней мере я всегда боялся таких женщин. Ей, наверно, лет двадцать пять. Она рослая и широкоплечая, с крутыми плечами; шея и грудь у неё роскошны; цвет кожи смугло-жёлтый, цвет волос чёрный, как тушь, и волос ужасно много, достало бы на две куафюры. Глаза чёрные, белки глаз желтоватые, взгляд нахальный, зубы белейшие, губы всегда напояжены; от неё пахнет мускусом. Одевается она эффектно, богато, с шиком, но с большим вкусом. Ноги и руки удивительные. Голос её – сильный контральто. Она иногда расхохочется и при этом покажет все свои зубы, но обыкновенно смотрит молчаливо и нахально <...> Мне кажется, m-lle Blanche безо всякого образования, может быть даже и не умна, но зато подозрительна и хитра. Мне кажется, её жизнь была-таки не без приключений. Если уж говорить все, то может быть, что маркиз вовсе ей не родственник, а мать совсем не мать...» В конце концов мадмуазель Бланш выскочила-таки замуж за генерала и успела до его скорой кончины перевести на себя все наследованные им капиталы...

О таких «опустившихся» парижанах, как m-lle Blanche и Де-Грие Достоевский писал с сарказмом в *«Зимних заметках о летних впечатлениях»*, в главах «Опыт о буржуа» и «Брибри и мабишь».

M-me M* (Natalie)

«Маленький герой»

Замужняя дама, в которую влюбился *Маленький герой*. «М-me M* была тоже очень хороша собой, но в красоте её было что-то особенное, резко отделявшее её от толпы хорошеньких женщин; было что-то в лице её, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии, или, лучше сказать, что пробуждало благородную, возвышенную симпатию в том, кто встречал её. Есть такие счастливые лица. Возле неё всякому становилось как-то лучше, как-то свободнее, как-то теплее, и, однако ж, её грустные большие глаза, полные огня и силы, смотрели робко и беспокойно, будто под ежеминутным страхом чего-то враждебного и грозного, и эта странная робость таким унынием покрывала подчас её тихие, кроткие черты, напоминавшие светлые лица итальянских мадонн, что, смотря на неё, самому становилось скоро так же грустно, как за собственную, как за родную печаль. Это бледное, похудевшее лицо, в котором сквозь безукоризненную красоту чистых, правильных линий и унылую суровость глухой, затаенной тоски ещё так часто просвечивал первоначальный детски ясный облик, – образ ещё недавних доверчивых лет и, может быть, наивного счастья; эта тихая, но несмелая, колебавшаяся улыбка – всё это поражало таким безотчетным участием к этой женщине, что в сердце каждого невольно зарождалась сладкая, горячая забота, которая громко говорила за неё ещё издали и ещё вчуже роднила с нею. Но красавица казалась как-то молчаливою, скрытною, хотя, конечно, не было существа более внимательного и любящего, когда кому-нибудь надобилось сочувствие. Есть женщины, которые точно сестры милосердия в жизни. Перед ними можно ничего не скрывать, по крайней мере ничего, что есть больного и уязвленного в душе. Кто страдает, тот смело и с надеждой иди к ним и не бойся быть в тягость, затем что редкий из нас знает, насколько может быть бесконечно терпеливой любви, сострадания и всепрощения в ином женском сердце. Целые сокровища симпатии, утешения, надежды хранятся в этих чистых сердцах, так часто тоже уязвленных, потому что сердце, которое много любит, много грустит, но где рана бережливо закрыта от любопытного взгляда, затем что глубокое горе всего чаще молчит и таится. Их же не испугает ни глубина раны, ни гной её, ни смрад её: кто к ним подходит, тот уж их достоин; да они, впрочем, как будто и рождаются на подвиг... М-me M* была высока ростом, гибка и стройна, но несколько тонка. Все движения её были как-то неровны, то медленны, плавны и даже как-то важны, то детски-скоры, а вместе с тем и какое-то робкое смирение проглядывало в её жесте, что-то как будто трепещущее и незащищенное, но никого не просившее и не молившее о защите...»

Маленький герой стал невольным свидетелем её семейной тайны-драмы: она несчастна с мужем и любит другого человека...

M-r M*

«Маленький герой»

Муж *m-me M**, в которую влюбился первой уж не детской любовью *Маленький герой*. Ему дана подробная и обобщающая характеристика: «Говорили, что муж её ревнив, как арап, не из любви, а из самолюбия. Прежде всего это был европеец, человек современный, с образчиками новых идей и тщеславящийся своими идеями. С виду это был черноволосый, высокий и особенно плотный господин, с европейскими бакенбардами, с самодовольным румяным лицом, с белыми как сахар зубами и с безукоризненной джентльменской осанкой. Называли его *умным человеком*. Так в иных кружках называют одну особую породу растолстевшего на чужой счёт человечества, которая ровно ничего не делает, которая ровно ничего не хочет делать и у которой, от вечной лени и ничегонеделания, вместо сердца кусок жира. От них же поминутно слышишь, что им нечего делать вследствие каких-то очень запутанных, враждебных обстоятельств, которые “утомляют их гений”, и что на них, поэтому, “грустно смотреть”. <...> На первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа, их Молох и Ваал, их великолепное я. Вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтоб мой божок непрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел; после этого и немудрено, что всё на свете видит он в таком безобразном виде. На всё у него припасена готовая фраза, и, – что, однако ж, верх ловкости с их стороны, – самая модная фраза. Даже они-то и способствуют этой моде, голословно распространяя по всем перекресткам ту мысль, которой почуют успех. Именно у них есть чутьё, чтоб пронюхать такую модную фразу и раньше других усвоить её себе, так, что как будто она от них и пошла. Особенно же запасаются они своими фразами на изъявление своей глубочайшей симпатии к человечеству, на определение, что такое самая правильная и оправданная рассудком филантропия, и, наконец, чтоб безостановочно карать романтизм, то есть зачастую всё прекрасное и истинное, каждый атом которого дороже всей их слизняковой породы. Но грубо не узнают они истины в уклоненной, переходной и неготовой форме и отталкивают всё, что ещё не поспело, не устоялось и бродит. Упитанный человек всю жизнь прожил навеселе, на всем готовом, сам ничего не сделал и не знает, как трудно всякое дело делается, а потому беда какой-нибудь шероховатостью задеть его жирные чувства: за это он никогда не простит, всегда припомнит и отомстит с наслаждением. Итог всему выйдет, что мой герой есть не более не менее как исполинский, донельзя раздутый мешок, полный сентенций, модных фраз и ярлыков всех родов и сортов.

Но, впрочем, *m-r M** имел и особенность, был человек примечательный: это был остряк, говорун и рассказчик, и в гостиных кругом него всегда собирался кружок...»

NN (Иван NN, генерал NN)

«Попрошайка»

Герой малоизвестного рассказа Достоевского, опубликованного без подписи в газете-журнале *«Гражданин»* (1873), – столичный генерал. «...этот генерал был человек довольно чванный и неприступный, и особенно трудно было выпросить у него какое-нибудь рекомендательное письмо, даже близким знакомым...» Однако ж, как оказалось, генерал ещё и скуповат, так что некоему *Павлу Михайловичу С.*, ловкому психологу, удалось, напугав предварительно NN займом денег, получить от него нужную рекомендацию в четверть часа.

А—В

«Записки из Мёртвого дома»

Каторжник из дворян, один из двоих (вместе с *Куликовым*), кому удалось совершить побег. «Это был самый отвратительный пример, до чего может опуститься и исподлиться человек и до какой степени может убить в себе всякое нравственное чувство, без труда и без раскаяния. А—в был молодой человек, из дворян, о котором уже я отчасти упоминал, говоря, что он переносил нашему плац-майору всё, что делается в остроге, и был дружен с денщиком Федькой. Вот краткая его история: не докончив нигде курса и рассорившись в Москве с родными, испугавшимися развратного его поведения, он прибыл в Петербург и, чтоб добыть денег, решился на один подлый донос, то есть решился продать кровь десяти человек для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и развратным наслаждениям, до которых он, соблазненный Петербургом, его кондитерскими и Мещанскими, сделался падок до такой степени, что, будучи человеком неглупым, рискнул на безумное и бессмысленное дело. Его скоро обличили; в донос свой он впутал невинных людей, других обманул, и за это его сослали в Сибирь, в наш острог, на десять лет. Он ещё был очень молод, жизнь для него только что начиналась. Казалось бы, такая страшная перемена в его судьбе должна была поразить, вызвать его природу на какой-нибудь отпор, на какой-нибудь перелом. Но он без малейшего смущения принял новую судьбу свою, без малейшего даже отвращения, не возмущился перед ней нравственно, не испугался в ней ничего, кроме разве необходимости работать и расстаться с кондитерскими и с тремя Мещанскими. Ему даже показалось, что звание каторжного только ещё развязало ему руки на ещё большие подлости и пакости. “Каторжник, так уж каторжник и есть; коли каторжник, стало быть, уж можно подличать, и не стыдно”. Буквально, это было его мнение. Я вспоминаю об этом гадком существе как об феномене. Я несколько лет прожил среди убийц, развратников и отъявленных злодеев, но положительно говорю, никогда ещё в жизни я не встречал такого полного нравственного падения, такого решительного разврата и такой наглой низости, как в А—ве. <...> На мои глаза, во всё время моей острожной жизни, А—в стал и был каким-то куском мяса, с зубами и с желудком и с неутолимой жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений, а за удовлетворение самого малейшего и прихотливейшего из этих наслаждений он способен был хладнокровнейшим образом убить, зарезать, словом, на всё, лишь бы спрятаны были концы в воду. Я ничего не преувеличиваю; я узнал хорошо А—ва. Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренне никакой нормой, никакой законностью. И как отвратительно мне было смотреть на его вечную насмешливую улыбку. Это было чудовище, нравственный Квазимодо. Прибавьте к тому, что он был хитёр и умён, красив собой, несколько даже образован, имел способности. Нет, лучше пожар, лучше мор, чем такой человек в обществе!..» В другом месте об А—ве сказано ещё определённое – «низкое и подленькое создание, страшно развращённое, шпион и доносчик по ремеслу».

А—в – это реальное лицо, арестант *Омского* острога (где Достоевский отбывал 4 года каторги) *П. Аристов*. Примечательно, что в черновых записях к «Преступлению и наказанию» А—вым именуется *Свидригайлов*.

Авдотья Игнатьевна

«Бобок»

Сластолюбивая дамочка, которая и при жизни мало чего стыдилась, жила в своё удовольствие и понятие о морали имела весьма смутное (развратила *Клиневича*, когда он был ещё 14-летним пажом), и на кладбище лишь только услышала голос *Молодого человека*, которого только что похоронили, снова за своё: «—Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! – восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. – Вот если б такого подле положили!..» Неудивительно, что она первая с восторгом подхватила идею того же Клиневича – ничего не стыдиться и обнажиться: «— Ах, как я хочу ничего не стыдиться! <...> Я ужасно, ужасно хочу обнажиться!..» Генерал *Первоедов* называет её «криксой», то есть, по В. И. Далю, крикливой.

Аграфена

«Честный вор»

Кухарка, прачка и «домоводка» *Неизвестного*, «автора» записок. Именно по её протекции хозяин вынужден был пустить на квартиру *Астафия Ивановича*, который и рассказал в один из вечеров историю о «честном воре» *Емельяне Ильиче (Емеле)*. «До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что, кроме ежедневных двух слов о том, чего приготовить к обеду, не сказала лет в шесть почти ни слова. По крайней мере я более ничего не слышал от нее. <...> Наконец я, после долгих усилий, узнал, что какой-то пожилой человек уговорил или как-то склонил Аграфену пустить его в кухню, в жильцы и в нахлебники. Что Аграфене пришлось в голову, тому должно было сделаться; иначе, я знал, что она мне покоя не даст. В тех случаях, когда что-нибудь было не по ней, она тотчас же начинала задумываться, впадала в глубокую меланхолию, и такое состояние продолжалось недели две или три. В это время портилось кушанье, не досчитывалось бельё, полы не были вымыты, – одним словом, происходило много неприятностей. Я давно заметил, что эта бессловесная женщина не в состоянии была составить решения, установиться на какой-нибудь собственно ей принадлежащей мысли. Но уж если в слабом мозгу её каким-нибудь случайным образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на предприятие, то отказать ей в исполнении значило на несколько времени морально убить её...»

Азорка (пёс)

«Униженные и оскорблённые»

Собака эта принадлежала когда-то дочери старика *Смита* и осталась как воспоминание о прежних счастливых временах, когда он ещё не проклинал горячо любимую дочь свою. *Иван Петрович* обратил при первой встрече внимание на старика во многом благодаря собаке: «“... И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, и которая так на него похожа?”»

Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет восемьдесят; да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывают никакие собаки, а во-вторых, отчего же мне, с первого раза, как я её увидал, тотчас же пришло в голову, что эта собака не может быть такая, как все собаки; что она – собака необыкновенная; что в ней непременно должно быть что-то фантастическое, заколдованное; что это, может быть, какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде и что судьба её какими-то таинственными, неведомыми путами соединена с судьбою её хозяина. Глядя на неё, вы бы тотчас же согласились, что, наверно, прошло уже лет двадцать, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет, или (чего же лучше?) как её господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Когда оба они шли по улице – господин впереди, а собака за ним следом, – то её нос прямо касался полы его платья, как будто к ней приклеенный. <... > Помню, мне ещё пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни, и разгуливают по белому свету в виде ходячих афишек к изданию...» Сцена смерти пса исполнена высокого трагизма: «– Азорка, Азорка! – тоскливо повторял старик и пошевелил собаку палкой, но та оставалась в прежнем положении.

Палка выпала из рук его. Он нагнулся, стал на оба колена и обеими руками приподнял морду Азорки. Бедный Азорка! Он был мёртв. Он умер неслышно, у ног своего господина, может быть от старости, а может быть и от голода. Старик с минуту глядел на него, как поражённый, как будто не понимая, что Азорка уже умер; потом тихо склонился к бывшему слуге и другу и прижал своё бледное лицо к его мёртвой морде. Прошла минута молчанья. Все мы были тронуты... Наконец бедняк приподнялся. Он был очень бледен и дрожал, как в лихорадочном ознобе...» Старик и сам в тот же день умер. Как констатировала позже его внучка *Нелли*: «Мамашу не простил, а когда собака умерла, так сам умер...»

Аким Акимыч

«Записки из Мёртвого дома»

Каторжный из дворян в *Омском* остроге, бывший армейский прапорщик, получивший 12 лет каторги за то, что, служа на Кавказе начальником небольшой крепости, учинил самосуд над местным князьком-разбойником. «...редко видал я такого чудака, как этот Аким Акимыч. Резко отпечатался он в моей памяти. Был он высок, худощав, слабоумен, ужасно безграмотен, чрезвычайный резонёр и аккуратен, как немец. Каторжные смеялись над ним; но некоторые даже боялись с ним связываться за придирчивый, взыскательный и вздорный его характер. Он с первого шагу стал с ними запанибрата, ругался с ними, даже дрался. Честен он был феноменально. Заметит несправедливость и тотчас же ввяжется, хоть бы не его было дело. Наивен до крайности: он, например, бранясь с арестантами, корил их иногда за то, что они были воры, и серьёзно убеждал их не воровать. <...> Но, несмотря на то что арестанты подсмеивались над придурью Акима Акимыча, они все-таки уважали его за аккуратность и уместность.



Арестанты на нарах в казарме острога. Художник Н. Н. Карзин.

Не было ремесла, которого бы не знал Аким Акимыч. Он был столяр, сапожник, башмачник, маляр, золотильщик, слесарь, и всему этому обучился уже в каторге. Он делал всё самоучкой: взглянет раз и сделает. Он делал тоже разные ящики, корзинки, фонарики, детские игрушки и продавал их в городе. Таким образом, у него водились деньжонки, и он немедленно употреблял их на лишнее белье, на подушку помягче, завёл складной тюфячок. Помещался он в одной казарме со мною и многим услужил мне в первые дни моей каторги <...> Совершенно равнодушных, то есть таких, которым было бы всё равно жить что на воле, что в каторге, у нас, разумеется, не было и быть не могло, но Аким Акимыч, кажется, составлял исключение. Он даже и устроился в остроге так, как будто всю жизнь собирался прожить в нём: всё вокруг него, начиная с тюфяка, подушек, утвари, расположилось так плотно, так устойчиво, так надолго. Бивачного, временного не замечалось в нём и следа. Пробыть в остроге оставалось ему ещё много лет, но вряд ли он хоть когда-нибудь подумал о выходе. Но если он и примирился с действительностью, то, разумеется, не по сердцу, а разве по субординации, что, впрочем, для

него было одно и то же. Он был добрый человек и даже помогал мне вначале советами и какими-то услугами; но, иногда, каюсь, невольно он нагонял на меня, особенно в первое время, тоску беспримерную, ещё более усиливавшую и без того уже тоскливое расположение моё...»
Прототип Акима Акимыча – *Е. Бельх*.

Акулина Анкудимовна (Кудимовна)

«Записки из Мёртвого дома» / «Акулькин муж» /

Героиня вставного рассказа «Акулькин муж», подслушанного повествователем «Записок...» *Горянчиковым* в одну из бессонных ночей в госпитале – деревенская молодая баба (18 лет), которую муж (*Шишков*) бил из-за ревности смертным боем, а потом и вовсе зарезал, за что и угодил на каторгу. Характер Акулины особенно проявился в сцене, когда она обезумевшему окончательно от ревности мужу заявляет, что *Фильку Морозова*, который был её женихом до *Шишкова* и загубил её жизнь грязной сплетней, она «больше света и любит»...

Алей

«Записки из Мёртвого дома»

Каторжник, дагестанский татарин, младший из трёх братьев арестантов. «Алей, был не более двадцати двух лет, а на вид ещё моложе. Его место на нарах было рядом со мною. Его прекрасное, открытое, умное и в то же время добродушно-наивное лицо с первого взгляда привлекло к нему моё сердце, и я так рад был, что судьба послала мне его, а не другого кого-нибудь в соседи. Вся душа его выражалась на его красивом, можно даже сказать – прекрасном лице. Улыбка его была так доверчива, так детски простодушна; большие чёрные глаза были так мягки, так ласковы, что я всегда чувствовал особое удовольствие, даже облегчение в тоске и в грусти, глядя на него. Я говорю не преувеличивая. На родине старший брат его (старших братьев у него было пять; два других попали в какой-то завод) однажды велел ему взять пашку и садиться на коня, чтобы ехать вместе в какую-то экспедицию. Уважение к старшим в семействах горцев так велико, что мальчик не только не посмел, но даже и не подумал спросить, куда они отправляются? <...> Все они ехали на разбой, подстеречь на дороге богатого армянского купца и ограбить его. Так и случилось: они перерезали конвой, зарезали армянина и разграбили его товар. Но дело открылось: их взяли всех шестерых, судили, уличили, наказали и сослали в Сибирь, в каторжные работы. Вся милость, которую сделал суд для Алея, был уменьшенный срок наказания: он сослан был на четыре года. Братья очень любили его, и скорее какую-то отеческою, чем братскою любовью. Он был им утешением в их ссылке, и они, обыкновенно мрачные и угрюмые, всегда улыбались, на него глядя, и когда заговаривали с ним (а говорили они с ним очень мало, как будто всё ещё считая его за мальчика, с которым нечего говорить о серьезном), то суровые лица их разглаживались, и я угадывал, что они с ним говорят о чём-нибудь шутилом, почти детском, по крайней мере они всегда переглядывались и добродушно усмехались, когда, бывало, выслушают его ответ. Сам же он почти не смел с ними заговаривать: до того заходила его почтительность. Трудно представить себе, как этот мальчик во всё время своей каторги мог сохранить в себе такую мягкость сердца, образовать в себе такую строгую честность, такую задушевность, симпатичность, не загрузеть, не развратиться. Это, впрочем, была сильная и стойкая натура, несмотря на всю видимую свою мягкость. Я хорошо узнал его впоследствии. Он был целомудрен, как чистая девочка, и чей-нибудь скверный, циничский, грязный или несправедливый, насильный поступок в остроге зажигал огонь негодования в его прекрасных глазах, которые делались оттого ещё прекраснее. Но он избегал ссор и брани, хотя был вообще не из таких, которые бы дали себя обидеть безнаказанно, и умел за себя постоять. Но ссор он ни с кем не имел: его все любили и все ласкали. Сначала со мной он был только вежлив. Мало-помалу я начал с ним разговаривать; в несколько месяцев он выучился прекрасно говорить по-русски, чего братья его не добились во всё время своей каторги. Он мне показался чрезвычайно умным мальчиком, чрезвычайно скромным и деликатным и даже много уже рассуждавшим. Вообще скажу заранее: я считаю Алея далеко не обыкновенным существом и вспоминаю о встрече с ним как об одной из лучших встреч в моей жизни...»

Предполагаемым прототипом Алея был А. Оглы.

Александр Демьянович

«Чужая жена и муж под кроватью»

Старый муж дамы, под кровать которой спрятался ревнивец *Иван Андреевич Шабрин* – хотел разоблачить изменницу-жену, но ошибся квартирой. Александр Демьянович был «тяжёлый муж, если только судить по его тяжёлым шагам», страдал кашлем, геморроем, радикулитом и прочими старческими хворями. Шабрин, находившийся под кроватью не один, не успел вслед за молодым соседом улизнуть в удобную минуту, да к тому же задушил собачку хозяйскую *Амишку*, однако ж когда вылез и во всём признался – рассмешил и Александра Демьяновича, и его супругу, был прощён и отпущен с миром.

Александр Петрович

«Униженные и оскорблённые»

Журналист-антрепренёр, на которого работает *Иван Петрович*. В «Эпилоге» ему дана исчерпывающая характеристика: «Я застаю его, но уже на выходе. Он, в свою очередь, только что кончил одну не литературную, но зато очень выгодную спекуляцию и, выпроводив наконец какого-то черномазенького жидка, с которым просидел два часа сряду в своем кабинете, приветливо подает мне руку и своим мягким, милым баском спрашивает о моём здоровье. Это добрейший человек, и я, без шуток, многим ему обязан. Чем же он виноват, что в литературе он всю жизнь был *только* антрепренёром? Он смекнул, что литературе надо антрепренёра, и смекнул очень вовремя, честь ему и слава за это, антрепренерская, разумеется.

Он с приятной улыбкой узнаёт, что повесть кончена и что следующий номер книжки, таким образом, обеспечен в главном отделе, и удивляется, как это я мог хоть что-нибудь *кончить*, и при этом премило острит. Затем идёт к своему железному сундуку, чтоб выдать мне обещанные пятьдесят рублей, а мне между тем протягивает другой, враждебный, толстый журнал и указывает на несколько строк в отделе критики, где говорится два слова и о последней моей повести. <...> Александр Петрович, конечно, милейший человек, хотя у него есть особенная слабость – похвастаться своим литературным суждением именно перед теми, которые, как и сам он подозревает, понимают его насквозь. Но мне не хочется рассуждать с ним об литературе, я получаю деньги и берусь за шляпу. Александр Петрович едет на Острова на свою дачу и, услышав, что я на Васильевский, благодушно предлагает довезти меня в своей карете.

– У меня ведь новая каретка; вы не видали? Премиленькая.

Мы сходим к подъезду. Карета действительно премиленькая, и Александр Петрович на первых порах своего владения ею ощущает чрезвычайное удовольствие и даже некоторую душевную потребность подвозить в ней своих знакомых. <...> Как он рад теперь, ораторствуя в своей карете, как доволен судьбой, как благодушен! Он ведёт учёно-литературный разговор, и даже мягкий, приличный его басок отзывается учёностью. Мало-помалу он *залиберальничался* и переходит к невинно-скептическому убеждению, что в литературе нашей, да и вообще ни в какой и никогда, не может быть ни у кого честности и скромности, а есть только одно “взаимное битье друг друга по мордасам” – особенно при начале подписки. Я думаю про себя, что Александр Петрович склонен даже всякого честного и искреннего литератора за его честность и искренность считать если не дураком, то по крайней мере простофилей. Разумеется, такое суждение прямо выходит из чрезвычайной невинности Александра Петровича...»

В лице этого литературного антрепренёра и этой сцене Достоевский вывел *А. А. Краевского* и свои взаимоотношения с ним.

Александр Семёнович

«Подросток»

Доктор – один из немногих русских докторов в мире Достоевского: обыкновенно доктора здесь – немцы. Он «свой» человек в доме Версиловых-Долгоруковых (*Татьяна Павловна Пруткова* упоминает, что знала Александра Семёновича, когда ему ещё десять лет было), и *Аркадию Долгорукому* поначалу чрезвычайно не понравился: «Ненавидел же я в те первые дни только одного доктора. Доктор этот был молодой человек и с заносчивым видом, говоривший резко и даже невежливо. Точно они все в науке, вчера только и вдруг, узнали что-то особенное, тогда как вчера ничего особенного не случилось; но такова всегда “середина” и “улица”. Я долго терпел, но наконец вдруг прорвался и заявил ему при всех наших, что он напрасно таскается, что я вылечусь совсем без него, что он, имея вид реалиста, сам весь исполнен одних предрассудков и не понимает, что медицина ещё никогда никого не вылечила; что, наконец, по всей вероятности, он грубо необразован, “как и все теперь у нас техники и специалисты, которые в последнее время так подняли у нас нос”. Доктор очень обиделся (уж этим одним доказал, что он такое), однако же продолжал бывать. Я заявил наконец Версильову, что если доктор не перестанет ходить, то я наговорю ему что-нибудь уже в десять раз неприятнее...» Впоследствии, во время предсмертной болезни *Макара Ивановича Долгорукого*, максималист *Подросток* мнение о докторе меняет: «С доктором я, как-то вдруг так вышло, сошёлся; не очень, но по крайней мере прежних выходок не было. Мне нравилась его как бы простоватость, которую я наконец разглядел в нём, и некоторая привязанность его к нашему семейству, так что я решился наконец ему простить его медицинское высокомерие и, сверх того, научил его мыть себе руки и чистить ногти, если уж он не может носить чистого белья. Я прямо растолковал ему, что это вовсе не для франтовства и не для каких-нибудь там изящных искусств, но что чистоплотность естественно входит в ремесло доктора, и доказал ему это...» Если *Аркадий* уверен, что «доктор был глуп и, естественно, не умел шутить», то знаток человеческих душ *Макар Иванович* в разговоре с *Подростком* характеризует доктора как человека, да и как специалиста так: «— Ну что он знает, твой Александр Семёныч <...> милый он человек, а и не более...»

Александра Михайловна

«Неточка Незванова»

Дочь княгини Х—й (от первого мужа – «откупщика»), падчерица князя Х—го, жена Петра Александровича, старшая сестра по матери Кати и Саши. В её дом перешла Неточка Незванова жить из дома князей Х—х. Эта молодая, красивая и не очень счастливая женщина стала самым для неё близким человеком. Неточка дважды набрасывает её портрет: «Александра Михайловна была женщина лет двадцати двух, тихая, нежная, любящая; словно какая-то затаённая грусть, какая-то скрытая сердечная боль сурово оттеняли прекрасные черты её. Серьёзность и суровость как-то не шли к её ангельски ясным чертам, словно траур к ребёнку. Нельзя было взглянуть на неё, не почувствовав к ней глубокой симпатии. Она была бледна и, говорили, склонна к чахотке, когда я её первый раз видела. Жила она очень уединённо и не любила ни съездов у себя, ни выездов в люди, – словно монастырка. Детей у неё не было...» Затем, прожив в доме Александры Михайловны восемь лет, Неточка, узнав её ближе, ещё раз набрасывает её портрет – уже тридцатилетней женщины, матери двоих детей: «Черты лица её никогда не изгладятся из моей памяти. Они были правильны, а худоба и бледность, казалось, ещё более возвышали строгую прелесть её красоты. Густейшие чёрные волосы, зачёсанные гладко книзу, бросали суровую, резкую тень на окраины щёк; но, казалось, тем любовнее поражал вас контраст её нежного взгляда, больших детски ясных голубых глаз, робкой улыбки и всего этого кроткого, бледного лица, на котором отражалось подчас так много наивного, несмелого, как бы незащищённого, как будто боявшегося за каждое ощущение, за каждый порыв сердца – и за мгновенную радость, и за частую тихую грусть. Но в иную счастливую, нетревожную минуту в этом взгляде, проницавшем в сердце, было столько ясного, светлого, как день, столько праведно-спокойного; эти глаза, голубые как небо, сияли такою любовью, смотрели так сладко, в них отражалось всегда такое глубокое чувство симпатии ко всему, что было благородно, ко всему, что просило любви, молило о сострадании, – что вся душа покоялась ей, невольно стремилась к ней и, казалось, от неё же принимала и эту ясность, и это спокойствие духа, и примирение, и любовь. <...> Когда же – и это так часто случалось – одушевление нагоняло краску на её лицо и грудь её колыхалась от волнения, тогда глаза её блеснули как молния, как будто метали искры, как будто вся её душа, целомудренно сохранившая чистый пламень прекрасного, теперь её воодушевившего, переселялась в них. В эти минуты она была как вдохновенная. И в таких внезапных порывах увлечения, в таких переходах от тихого, робкого настроения духа к просветлённому, высокому одушевлению, к чистому, строгому энтузиазму вместе с тем было столько наивного, детски скорого, столько младенческого верования, что художник, кажется, полжизни бы отдал, чтоб подметить такую минуту светлого восторга и перенести это вдохновенное лицо на полотно <...>

Александра Михайловна жила в полном одиночестве; но она как будто и рада была тому. Её тихий характер как будто создан был для затворничества. <...> Характер её был робок, слаб. Смотря на ясные, спокойные черты лица её, нельзя было предположить с первого раза, чтоб какая-нибудь тревога могла смутить её праведное сердце. Помыслить нельзя было, чтоб она могла не любить хоть кого-нибудь; сострадание всегда брало в её душе верх даже над самым отвращением, а между тем она привязана была к немногим друзьям и жила в полном уединении... Она была страстна и впечатлительна по натуре своей, но в то же время как будто сама боялась своих впечатлений, как будто каждую минуту стерегла своё сердце, не давая ему забыться, хотя бы в мечтанье. Иногда вдруг, среди самой светлой минуты, я замечала слезы в глазах её: словно внезапное тягостное воспоминание чего-то мучительно терзавшего её совесть вспыхивало в её душе; как будто что-то стерегло её счастье и враждебно смущало его. И чем,

казалось, счастливее была она, чем покойнее, яснее была минута её жизни, тем ближе была тоска, тем вероятнее была внезапная грусть, слёзы: как будто на неё находил припадок. Я не запомню ни одного спокойного месяца в целые восемь лет. Муж, по-видимому, очень любил её; она обожала его. Но с первого взгляда казалось, как будто что-то было недосказано между ними. Какая-то тайна была в судьбе её...»

Страшная тайна, которая гнетёт Александру Михайловну – её любовный роман с неким С. О., о котором муж знает и казнит её своим суровым отношением. Неточка, случайно нашедшая прощальное письмо С. О. в книге, проникает в эту тайну и становится на сторону Александры Михайловны, начинает ненавидеть её лицемерного и жестокого мужа. В конце опубликованной части романа Александра Михайловна уже тяжело больна и дни её, судя по всему, сочтены.

Исследователи отмечают черты сходства между этой кроткой и страдающей героиней раннего романа русского писателя и заглавной героиней романа *О. де Бальзака «Евгения Гранде»*, переведённого Достоевским в 1844 г.

Александра Семёновна

«Униженные и оскорблённые»

Гражданская жена *Маслобоева*. Она сразу пришлась по сердцу *Ивану Петровичу*, повествователю: «Ровно в семь часов я был у Маслобоева. <...> Мне отворила прехорошенькая девушка лет девятнадцати, очень просто, но очень мило одетая, очень чистенькая и с предобрими, весёлыми глазками. Я тотчас догадался, что это и есть та самая Александра Семёновна, о которой он упомянул вскользь давеча, подманивая меня с ней познакомиться...» Маслобоев беспрестанно подшучивает над её простодушием и ревностью, но, судя по всему, бесконечно любит, она отвечает ему взаимностью и они, вероятно, самые счастливые люди в романе.

При следующей встрече, к которой Александра Семёновна накрыла богатый стол и сама приделась, повествователь снова явно залюбовался молодой женщиной: «За чайным столиком сидела Александра Семёновна хоть и в простом платье и уборе, но, видимо, изысканном и обдуманном, правда, очень удачно. Она понимала, что к ней идет, и, видимо, этим гордилась; встречая меня, она привстала с некоторою торжественностью. Удовольствие и весёлость сверкали на её свеженьком личике...»

Алексей

«Идиот»

Камердинер в доме *Епанчиных*. Ливрейный слуга, отворив двери генеральской квартиры князю *Мышкину*, «сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за сорок лет и озабоченную физиономию и был специальный, кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену...» Именно этому камердинеру, «знающему себе цену», и о котором Мышкин потом скажет-уточнит: «— А вот что в передней сидит, такой с проседью, красноватое лицо», — Лев Николаевич в первые же минуты встречи живописует во всех подробностях о том, какие чувства испытывает человек, на шею которого вот-вот обрушится нож гильотины. Чуть погодя, как бы прорепетировав этот жуткий рассказ перед лакеем, он повторит его (украсив новыми психологическими подробностями) в гостиной уже перед генеральшей *Епанчиной* и тремя её дочерьми — *Александрой*, *Аделаидой* и *Аглаей*.

Алексей (Алёша)

«Хозяйка»

Молодой купец, друг детства *Катерины*. Родители их хотели в будущем поженить Алёшу и Катерину, но она стала женой *Мурина*, а когда Алёша впоследствии нашёл её и уже уговорил бежать с ним, Мурин разгадал их замысел и, судя по всему, убил молодого купца.

Алексей Егорович

«*Бесы*»

Камердинер *Ставрогихных*. Немногословный, педантичный старый слуга, преданный и *Варваре Петровне Ставрогиной*, и её сыну *Николаю Всеволодовичу*.

Алексей Иванович

«Игрок»

Заглавный герой и одновременно автор записок, которые и составили роман. Это, как указано в подзаголовке, – «молодой человек», ему 25 лет, он служит домашним учителем у *Генерала* (сам с горькой иронией уточняет: «я принадлежу к *свите генерала*»). Терпит он своё положение из-за *Полины*, которую любит порой до ненависти, из-за которой пошёл первый раз на рулетку, чтобы выиграть для неё 50 тысяч франков и заразился на всю оставшуюся жизнь болезненной страстью к игре. В этом отношении Игрок – герой автобиографический: Достоевский, передав ему одну из «капитальных» своих страстей, страсть к рулетке, и показал изнутри всю притягательную и тяжкую силу этого сладкого недуга. Необходимо поэтому чуть подробнее перечитать-процитировать игорную сцену из романа, дабы воочию увидеть-представить себе ту запредельную по напряжению и выплескам эмоций атмосферу «воксала»-казино, в каковой проводил немало часов сам писатель, более десяти лет сам бывший игроком:

«Я не рассчитывал, я даже не слыхал, на какую цифру лёг последний удар, и об этом не справился, начиная игру, как бы сделал всякий чуть-чуть рассчитывающий игрок. Я вытащил все мои двадцать фридрихсдоров и бросил на бывший предо мною “passe”.

<...> Я выиграл – и опять поставил всё: и прежнее, и выигрыш.

<...> Опять выигрыш! Всего уж, стало быть, у меня восемьдесят фридрихсдоров! Я двинул все восемьдесят на двенадцать средних цифр (тройной выигрыш, но два шанса против себя) – колесо завертелось, и вышло двадцать четыре. Мне выложили три свертка по пятидесяти фридрихсдоров и десять золотых монет; всего, с прежним, очутилось у меня двести фридрихсдоров.

Я был как в горячке и двинул всю эту кучу денег на красную – и вдруг опомнился! И только раз во весь этот вечер, во всю игру, страх прошел по мне холодом и отозвался дрожью в руках и ногах. Я с ужасом ощутил и мгновенно сознал: что для меня теперь значит проиграть! Стояла на ставке вся моя жизнь!

– Rouge! – крикнул крупер, – и я перевёл дух, огненные мурашки посыпались по моему телу. Со мною расплатились банковыми билетами; стало быть, всего уж четыре тысячи флоринов и восемьдесят фридрихсдоров! (Я ещё мог следить тогда за счётом.)

Затем, помнится, я поставил две тысячи флоринов опять на двенадцать средних и проиграл; поставил моё золото и восемьдесят фридрихсдоров и проиграл. Бешенство овладело мною: я схватил последние оставшиеся мне две тысячи флоринов и поставил на двенадцать первых – так, на авось, зря, без расчёта! <...>

– Quatre! – крикнул крупер. Всего, с прежнею ставкою, опять очутилось шесть тысяч флоринов. Я уже смотрел как победитель, я уже ничего, ничего теперь не боялся и бросил четыре тысячи флоринов на чёрную. Человек девять бросилось, вслед за мною, тоже ставить на чёрную. Круперы переглядывались и переговаривались. Кругом говорили и ждали.

Вышла чёрная. Не помню я уж тут ни расчёта, ни порядка моих ставок. Помню только, как во сне, что я уже выиграл, кажется, тысяч шестнадцать флоринов; вдруг, тремя несчастными ударами, спустил из них двенадцать; потом двинул последние четыре тысячи на “passe” (но уж почти ничего не ощущал при этом; я только ждал, как-то механически, без мысли) – и опять выиграл; затем выиграл ещё четыре раза сряду. Помню только, что я забирал деньги тысячами...»

Затем Алексей Иванович перешёл в другую залу, третью, ещё играл и очнулся только от вскрика-информации по-французски одного из наэлектризованных зрителей-болельщиков, что он выиграл уже сто тысяч форинтов, или – двести тысяч франков! То есть – в четыре

раза больше, чем требовалось для спасения Полины. Вероятно, этот перебор и сыграл свою роковую роль в случившейся катастрофе. Алексей Иванович, уже ставший Игроком, опьянённый и отравленный игрой, игорной страстью, пересилившей страсть любовную, сам себе потом признается: он не обратил внимания, что Полина, отдаваясь ему в ту ночь, была-находилась в горячечном бреду, что отдалась она ему не из любви, а из ненависти, как бы в плату за пятьдесят тысяч франков, и что она уже никогда этого ему не простит...

Ещё одна автобиографическая составляющая этого героя – его взаимоотношения с Полиной, воссоздающие перипетии любви самого Достоевского и *А. П. Суловой*, послужившей прототипом героини. Образ Игрока имеет и литературные традиции: в частности, в русской литературе это – Германн из «Пиковой дамы» *А. С. Пушкина*, Арбенин из «Маскарада» *М. Ю. Лермонтова*.

Алёна Ивановна

«Преступление и наказание»

Процентщица; старшая сестра (сводная) *Лизаветы*. С её «чином» в романе есть некоторая путаница: сначала она повествователем представлена как коллежская регистраторша (14-й класс), а буквально через две страницы сказано (в сцене подслушанного *Раскольниковым* разговора в трактире), что «студент говорит офицеру про процентщицу, Алёну Ивановну, коллежскую секретаршу», а это уже гораздо выше – 10-й класс. «Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и просто-волосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы её были жирно смазаны маслом. На её тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверхено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрёпанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела...» Характеристику ей даёт тот же студент в разговоре с товарищем своим в трактире: «— Славная она, – говорил он, – у неё всегда можно денег достать. Богата как жид, может сразу пять тысяч выдать, а и рублевым залогом не брезгает. Наших много у неё перебывало. Только стерва ужасная...»



Процентщица. Художник П. М. Боклевский.

И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Даёт вчетверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по пяти и даже по семи берёт в месяц и т. д. Студент разболтался и сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра, Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьёт поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребёнка, тогда как Лизавета, по крайней мере, восьми вершков росту...» Именно студент своими рассуждениями о том, что «глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живёт, и которая завтра же сама собой умрёт» может

своей смертью спасти от нищеты и гибели многих – окончательно подтолкнул Раскольникова на «преступление».

И вот – сцена убийства: «Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые с проседью, жиденькие волосы её, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребёнки, торчавшей на её затылке. Удар пришёлся в самое темя, чему способствовал её малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела ещё поднять обе руки к голове. В одной руке ещё продолжала держать “заклад”. Тут он изо всей силы ударил раз и другой, всё обухом и всё по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к её лицу; она была уже мёртвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и всё лицо были сморщены и искажены судорогой...»

Но Алёна Ивановна ещё явится во всём своём отвратительном виде Родиону Раскольникову в горячечном бредовом сне, когда ему приснилось, будто он опять пришёл в её квартиру: «В самую эту минуту, в углу, между маленьким шкапом и окном, он разглядел как будто висящий на стене салоп. <...> Он подошёл потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвлёл он рукою салоп и увидел, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была она. Он постоял над ней: “боится!” – подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени, раз и другой. Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался, нагнулся ближе и стал её разглядывать; но и она ещё ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел: старушонка сидела и смеялась, – так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он её не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шёпот из спальни раздавались всё сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота. Он бросился бежать...»

Достоевскому с самых ранних лет приходилось общаться с ростовщиками И ростовщицами (вроде А. И. Рейслер, Эриксан), так что материала для изображения Алёны Ивановны, её сути и образа жизни было у него более чем предостаточно. Он даже собирался написать отдельное произведение с таким названием – «Ростовщик».

Алёна Фроловна

«Бесы»

Няня *Лизаветы Николаевны Тушиной*. Эта эпизодическая героиня интересна тем, что ей дано имя реального человека – *Алёны Фроловны* (Е. Ф. Крюковой) – няни из семьи Достоевских.

Алмазов (Алмазов Андрей)

«Записки из Мёртвого дома»

Арестант, «начальник» *Горянчикова* на работах. «На алебастр назначали обыкновенно человека три-четыре, стариков или слабосильных, ну, и нас [дворян] в том числе, разумеется; да, сверх того, прикомандировывали одного настоящего работника, знающего дело. Обыкновенно ходил всё один и тот же, несколько лет сряду, Алмазов, суровый, смуглый и сухощавый человек, уже в летах, необщительный и брюзгливый. Он глубоко нас презирал. Впрочем, он был очень неразговорчив, до того, что даже ленился ворчать на нас. <...> Алмазов обыкновенно молча и сурово принимался за работу; мы словно стыдились, что не можем настоящим образом помогать ему, а он нарочно управлялся один, нарочно не требовал от нас никакой помощи, как будто для того, чтоб мы чувствовали всю вину нашу перед ним и каялись собственной бесполезностью. А всего-то и дела было вытопить печь, чтоб обжечь накладенный в неё алебастр, который мы же, бывало, и натаскаем ему. На другой же день, когда алебастр бывал уже совсем обожжен, начиналась его выгрузка из печки. Каждый из нас брал тяжёлую колотушку, накладывал себе особый ящик алебастром и принимался разбивать его. Это была премилая работа. Хрупкий алебастр быстро обращался в белую блестящую пыль, так ловко, так хорошо крошился. Мы взмахивали тяжёлыми молотами и задавали такую трескотню, что самим было любо. И уставали-то мы наконец, и легко в то же время становилось; щёки краснели, кровь обращалась быстрее. Тут уж и Алмазов начинал смотреть на нас снисходительно, как смотрят на малолетних детей; снисходительно покуривал свою трубочку и всё-таки не мог не ворчать, когда приходилось ему говорить. Впрочем, он и со всеми был такой же, а в сущности, кажется, добрый человек. <...> Положим, арестанты были народ тщеславный и легкомысленный в высшей степени, но всё это было напускное. Арестанты могли смеяться надо мной, видя, что я плохой им помощник на работе. Алмазов мог с презрением смотреть на нас, дворян, тщеславясь перед нами своим умением обжигать алебастр. Но к гонениям и к насмешкам их над нами примешивалось и другое: мы когда-то были дворяне; мы принадлежали к тому же сословию, как и их бывшие господа, о которых они не могли сохранить хорошей памяти...»

Алмазов Андрей – реальное лицо: старший мастер *Омского* острога в цехе, где делали алебастр. Достоевский одно время работал под его началом.

Амишка (собачка)

«Чужая жена и муж под кроватью»

Собачка комнатной породы в доме *Александра Демьяновича*. Когда Амишка обнаружила под кроватью двух посторонних мужчин, и подняла лай, то была немедленно задушена одним из них – *Иваном Андреевичем Шабриным*. И хотя хозяйка собачонки, в конце концов, Шабрина простила, ибо он её рассмешил и к тому же пообещал принести новую «сахарную» болонку, но сам Иван Андреевич опростоволосился: сунул машинально мёртвую Амишку в карман, принёс домой и при супруге *Глафире Петровне Шабриной* невзначай вынул, так что тут же превратился из ревнивца в подозреваемого.

Андреев Николай Семёнович

«Подросток»

Подручный *Ламберта* и товарищ *Тришатова*. Впервые их вместе и встречает-видит *Аркадий Долгорукий* у дверей квартиры Ламберта и описывает сначала Андреева: «Оба были ещё очень молодые люди, так лет двадцати или двадцати двух <...> Тот, кто крикнул “атанде”, был малый очень высокого роста, вершков десяти, не меньше, худощавый и испитой, но очень мускулистый, с очень небольшой, по росту, головой и с странным, каким-то комически мрачным выражением в несколько рябом, но довольно неглупом и даже приятном лице. Глаза его смотрели как-то не в меру пристально и с какой-то совсем даже ненужной и излишней решимостью. Он был одет очень скверно: в старую шинель на вате, с вылезшим маленьким енотовым воротником, и не по росту короткую – очевидно, с чужого плеча, в скверных, почти мужицких сапогах и в ужасно смятом, порывевшем цилиндре на голове. В целом видно было неряху: руки, без перчаток, были грязные, а длинные ногти – в трауре. <...> Длинный парень стаскивал с себя галстух – совершенно истрепавшуюся и засаленную ленту или почти уж тесёмку, а миловидный мальчик, вынув из кармана другой, новенький чёрный галстучек, только что купленный, повязывал его на шею длинному парню, который послушно и с ужасно серьёзным лицом вытягивал свою шею, очень длинную, спустив шинель с плеч...»

Андреев в разговоре то и дело переходит на скверный французский, и Тришатов поясняет: «– Он, знаете, – циник, – усмехнулся мне мальчик, – и вы думаете, что он не умеет по-французски? Он как парижанин говорит, а он только передразнивает русских, которым в обществе ужасно хочется вслух говорить между собою по-французски, а сами не умеют...» Немудрено, что Подросток про себя начинает именовать Андреева верзилой по-французски – *dadais*. Впоследствии тот же Тришатов в ресторанном пьяном разговоре с Аркадием характеризует своего друга (который начинает скандалить) более основательно: «– Вы не поверите, как Андреев несчастен. Он проел и пропил приданое своей сестры, да и всё у них проел и пропил в тот год, как служил, и я вижу, что он теперь мучается. А что он не моется – это он с отчаяния. И у него ужасно странные мысли: он вам вдруг говорит, что и подлец, и честный – это всё одно и нет разницы; и что не надо ничего делать, ни доброго, ни дурного, или всё равно – можно делать и доброе, и дурное, а что лучше всего лежать, не снимая платья по месяцу, пить, да есть, да спать – и только. Но поверьте, что это он – только так. И знаете, я даже думаю, он это теперь потому накуролесил, что захотел совсем покончить с Ламбертом. Он ещё вчера говорил. Верите ли, он иногда ночью или когда один долго сидит, то начинает плакать, и знаете, когда он плачет, то как-то особенно, как никто не плачет: он заревёт, ужасно заревёт, и это, знаете, ещё жалче... И к тому же такой большой и сильный и вдруг – так совсем заревёт. Какой бедный, не правда ли?...»

Андреев – один из самых несчастных персонажей «Подростка»: служил некогда юнкером, за что-то из полка был выгнан (своеобразная переключка с историей князя *Сокольского*), прокутил приданое своей сестры, попал в преступную компанию негодяя Ламберта, пребывал хронически в состоянии мрачного отчаяния, перестал даже мыться, маниакально хотел убить себя, а конкретно – повеситься. Причём, его приятель, Тришатов, сообщая это Аркадию, весьма характерно обобщает: «А он, я ужасно боюсь, – повесится. Пойдёт и никому не скажет. Он такой. Нынче все вешаются...» Но в финале выясняется, что Андреев всё же не повесился – застрелился.

Любопытно, что по имени-отчеству герой этот – полный тёзка близкого Подростку человека, наставника, хозяина его московской квартиры *Николая Семёновича*, а фамилия его как бы переключается с девичьей фамилией матери Аркадия, *Софьи Андреевны*, которую до заму-

жества именовали, как и положено было тогда в крестьянской среде, по имени отца – Софьей Андреевой (именно так и упоминается в романе). Скорее всего, – это чисто случайные совпадения.

Андрей

«Братья Карамазовы»

Ямщик. Его нанял *Дмитрий Карамазов*, чтобы ехать в Мокрое вслед за *Грушенькой Светловой*. «Когда Митя с Петром Ильичом подошли к лавке, то у входа нашли уже готовую тройку, в телеге, покрытой ковром, с колокольчиками и бубенчиками и с ямщиком Андреем, ожидавшим Митю...» Андрей был «еще не старый ямщик, рыжеватый, сухощавый парень в поддёвке и с армяком на левой руке». Митя посулил ему 50 рублей, но осторожный Андрей, догадавшись, что возбуждённый Дмитрий Карамазов едет в Мокрое с пистолетами неспроста, уже на месте от щедрой полусотни отказался и взял только «законные» 15 рублей. Кроме того он подробно доложил следствию о странных речах Дмитрия по дороге насчёт того, что он, Дмитрий Карамазов, может в ад попасть за свои деяния.

Прообразом этого персонажа послужил реальный молодой ямщик *Андрей*, который, как и Тимофей (другой ямщик, также упоминаемый в романе), возил Достоевских из *Старой Руссы* к озеру Ильмень на пароходную пристань. Его имя дважды упоминается в письмах *А. Г. Достоевской* из Старой Руссы к мужу в Петербург (от 12 и 13 февраля 1875 г.), а также в письме Достоевского из *Эмса* к жене в Старую Руссу (от 26 июля /7 августа/ 1876 г.).

Андрей Филиппович

«Двойник»

Коллежский советник, начальник отделения, в котором служит *Голядкин*. Он постоянно встречается на пути Голядкина и в неслужебное время, так что создаётся у Якова Петровича впечатление, что начальник специально за ним следит. Несколько иронические штрихи к его портрету даны повествователем в сцене празднования дня рождения *Клары Олсуфьевны Берендеевой*: «Я изобразил бы вам потом Андрея Филипповича, как старшего из гостей, имеющего даже некоторое право на первенство, украшенного сединами и приличными сединами орденами, вставшего с места и поднявшего над головою заздравный бокал с искрометным вином <...> Я изобразил бы вам, как этот часто поминаемый Андрей Филиппович, уронив сначала слезу в бокал, проговорил поздравление и пожелание, провозгласил тост и выпил за здравие <...> Андрей Филиппович в это торжественное мгновение вовсе не походил на коллежского советника и начальника отделения в одном департаменте, – нет, он казался чем-то другим... я не знаю только, чем именно, но не коллежским советником. Он был выше! Наконец... о! для чего я не обладаю тайною слога высокого, сильного, слога торжественного...» А из наблюдения самого Голядкина читатель узнаёт характерную деталь, «что Андрей Филиппович носит сапоги, похожие больше на туфли, чем на сапоги». Вскоре Якову Петровичу пришлось убедиться вполне, что начальник его благоволит к его двойнику: «В последней комнате перед директорским кабинетом сбежался он, прямо нос с носом, с Андреем Филипповичем и с однофамильцем своим. Оба они уже возвращались: господин Голядкин посторонился. Андрей Филиппович говорил улыбаясь и весело. Однофамилец господина Голядкина-старшего тоже улыбался, юлил, семенил в почтительном расстоянии от Андрея Филипповича и что-то с восхищенным видом нашептывал ему на ушко, на что Андрей Филиппович самым благосклонным образом кивал головою. Разом понял герой наш всё положение дел...» И именно Андрей Филиппович вместе с *Голядкиным-младшим* помогли в финале доктору *Крестьяну Ивановичу Рутеницицу* посадить Голядкина в карету, дабы увезти страдальца в сумасшедший дом.

Андроников Алексей Никанорович

«Подросток»

Родной и любимый дядя *Марьи Ивановны* (жены *Николая Семёновича*) и начальник отделения, юрист, занимавшийся делом *Версилова* в его тяжбе с князьями Сокольскими (однофамильцами князя *Николая Ивановича Сокольского*). По словам *Крафта*, который был его помощником в частных делах, «Андроников “никогда не рвал нужных бумаг” и, кроме того, был человек хоть и широкого ума, но и “широкой совести”». Именно Андроников, умерший месяца за три до приезда *Аркадия Долгорукого* в Петербург, сохранил письмо к нему некоего *Столбеева*, из-за завещания которого и возникла дело *Версилова* с князьями Сокольскими. «Дело это теперь решается в суде и решится, наверно, в пользу *Версилова*; за него закон. Между тем в письме этом, частном, писанном два года назад, завещатель сам излагает настоящую свою волю или, вернее, желание, излагает скорее в пользу князей, чем *Версилова*. По крайней мере те пункты, на которые опираются князья Сокольские, оспаривая завещание, получают сильную поддержку в этом письме. Противники *Версилова* много бы дали за этот документ, не имеющий, впрочем, решительного юридического значения...» И вот, согласно воле Андроникова в передаче *Марьи Ивановны*, важное письмо попало через *Крафта* в руки *Подростка* и сыграло в развитии дальнейшего развития событий важную роль. Кроме того, именно Андроникову написала *Катерина Николаевна Ахмакова* письмо, в котором советовалась насчёт учреждения надо отцом своим (князем *Сокольским*) опеки – это компрометирующее и опасное для неё письмо попало после смерти *Алексея Никаноровича* тоже в руки *Аркадия Долгорукого*, а затем *Ламберта*, шантажирующего им дочь князя. Как человек Андроников, судя по всему, был человеком простым и добрым. *Аркадий* вспоминает, как Андроников «всю провизию, птиц, судаков и поросят, сам из города в кульках привозил, а за столом, вместо супруги, которая всё чванилась, нам суп разливал, и всегда мы всем столом над этим смеялись, и он первый».

Анкудим Трофимыч

«Записки из Мёртвого дома» /«Акулькин муж»/

Отец *Акулины*, героини вставного рассказа «Акулькин муж» – богатый деревенский мужик. Рассказчик (*Шишков*), бывший его зять, угодивший на каторгу за убийство его дочери и своей жены, так его характеризует «Ну, заимку большую имел, землю работниками пахал, троих держал, опять к тому ж своя пасека, мёдом торговали и скотом тоже, и по нашему месту, значит, был в великом уважении. Стар больно был, семьдесят лет, кость-то тяжелая стала, седой, большой такой. Этга выйдет в лисьей шубе на базар-то, так все-то чествуют...» Сначала Анкудим Трофимыч сам избивал свою дочь до полусмерти, поверив сплетням об её «распутстве», а потом, отдав замуж за *Шишкова*, не мешал ему бить и убивать *Акулину*...

Анна Фёдоровна

«Бедные люди»

Сваха и сводня; дальняя родственница *Варвары Алексеевны Добросёловой*. Наивная Варя даже не сразу поняла, зачем эта женщина их с матушкой приютила после смерти отца: «Матушка страдала изнурительною болезнью, прокормить мы себя не могли, жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Фёдоровна. Она всё говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какою-то роднею. Матушка тоже говорила, что она нам родня, только очень дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазах, говорила, что принимает в нас большое участие; соболезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват: что он не по силам жил, далеко забирался и что уж слишком на свои силы надеялся. Обнаружила желание сойтись с нами короче, предложила забыть обоюдные неприятности; а когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала панихиду по голубчике (так она выразилась о батюшке). После этого она торжественно помирилась с матушкой.

После долгих вступлений и предуведомлений Анна Фёдоровна, изобразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась; но так как делать было нечего и иначе распорядиться никак нельзя, то и объявила наконец Анне Фёдоровне, что её предложение мы принимаем с благодарностию. <...> Сначала, покамест ещё мы, то есть я и матушка, не обжились на нашем новоселье, нам обеим было как-то жутко, дико у Анны Фёдоровны. Анна Фёдоровна жила в собственном доме, в Шестой линии. В доме всего было пять чистых комнат. В трёх из них жила Анна Фёдоровна и двоюродная сестра моя, Саша, которая у ней воспитывалась, – ребёнок, сиротка, без отца и матери. Потом в одной комнате жили мы, и, наконец, в последней комнате, рядом с нами, помещался один бедный студент Покровский, жилец у Анны Фёдоровны. Анна Фёдоровна жила очень хорошо, богаче, чем бы можно было предполагать; но состояние её было загадочно, так же как и её занятия. Она всегда суежилась, всегда была озабочена, выезжала и выходила по несколько раз в день; но что она делала, о чём заботилась и для чего заботилась, этого я никак не могла угадать. Знакомство у ней было большое и разнообразное. <...> Впоследствии со мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо ласкова, до лести, но сначала и я терпела заодно с матушкой. Поминутно попрекала она нас; только и делала, что твердила о своих благодеяниях. Посторонним людям рекомендовала нас как своих бедных родственников, вдовицу и сироту беспомощных, которых она из милости, ради любви христианской, у себя приютила. За столом каждый кусок, который мы брали, следила глазами, а если мы не ели, так опять начиналась история: дескать, мы гнушаемся; не взыщите, чем богата, тем и рада, было ли бы ещё у нас самих лучше. Батюшку поминутно бранила: говорила, что лучше других хотел быть, да худо и вышло; дескать, жену с дочерью пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы благодетельной, христианской души, сострадательной, так ещё Бог знает пришлось бы, может быть, среди улицы с голоду сгнить. Чего-чего она не говорила! Не так горько, как отвратительно было её слушать. Матушка поминутно плакала; здоровье её становилось день от дня хуже, она видимо чахла, а между тем мы с нею работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Анне Фёдоровне; она поминутно говорила, что у неё не модный магазин в доме. <...> Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Фёдоровна мало-помалу утихала, по мере того как сама стала вполне сознавать своё владычество...»

Именно Анна Фёдоровна стояла у истоков судьбы студента *Покровского* (настоящим отцом его был помещик *Быков*, и Анна Фёдоровна сумела «прикрыть грех» – срочно сосватала его мать за чиновника *Захара Покровского*), именно она уже погубила судьбу *Саши*, «свернув её с пути», сделав из неё продажную женщину, и именно она, в конце концов, «устроила» судьбу самой Вареньки Добросёловой – выдала-таки её замуж за господина Быкова, продала ему.

Антипова Анна Николаевна

«Дядюшкин сон»

Прокурорша; дальняя родственница *Князя К.*, «заклятый враг» *Марьи Александровны Москалёвой* «хотя и друг по наружности». Анна Николаевна – соперница *Марьи Александровны* за статус первой дамы *Мордасова*. Этим объясняется ядовитость, с которой *Москалёва* защищает свою «подругу» от нападок, попутно довольно полно её характеризую: «На неё клеветают. За что вы все на неё нападаете? Она молода и любит наряды, – за это, что ли? Но, по моему, уж лучше наряды, чем что-нибудь другое, вот как *Наталья Дмитриевна*, которая – такое любит, что и сказать нельзя. За то ли, что Анна Николаевна ездит по гостям и не может посидеть дома? Но Боже мой! Она не получила никакого образования, и ей, конечно, тяжело раскрыть, например, книгу или заняться чем-нибудь две минуты сряду. Она кокетничает и делает из окна глазки всем, кто ни пройдёт по улице. Но зачем же уверяют её, что она хорошенькая, когда у ней только белое лицо и больше ничего? Она смешит в танцах, – соглашаюсь! Но зачем же уверяют её, что она прекрасно полькирует? На ней невозможные накладки и шляпки, – но чем же виновата она, что ей Бог не дал вкуса, а, напротив, дал столько легковерия. Уверьте её, что хорошо приколоть к волосам конфетную бумажку, она и приколет. Она сплетница, – но это здешняя привычка: кто здесь не сплетничает? К ней ездит *Сушилов* со своими бакенбардами и утром, и вечером, и чуть ли не ночью. Ах, Боже мой! ещё бы муж козырял в карты до пяти часов утра! К тому же здесь столько дурных примеров! Наконец, это ещё, *может быть*, и клевета. Словом, я всегда, всегда заступлюсь за неё!..» К тому же Анна Николаевна ещё вполне сохранилась, как свидетельствует уже *Хроникёр*, и становится соперницей *Зинаиды Москалёвой* на руку и сердце *князя К.*: «Это была довольно хорошенькая маленькая дамочка, пестро, но богато одетая и сверх того очень хорошо знавшая, что она хорошенькая...»

Аполлон

«Записки из подполья»

Слуга *Подпольного человека*. Единственный персонаж в этой мрачной повести, вызывающий улыбку. Имя его восходит к древнегреческому богу Аполлону, покровителю искусств, которого изображали обыкновенно в виде прекрасного юноши с кифарой, и резко контрастирует с его внешностью и натурой. Исчерпывающую характеристику даёт своему лакею хозяин, он же повествователь, в главке 8-й второй части: «Это была язва моя, бич, посланный на меня провиденьем. Мы с ним пикировались постоянно, несколько лет сряду, и я его ненавидел. Бог мой, как я его ненавидел! Никого в жизни я ещё, кажется, так не ненавидел, как его, особенно в иные минуты. Человек он был пожилой, важный, занимавшийся отчасти портняжеством. Но неизвестно почему, он презирал меня, даже сверх всякой меры, и смотрел на меня нестерпимо свысока. Впрочем, он на всех смотрел свысока. Взглянуть только на эту белобрысую, гладко причёсанную голову, на этот кок, который он взбивал себе на лбу и подмасливал постным маслом, на этот солидный рот, всегда сложенный ижицей, – и вы уже чувствовали перед собой существо, не сомневавшееся в себе никогда. Это был педант в высочайшей степени, и самый огромный педант из всех, каких я только встречал на земле; и при этом с самолюбием, приличным разве только Александру Македонскому. Он был влюблён в каждую пуговицу свою, в каждый свой ноготь – непременно влюблён, он тем смотрел! Относился он ко мне вполне деспотически, чрезвычайно мало говорил со мной, а если случалось ему на меня взглядывать, то смотрел твёрдым, величаво самоуверенным и постоянно насмешливым взглядом, приводившим меня иногда в бешенство. Исполнял он свою должность с таким видом, как будто делал мне высочайшую милость. Впрочем, он почти ровно ничего для меня не делал и даже вовсе не считал себя обязанным что-нибудь делать. Сомнения быть не могло, что он считал меня за самого последнего дурака на всём свете, и если “держал меня при себе”, то единственно потому только, что от меня можно было получать каждый месяц жалованье. Он соглашался “ничего не делать” у меня за семь рублей в месяц. Мне за него много простится грехов. Доходило иногда до такой ненависти, что меня бросало чуть не в судороги от одной его походки. Но особенно гадко было мне его пришепётывание. У него был язык несколько длиннее, чем следует, или что-то вроде этого, оттого он постоянно шепелявил и сюсюкал и, кажется, этим ужасно гордился, воображая, что это придаёт ему чрезвычайно много достоинства. Говорил он тихо, размеренно, заложив руки за спину и опустив глаза в землю. Особенно бесил он меня, когда, бывало, начнёт читать у себя за перегородкой Псалтырь. Много битв вынес я из-за этого чтения. Но он ужасно любил читать по вечерам, тихим, ровным голосом, нараспев, точно как по мёртвом. Любопытно, что он тем и кончил: он теперь нанимается читать Псалтырь по покойникам, а вместе с тем истребляет крыс и делает ваксу. Но тогда я не мог прогнать его, точно он был слит с существованием моим химически. К тому же он бы и сам не согласился от меня уйти ни за что. Мне нельзя было жить в шамбр-гарни [*фр.* меблированных комнатах]: моя квартира была мой особняк, моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества, а Аполлон, черт знает почему, казался мне принадлежащим к этой квартире, и я целых семь лет не мог согнать его...» И далее описывается трагикомическая история, как хозяин в наказание решил-таки задержать слуге жалование недели на две, но выдержал только три дня и потерпел в этой битве характеров поражение.

Примечательно, что экзотическое для России имя Аполлон как бы делает этого героя тёзкой двух близких товарищей Достоевского по литературе поэтов *Аполлона Майкова* и *Аполлона Григорьева* (оба, между прочим, активные сотрудники «*Времени*» и «*Эпохи*», в которой и печатались «Записки из подполья»), а манера пришепётывать была присуща «литературному

врагу» *И. С. Тургеневу*, подчёркнутая впоследствии в образе *Кармазинова* («*Бесы*»), который говорил «приятно, по-барски, шепелявя».

Арина

«Подросток»

Девочка-подкидыш. Когда *Аркадий Долгорукий* жил ещё в Москве у *Николая Семёновича* и *Марьи Ивановны*, в день именин последней к дверям их дома подкинули младенца – «окрещённую девочку Арину». *Подросток* взял девочку «на свой счёт», поместил в семью соседа-столяра, в которой тоже была новорождённая девочка, решив платить за её содержание, но через десять дней «Ариночка» заболела и умерла. Аркадий признаётся: «Ну, поверят ли, что я не то что плакал, а просто выл в этот вечер <...> я купил цветов и обсыпал ребёночка: так и снесли мою бедную былиночку, которую, поверят ли, до сих пор не могу забыть...» Стоит вспомнить в связи с этим, что в мае 1868 г. у Достоевских умерла первая дочь Соня, которой не было и трёх месяцев. По воспоминаниям *А. Г. Достоевской*, Фёдор Михайлович чрезвычайно тяжело переживал смерть ребёнка, «отчаяние его было бурное, он рыдал и плакал, как женщина», и каждый день потом до самого отъезда они на её могилку «носили цветы и плакали».

Артемова Елизавета Михайловна (Лизанька)

«Слабое сердце»

Невеста *Васи Шумкова*. У неё был жених, который обманул её и женился на другой, и она согласилась, наконец, стать невестой Васи, который уже давно её любил. Лиза была брюнеткой (Вася хранил локон её чёрных волос), с чёрными как смоль глазками и вся «ужасно как походила на вишенку». Через два года после катастрофы с Васей его друг *Нефедевич* случайно встретил Лизу в церкви – она была замужем, имела ребёнка, сказала, что муж её человек добрый и она его любит, но, судя по её печальному лицу и слезам, по Васе она тосковала.

Архипов

«Униженные и оскорблённые»

Один из колоритных обитателей того мира, в котором, опустившись, зарабатывает себе на жизнь *Маслобоев*. Вместе с купчиком *Сизобрюховым* Архипов появляется в сценах, связанных с освобождением *Нелли* из притона *мадам Бубновой* – он завсегдатай таких злачных мест. После *Сизобрюхова Иван Петрович* описывает и Архипова: «Товарищ его был уже лет пятидесяти, толстый, пузатый, одетый довольно небрежно, тоже с большой булавкой в галстук, лысый и плешивый, с обрюзглым, пьяным и рябым лицом и в очках на носу, похожем на пуговку. Выражение этого лица было злое и чувственное. Скверные, злые и подозрительные глаза заплыли жиром и глядели как из щёлочек...» Чуть позже обрисует этого мошенника *Маслобоев*: «Архипов, тоже что-то вроде купца или управляющего, шлялся и по откупам; бестия, шельма и теперешний товарищ *Сизобрюхова*, *Иуда* и *Фальстаф*, всё вместе, двукратный банкрот и отвратительно чувственная тварь, с разными вычурами. В этом роде я знаю за ним одно уголовное дело; вывернулся. По одному случаю я очень теперь рад, что его здесь встретил; я его ждал... Архипов, разумеется, обирает *Сизобрюхова*. Много разных закоулков знает, тем и драгоценен для этаких выюношей. Я, брат, на него уже давно зубы точу...» Именно для Архипова и нарядила *мадам Бубнова Нелли-Елену* в кисейное платье и, судя по всему, преступление чуть было не свершилось: «В эту минуту страшный, пронзительный крик раздался где-то за несколькими дверями, за две или за три комнатки от той, в которой мы были. Я вздрогнул и тоже закричал. Я узнал этот крик: это был голос *Елены*. Тотчас же вслед за этим жалобным криком раздалась другие крики, ругательства, возня и наконец ясные, звонкие, отчетливые удары ладонью руки по лицу. Это, вероятно, расправлялся *Митрошка* по своей части. Вдруг с силой отворилась дверь и *Елена*, бледная, с помутившимися глазами, в белом кисейном, но совершенно измятом и изорванном платье, с расчёсанными, но разбившимися, как бы в борьбе, волосами, ворвалась в комнату. Я стоял против дверей, а она бросилась прямо ко мне и обхватила меня руками. Все вскочили, все переполошились. Визги и крики раздалась при её появлении. Вслед за ней показался в дверях *Митрошка*, волоча за волосы своего пузатого недруга в самом растерзанном виде...»

Астафий Иванович

«Честный вор»

Жилец *Неизвестного*, поселившийся у него по протекции кухарки *Аграфены*. Служил он когда-то дворецким у богатого барина, да баре в деревню уехали и остался он без места. Стал на хлеб шитьём зарабатывать и жить по чужим углам. По словам Аграфены, это – «хороший, бывалый человек». Хозяин квартиры вскоре убедился, что «Аграфена не солгала: жилец мой был из бывалых людей. По паспорту оказалось, что он из отставных солдат, о чём я узнал, и не глядя на паспорт, с первого взгляда по лицу. Это легко узнать. Астафий Иванович, мой жилец, был из хороших между своими. Зажили мы хорошо. Но всего лучше было, что Астафий Иванович подчас умел рассказывать истории, случаи из собственной жизни. При всегдашней скуке моего житья-бытья такой рассказчик был просто клад...» Астафий Иванович рассказывает историю о «честном воре» *Емельяне Ильиче (Емеле)*, который жил-проживал у него в нахлебниках, украл однажды на пропой готовые рейтузы из его сундука и очень из-за этого мучился. Из рассказа встаёт-рисуеться образ прежде всего самого Астафия Ивановича – бесконечно доброго и отзывчивого на чужую беду человека.

В журнальном варианте образ и судьба этого героя были обрисованы более подробно: «Но жилец мой, Астафий Иванович, был отставной особого рода... Служба только заправила его на жизнь, но прежде всего он был из числа бывалых людей, и, кроме того, хороших людей. Службы его всего было восемь лет. Был он из белорусских губерний, поступил в кавалерийский полк и теперь числился в отставке. Потом он постоянно проживал в Петербурге, служил у частных лиц и уж Бог знает каких не испытал должностей. Был он и дворником, и дворецким, и камердинером, и кучером, даже жил два года в деревне приказчиком. Во всех этих званиях оказывался чрезвычайно способным. Сверх того был довольно хороший портной. Теперь ему было лет пятьдесят и жил он уже сам по себе, небольшим доходом, получаемым в виде ежемесячной пенсии от каких-то добрых людей, которым услужил в своё время; да, сверх того, занимался портняжным искусством, которое тоже кое-что приносило. <...> Я любопытствовал о подробностях его службы и чрезмерно удивился, узнав, что он был почти во всех сражениях незабвенной эпохи тринадцатого и четырнадцатого годов...» И далее в журнальном варианте отставной Астафий Иванович рассказывал подробно о том, как воевал в войне против французов, побывал в плену, входил в Париж, самого Бонапарта видел...

Прототипом этого героя послужил унтер-офицер *Евстафий*, который, по воспоминаниям *С. Д. Яновского*, проживал в качестве слуги у Достоевского в 1847 г.

Астлей

«Игрок»

Богатый англичанин, «племянник лорда, настоящего лорда» и в то же время «сахаровар» (один из совладельцев сахарного завода), тайно влюблённый в *Полину*. «Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого; он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе не глуп. Впрочем, он очень милый и тихий. <...> Не знаю, как он познакомился с генералом; мне кажется, что он беспрдельно влюблён в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул, как зарево <...> мистер Астлей до того застенчив, стыдлив и молчалив, что на него почти можно понадеяться, – из избы сора не вынесет. <...> Да, я убеждён, что он влюблён в Полину! Любопытно и смешно, сколько иногда может выразить взгляд стыдливого и болезненно-целомудренного человека, тронутого любовью, и именно в то время, когда человек уж, конечно, рад бы скорее сквозь землю провалиться, чем что-нибудь высказать или выразить, словом или взглядом. Мистер Астлей весьма часто встречается с нами на прогулках. Он снимает шляпу и проходит мимо, умирая, разумеется, от желания к нам присоединиться. Если же его приглашают, то он тотчас отказывается. На местах отдыха, в воксале, на музыке или пред фонтаном он уже непременно останавливается где-нибудь недалеко от нашей скамейки, и где бы мы ни были: в парке ли, в лесу ли, или на Шлангенберге, – стоит только вскинуть глазами, посмотреть кругом, и непременно где-нибудь, или на ближайшей тропинке, или из-за куста, покажется уголок мистера Астлея...» Мистер Астлей похож на благородных героев *Диккенса*, совершает одни только добрые поступки: выручает «бабушку» (*Тарасевичеву Антонииду Васильевну*) займом после её катастрофического проигрыша, пытается спасти от губительной рулетки Алексея Ивановича, Полина впоследствии находит приют в доме его сестры...

Афанасий

«Братья Карамазовы»

Персонаж из вставного жизнеописания старца *Зосимы* – его денщик, когда был он ещё Зиновием и служил в полку офицером. Накануне дуэли с *Михаилом* Зиновий жестоко – до крови – ударил денщика по лицу, вдруг это начало его мучить и именно с этого мучения началось перерождение Зиновия в Зосиму («В самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, такой же, как я, образ и подобие Божие, мне служил?...»): наутро он на коленях попросил прощения у потрясённого Афанасия, во время поединка отказался стрелять в противника, подал в отставку и ушёл в монахи. Странствуя, он встретил однажды, через восемь лет, в губернском городе К. бывшего денщика Афанасия, который был уже в отставке, стал Афанасием Павловичем, женился, двух детей народил и торговал мелким оптом на рынке с лотка. Афанасий принял бывшего командира как самого дорогого гостя, угостил, на прощание две полтины вынес – на монастырь и персонально ему. После прощания, теперь уже навеки, Зосима размышляет: «Был я ему господин, а он мне слуга, а теперь как облобызались мы с ним любовно и в духовном умилении, меж нами великое человеческое единение произошло. Думал я о сем много, а теперь мыслю так: неужели так недоступно уму, что сие великое и простодушное единение могло бы в свой срок и повсеместно произойти меж наших русских людей? Верую, что произойдёт, и сроки близки...» Эта мысль старца Зосимы перекликается с одной из самых кардинальных тем «*Пушкинской речи*» Достоевского.

Афердов

«Подросток»

Игрок на рулетке, вор. Прежде встречи с ним на рулетке, *Аркадий Долгорукий* совершил непростительную ошибку – тоже во время игры: «Я, например, уверен, что известный игрок Афердов – вор; он и теперь фигурирует по городу: я ещё недавно встретил его на паре собственных пони, но он – вор и украл у меня. Но об этом история ещё впереди; в этот же вечер случилась лишь прелюдия: я сидел все эти два часа на углу стола, а подле меня, слева, помещался всё время один гниленький франтик, я думаю, из жидков; он, впрочем, где-то участвует, что-то даже пишет и печатает. В самую последнюю минуту я вдруг выиграл двадцать рублей. Две красные кредитки лежали передо мной, и вдруг, я вижу, этот жидёнок протягивает руку и преспокойно тащит одну мою кредитку. Я было остановил его, но он, с самым наглым видом и нисколько не возвышая голоса, вдруг объявляет мне, что это – его выигрыш, что он сейчас сам поставил и взял; он даже не захотел и продолжать разговора и отвернулся. Как нарочно, я был в ту секунду в преглупом состоянии духа: я замыслил большую идею и, плюнув, быстро встал и отошёл, не захотев даже спорить и подарив ему красненькую. Да уж и трудно было бы вести эту историю с наглым воришкой, потому что было упущено время; игра уже ушла вперёд. И вот это-то и было моей огромной ошибкой, которая и отразилась в последствиях: три-четыре игрока подле нас заметили наше препинание и, увидя, что я так легко отступился, вероятно, приняли меня самого за такого...»

Когда же в следующий раз *Подросток* крупно выиграл на рулетке, Афердов воспользовался моментом: «Вдруг пухлая рука с перстнем Афердова, сидевшего сейчас от меня направо и тоже ставившего на большие куши, легла на три радужных мои кредитки и накрыла их ладонью.

– Позвольте-с, это – не ваше, – строго и отдельно отчеканил он, довольно, впрочем, мягким голосом.

Вот это-то и была та прелюдия, которой потом, через несколько дней, суждено было иметь такие последствия. <...> Главное, я тогда ещё не знал наверно, что Афердов – вор; я тогда ещё и фамилию его не знал, так что в ту минуту действительно мог подумать, что я ошибся и что эти три сторублёвые не были в числе тех, которые мне сейчас отсчитали. Я всё время не считал мою кучу денег и только пригребал руками, а перед Афердовым тоже всё время лежали деньги, и как раз сейчас подле моих, но в порядке и сосчитанные. Наконец, Афердова здесь знали, его считали за богача, к нему обращались с уважением: всё это и на меня повлияло, и я опять не протестовал. Ужасная ошибка!..» Следствием её было то, что Афердов и в следующий раз обворовал Подростка, да ещё и обвинил его самого в воровстве – обвинению охотно поверили и выставили Аркадия с позором вон, после чего он чуть не покончил с собой и тяжело заболел.

Эти и подобные эпизоды «Подростка», связанные с рулеткой, перекликаются с аналогичными эпизодами из во многом автобиографического романа «*Игрок*».

Афросиньюшка

«Преступление и наказание»

Мещаночка-самоубийца. Она очутилась случайно рядом с *Раскольниковым* как раз в тот момент, с когда тот, стоя на мосту и смотря в воду, подумывал о самоубийстве. «Он почувствовал, что кто-то стал подле него, справа, рядом; он взглянул – и увидел женщину, высокую, с платком на голове, с жёлтым, продолговатым, испитым лицом и с красноватыми впавшими глазами. Она глядела на него прямо, но, очевидно, ничего не видела и никого не различала. Вдруг она облокотилась правою рукой о перила, подняла правую ногу и замахнула её за решётку, затем левую, и бросилась в канаву. Грязная вода раздалась, поглотила на мгновение жертву, но через минуту утопленница всплыла, и её тихо понесло вниз по течению, головой и ногами в воде, спиной вверх, со сбившеюся и вспухшею над водой, как подушка, юбкой...» Однако ж женщину тут же вытащили, в толпе любопытных нашлась её соседка, опознала, назвала имя – Афросиньюшка и добавила существенное: «– До чёртиков допилась, батюшки, до чёртиков <...> анамнясь удавиться тоже хотела, с верёвки сняли. Пошла я теперь в лавочку, девчоночку при ней глядеть оставила, – ан вот и грех вышел! Мещаночка, батюшка, наша мещаночка, подле живём, второй дом с краю, вот тут...»

Афросиньюшке этой, уж разумеется, не жить на белом свете: очередная её попытка наложить на себя руки от нищеты, безысходности и пьяной тоски – непременно увенчается успехом. Но в данном случае она, сама того не ведая, совершила благое дело – спасла главного героя романа от «самоубийственного» шага: «Ему стало противно. “Нет, гадко... вода... не стоит, – бормотал он про себя...”»

Ахиллес

«Преступление и наказание»

Караульный солдат пожарной части, ставший свидетелем самоубийства *Свидригайлова*. Аркадий Иванович иронически именует солдата из-за форменной каски «Ахиллесом». «Тут-то стоял большой дом с каланчой. У запертых больших ворот дома стоял, прислонясь к ним плечом, небольшой человечек, закутанный в серое солдатское пальто и в медной ахиллесовской каске. Дремлющим взглядом, холодно покосился он на подошедшего Свидригайлова. На лице его виднелась та вековая брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени. Оба они, Свидригайлов и Ахиллес, несколько времени, молча, рассматривали один другого. Ахиллесу наконец показалось непорядком, что человек не пьян, а стоит перед ним в трёх шагах, глядит в упор и ничего не говорит.

– А-зе, сто-зе вам и здесь на-а-до? – проговорил он, всё ещё не шевелясь и не изменяя своего положения...»

Солдатик встревожился-испугался лишь тогда, когда Свидригайлов пояснил, что едет «в Америку» и приставил дуло револьвера к виску, но – помешать не успел.

Ахмаков

«Подросток»

Генерал; муж *Катерины Николаевны Ахмаковой*. За полтора года до описываемых в романе событий «Версилов, став через старого князя Сокольского другом дома Ахмаковых (все тогда находились за границей, в Эмсе), произвёл сильное впечатление, во-первых, на самого Ахмакова, генерала и ещё нестарого человека, но проигравшего всё богатое приданое своей жены, Катерины Николаевны, в три года супружества в карты и от невоздержной жизни уже имевшего удар». Генерал от первого удара «очнулся и поправлялся за границей, а в Эмсе проживал для своей дочери, от первого своего брака». Ахмаков поначалу противился предполагаемому браку *Версилова* с дочерью (*Лидией Ахмаковой*), затем уже готов был смириться. Смерть Лидии после попытки самоубийства он пережил тяжело и через три месяца скончался от второго апоплексического удара.

Ахмакова Катерина Николаевна

«Подросток»

Дочь князя *Сокольского*, вдова генерала *Ахмакова*, невеста барона *Бьоринга*. Окончательно намечая в черновых материалах образ этой героини (на том этапе – Княгини), Достоевский после записей о *Версилье* (НЕМ), определяет-подчёркивает: «...но надо: поднять и лицо Княгини. Сделать её тоже гордою и фантастичною». И именно Ахмаковой доверено автором сформулировать суждение о современном обществе – одну из «капитальных» тем романа: «В нём во всём ложь, фальшь, обман и высший беспорядок. Ни один из этих людей не выдержит пробы: полная безнравственность, полный цинизм...» Окончательный портрет и характер Катерины Николаевны пробует определить, конечно, «автор» записок, *Аркадий Долгорукий*, своим сбивчивым слогом: «– Я не могу больше выносить вашу улыбку! – вскричал я вдруг, – зачем я представлял вас грозной, великолепной и с ехидными светскими словами ещё в Москве? Да, в Москве; мы об вас ещё там говорили с Марьей Ивановной и представляли вас, какая вы должны быть... <...> Когда я ехал сюда, вы всю ночь снились мне в вагоне. Я здесь до вашего приезда глядел целый месяц на ваш портрет у вашего отца в кабинете и ничего не угадал. Выражение вашего лица есть детская шаловливость и бесконечное простодушие – вот! Я ужасно дивился на это всё время, как к вам ходил. О, и вы умеете смотреть гордо и раздавливать взглядом: я помню, как вы посмотрели на меня у вашего отца, когда приехали тогда из Москвы... Я вас тогда видел, а между тем спроси меня тогда, как я вышел: какая вы? – и я бы не сказал. Даже росту вашего бы не сказал. Я как увидел вас, так и ослеп. Ваш портрет совсем на вас не похож: у вас глаза не тёмные, а светлые, и только от длинных ресниц кажутся тёмными. Вы полны, вы среднего роста, но у вас плотная полнота, лёгкая, полнота здоровой деревенской молодки. Да и лицо у вас совсем деревенское, лицо деревенской красавицы, – не обижайтесь, ведь это хорошо, это лучше – круглое, румяное, ясное, смелое, смеющееся и... застенчивое лицо! Право, застенчивое. Застенчивое у Катерины Николаевны Ахмаковой! Застенчивое и целомудренное, клянусь! Больше чем целомудренное – детское! – вот ваше лицо! Я всё время был поражён и всё время спрашивал себя: та ли это женщина? Я теперь знаю, что вы очень умны, но ведь сначала я думал, что вы простоваты. У вас ум весёлый, но без всяких прикрас... Ещё я люблю, что с вас не сходит улыбка: это – мой рай! Ещё люблю ваше спокойствие, вашу тихость и то, что вы выговариваете слова плавно, спокойно и почти лениво, – именно эту ленивость люблю. Кажется, подломись под вами мост, вы и тут что-нибудь плавно и мерно скажете... Я воображал вас верхом гордости и страстей, а вы все два месяца говорили со мной как студент с студентом... Я никогда не воображал, что у вас такой лоб: он немного низок, как у статуй, но бел и нежен, как мрамор, под пышными волосами. У вас грудь высокая, походка легкая, красоты вы необычайной, а гордости нет никакой. Я ведь только теперь поверил, всё не верил!...»

Катерина Николаевна была замужем за генералом Ахмаковым, который прокутил её богатое приданное и умер от апоплексического удара, оставив её без средств. В не добрую минуту она вздумала однажды спросить совета в письме к юристу *Андроникову* – не следует ли учредить опеку над её отцом князем Сокольским, который, словно впад в безумие, транжирил деньги? Минута прошла, Андроников отсоветовал это делать, но письмо осталось, и после смерти юриста могло попасть в руки старого князя, что, естественно, подвигло бы его лишить дочь наследства. Ахмакова думает, что письмо это находится у Версилье, с которым её связывают запутанные отношения любви-ненависти, на самом же деле оно зашито за подкладку пиджака *Подростка*, который с этим важным письмом и приехал в Петербург, чтобы самому во всё «разобраться». Только к самому финалу романа Аркадий «разобрался», что его

влюблённость в Катерину Николаевну ни в какое сравнение не идёт со страстью к ней, которой мучается на протяжении долгих лет Версилов. В этом финале Версилов даже идёт на сговор с негодяем *Ламбертом*, который завладел компрометирующим письмом, пытается шантажировать Ахмакову и угрожает её пистолетом, тут же, обезумев, сам пытается застрелить её, затем, когда Аркадий и *Тришатов*, мешают ему это сделать, Версилов стреляет в себя... И уже в «Заключении» разъясняется окончательно: Катерина Николаевна отказала «щепетильному» барону Бьорингу, с Версиловым, судя по всему, все и всяческие отношения прекращены навсегда, она унаследовала после последовавшей вскоре кончины отца большую часть его богатого состояния и о дальнейшей судьбе молодой богатой княгини и генеральши можно только догадываться.

В Ахмаковой отразились отдельные черты *А. В. Корвин-Круковской*.

Ахмакова Лидия

«Подросток»

Дочь генерала *Ахмакова*, падчерица *Катерины Николаевны Ахмаковой*. «Это была болезненная девушка, лет семнадцати, страдавшая расстройством груди и, говорят, чрезвычайной красоты, а вместе с тем и фантастичности...» По словам *Васина*: «Это была очень странная девушка <...> очень даже может быть, что она не всегда была в совершенном рассудке...» *Версилов* же, показывая её фотопортрет *Аркадию Долгорукому*, более категоричен: «Это тоже была фотография, несравненно меньшего размера, в тоненьком, овальном, деревянном ободочке – лицо девушки, худое и чахоточное и, при всем том, прекрасное; задумчивое и в то же время до странности лишённое мысли. Черты правильные, выхоленного поколениями типа, но оставляющие болезненное впечатление: похоже было на то, что существом этим вдруг овладела какая-то неподвижная мысль, мучительная именно тем, что была ему не под силу.

– Это... это – та девушка, на которой вы хотели там жениться и которая умерла в чахотке... её падчерица? – проговорил я несколько робко.

– Да, хотел жениться, умерла в чахотке, её падчерица. Я знал, что ты знаешь... все эти сплетни. Впрочем, кроме сплетен, ты тут ничего и не мог бы узнать. Оставь портрет, мой друг, это бедная сумасшедшая и ничего больше.

– Совсем сумасшедшая?

– Или идиотка; впрочем, я думаю, что и сумасшедшая...»

Лидия была какое-то время в связи с князем *Сергеем Петровичем Сокольским*, родила от него девочку, которую впоследствии считали ребёнком *Версилова* (в него экзальтированная Лидия влюбилась до безумия). На самом деле Версилов даже предлагал ей брак (с разрешения гражданской жены своей *Софьи Андреевны Долгорукой*), дабы «прикрыть чужой грех», но девушка, спустя две недели после преждевременных родов, умерла при странных обстоятельствах – чуть ли не покончила жизнь самоубийством, отравившись фосфорными спичками (по крайней мере, *Крафт*, в это верит).

Б.

«*Неточка Незванова*»

Знаменитый скрипач; товарищ и покровитель отчима *Неточки Незвановой* – *Ефимова*. Они встретились, когда Ефимов перебрался в Петербург. «Он поселился где-то на чердаке и тут-то в первый раз сошёлся с Б., который только что приехал из Германии и тоже замышлял составить себе карьеру. Они скоро подружились, и Б. с глубоким чувством вспоминает даже и теперь об этом знакомстве. Оба были молоды, оба с одинаковыми надеждами, и оба с одною и тою же целью. Но Б. ещё был в первой молодости; он перенёс ещё мало нищеты и горя; сверх того, он был прежде всего немец и стремился к своей цели упрямо, систематически, с совершенным сознанием сил своих и почти рассчитав заранее, что из него выйдет...» Ефимов в то время как раз возомнил себя скрипачом-гением, восторженно мечтал о славе. «Этот непрерывный восторг поразил холодного, методического Б.; он был ослеплён и приветствовал моего отчима как будущего великого музыкального гения. Иначе он не мог и представить себе будущую судьбу своего товарища. Но вскоре Б. открыл глаза и разгадал его совершенно. Он ясно увидел, что вся эта порывчатость, горячка и нетерпение – не что иное, как бессознательное отчаяние при воспоминании о пропавшем таланте...» Рассказывая-вспоминая впоследствии о той поре, Б. очень трезво оценивал самого себя: «Что же касается до меня, – продолжал Б., – то я был спокоен насчёт себя самого. Я тоже страстно любил своё искусство, хотя знал при самом начале моего пути, что большего мне не дано, что я буду, в собственном смысле, чернорабочий в искусстве; но зато я горжусь тем, что не зарыл, как ленивый раб, того, что мне дано было от природы, а, напротив, возрастил сторицею, и если хвалят мою отчётливость в игре, удивляются выработанности механизма, то всем этим я обязан непрерывному, неусыпному труду, ясному сознанию сил своих, добровольному самоуничтожению и вечной вражде к заносчивости, к раннему самоудовлетворению и к лени как естественному последствию этого самоудовлетворения...»

Именно в уста Б. (в его слова Ефимову) Достоевский вложил свои сокровенные мысли-размышления о путях и судьбе таланта, которые в ту пору, пору его литературной юности, занимали его чрезвычайно, сопрягались с собственной судьбой – в строках этих много автобиографического: «Друг мой, нужно терпение и мужество. Тебя ждёт жребий завиднее моего: ты во сто раз более художник, чем я; но дай Бог тебе хоть десятую долю моего терпения. Учись и не пей, как говорил тебе твой добрый помещик, а главное – начинай сызнова, с азбуки. Что тебя мучит? бедность, нищета. Но бедность и нищета образуют художника. Они неразлучны с началом. Ты ещё никому не нужен теперь, никто тебя и знать не хочет; так свет идёт. Подожди, не то ещё будет, когда узнают, что в тебе есть дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость налягут на тебя сильнее нищеты. Таланту нужно сочувствие, ему нужно, чтоб его понимали, а ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Они не ободрят, не утешат тебя, твои будущие товарищи; они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно, но с злою радостью будут поднимать каждую ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься, и под наружным видом хладнокровия и презрения к тебе будут как праздник праздновать каждую твою ошибку (будто кто-нибудь был без ошибок!). Ты же заносчив, ты часто некстати горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность, и тогда беда – ты будешь один, а их много; они тебя истерзают булавами. Даже я начинаю это испытывать. Ободрись же теперь! Ты ещё совсем не так беден, ты можешь жить, не пренебрегай чёрной работой, руби дрова, как я рубил их на вечеринках у бедных ремесленников. Но ты

нетерпелив, ты болен своим нетерпением, у тебя мало простоты, ты слишком хитришь, слишком много думаешь, много даёшь работы своей голове; ты дерзок на словах и трусишь, когда придётся взять в руки смычок. Ты самолюбив, и в тебе мало смелости. Смелей же, подожди, поучись, и если не надеешься на силы свои, так иди на авось; в тебе есть жар, есть чувство. Авось дойдёшь до цели, а если нет, всё-таки иди на авось: не потеряешь ни в каком случае, потому что выигрыш слишком велик. Тут, брат, наше авось – дело великое!..»

Этот Б. продолжал поддерживать Ефимова и помогать ему, когда тот уже окончательно опустился, а впоследствии Неточка часто видела его в доме *Александры Михайловны*, с которой музыкант был в большой дружбе.

Б—кий (Б—ский; Б.)

«Записки из Мёртвого дома»

Арестант из поляков-дворян, который в записках именуется по-разному. «Б. был слабосильный, тщедушный человек, ещё молодой, страдавший грудью. Он прибыл в острог с год передо мною вместе с двумя другими из своих товарищей – одним стариком, всё время осторожной жизни денно и ночью молившимся Богу (за что уважали его арестанты) и умершим при мне (Имеется в виду Ж—кий. – Н. Н.), и с другим, ещё очень молодым человеком, свежим, румяным, сильным, смелым, который дорогою нёс устававшего с пол-этапа Б., что продолжалось семьсот вёрст сряду (Речь идёт о Т—ском. – Н. Н.). Нужно было видеть их дружбу между собою. Б. был человек с прекрасным образованием, благородный, с характером великодушным, но испорченным и раздражённым болезнью. <...> Б—кий был больной, несколько наклонный к чахотке человек, раздражительный и нервный, но в сущности предобрый и даже великодушный. Раздражительность его доходила иногда до чрезвычайной нетерпимости и капризов...» И далее дана общая характеристика арестантов-поляков: «Впрочем, все они были больные нравственно, желчные, раздражительные, недоверчивые. Это понятно: им было очень тяжело, гораздо тяжелее, чем нам. Были они далеко от своей родины. Некоторые из них были присланы на долгие сроки, на десять, на двенадцать лет, а главное, они с глубоким предубеждением смотрели на всех окружающих, видели в каторжных одно только зверство и не могли, даже не хотели, разглядеть в них ни одной доброй черты, ничего человеческого, и что тоже очень было понятно: на эту несчастную точку зрения они были поставлены силою обстоятельств, судьбой. Ясное дело, что тоска душила их в остроге...»

Полная фамилия Б—кого – *И. Богуславский*.



Ф. М. Достоевский. Фотография неизвестного автора, конец 1850-х гг.

Б—м

«Записки из Мёртвого дома»

Арестант из поляков, маляр. «Б—м, человек уже пожилой, производил на всех нас презренное впечатление. Не знаю, как он попал в разряд таких преступников, да и сам он отрицал это. Это была грубая, мелкопомещанская душа, с привычками и правилами лавочника, разбогатевшего на обчисленные копейки. Он был безо всякого образования и не интересовался ничем, кроме своего ремесла. Он был маляр, но маляр из ряду вон, маляр великолепный. Скоро начальство узнало о его способностях, и весь город стал требовать Б—ма для малярных стен и потолков. В два года он расписал почти все казённые квартиры. Владетели квартир платили ему от себя, и жил он таки небедно. Но всего лучше было то, что на работу с ним стали посылать и других его товарищей. <...> Наш плац-майор, занимавший тоже казённый дом, в свою очередь потребовал Б—ма и велел расписать ему все стены и потолки. Тут уж Б—м постарался: у генерал-губернатора не было так расписано. Дом был деревянный, одноэтажный, довольно дряхлый и чрезвычайно шелудивый снаружи: расписано же внутри было, как во дворце, и майор был в восторге... <...> Б—мом был он всё более и более доволен, а чрез него и другими, работавшими с ним вместе. Работа шла целый месяц. В этом месяце майор совершенно изменил своё мнение о всех наших и начал им покровительствовать...» Полная фамилия этого поляка — *К. Бем*.

Бабушка

«Белые ночи»

Единственный родной человек *Настеньки*. Девушка поведала *Мечтателю*: «Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала ещё очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было пятнадцать лет (а теперь мне семнадцать), учиться мы кончили. Вот в это время я и нашла; уж что я сделала – я вам не скажу; довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит, взяла булавку и пришила моё платье к своему, да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше...» Так и жили: Бабушка, несмотря на слепоту, чулок вяжет, Настенька, пришитая к ней, шьёт или книжку вслух читает. Пока не появился в их доме новый *Жилец*...

Багаутов Степан Михайлович

«Вечный муж»

Один из любовников *Натальи Васильевны Трусоцкой*. Он получил этот «статус» ровно через год после *Вельчанинова* и целых пять лишних лет, пренебрегая перспективой карьеры в Петербурге, служил губернским чиновником в городе Т. «единственно для этой женщины», пока тоже не получил «отставку» и только тогда воротился наконец в столицу. *Павел Павлович Трусоцкий*, признается *Вельчанинову*, что, может, единственно для того в Петербург и приехал после смерти жены, дабы найти Багаутова, а он возьми, да и умри буквально в день его приезда – совершенно случайно, разумеется, «от нервной горячки». Так что обманутому мужу довелось любовника своей жены только в гробу лицезреть и переключить все свои силы на поиски другого бывшего «друга семьи» – *Вельчанинова*.

Баклушин Александр

«Записки из Мёртвого дома»

Арестант особого отделения. Он служил в гарнизоне унтер-офицером, влюбился в немку Луизу, а ту отец решил выдать за старого и богатого Шульца – Баклушин соперника застрелил, да ещё и нагрубил капитану в ссудной комиссии, за что получил четыре тысячи палок и бессрочную каторгу. Имя его вынесено в название главы IX первой части – «Исай Фомич. Баня. Рассказ Баклушина», где приводится его горькая история, и повествователь (*Горянчиков*) даёт ему характеристику: «Я не знаю характера милее Баклушина. Правда, он не давал спуска другим, он даже часто ссорился, не любил, чтоб вмешивались в его дела, – одним словом, умел за себя постоять. Но он ссорился ненадолго, и, кажется, все у нас его любили. Куда он ни входил, все встречали его с удовольствием. Его знали даже в городе как забавнейшего человека в мире и никогда не теряющего своей весёлости. Это был высокий парень, лет тридцати, с молодцеватым и простодушным лицом, довольно красивым, и с бородавкой. Это лицо он коверкал иногда так уморительно, представляя встречных и поперечных, что окружавшие его не могли не хохотать. Он был тоже из шутников; но не давал потачки нашим брезгливым ненавистникам смеха, так что его уж никто не ругал за то, что он “пустой и бесполезный” человек. Он был полон огня и жизни...» Этот Баклушин был одним из ведущих и действительно талантливых актёров острожного театра. Прототип – *С. Арёфьев*.

Барашкова Настасья Филипповна

«Идиот»

Главная героиня романа, вокруг которой завязаны основные сюжетные узлы. *Князь Мышкин* впервые видит её (сначала на портрете) в день, когда ей исполнилось 25 лет. «— Так это Настасья Филипповна? — промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет: — Удивительно хороша! — прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в чёрном шёлковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому, тёмно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза тёмные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна... <...>

— Удивительное лицо! — ответил князь, — и я уверен, что судьба её не из обыкновенных. Лицо весёлое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щёк. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!..»

Затем князь ещё раз, уже наедине, вглядывается в портрет: «Давешнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное по своей красоте и ещё по чему-то лицо ещё сильнее поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз; странная красота! Князь смотрел с минуту, потом вдруг спохватился, огляделся кругом, поспешно приблизил портрет к губам и поцеловал его. Когда через минуту он вошёл в гостиную, лицо его было совершенно спокойно...»

Мышкин как бы угадал всю прежнюю и будущую судьбу Настасьи Филипповны. Он родилась в семье мелкопоместного помещика Филиппа Александровича Барашкова — «отставного офицера, хорошей дворянской фамилии». Когда Насте было семь лет, «вотчина» их сгорела, в огне погибла мать, отец от горя сошёл с ума и умер в горячке, умерла вскоре и младшая сестра, так что девочка осталась одна на всём белом свете. Сосед, богатый помещик *Афанасий Иванович Тоцкий*, «по великодушию своему, принял на своё иждивение» сироту, она выросла в семье его управляющего-немца. «Лет пять спустя, однажды, Афанасий Иванович, проездом, вздумал заглянуть в своё поместье и вдруг заметил в деревенском своём доме, в семействе своего немца, прелестного ребёнка, девочку лет двенадцати, резвую, милую, умненькую и обещающую необыкновенную красоту; в этом отношении Афанасий Иванович был знаток безошибочный. В этот раз он пробыл в поместье всего несколько дней, но успел распорядиться; в воспитании девочки произошла значительная перемена: приглашена была почтенная и пожилая гувернантка, опытная в высшем воспитании девиц, швейцарка, образованная и преподававшая, кроме французского языка, и разные науки. Она поселилась в деревенском доме, и воспитание маленькой Настасьи приняло чрезвычайные размеры. Ровно чрез четыре года это воспитание кончилось; гувернантка уехала, а за Настей приехала одна барыня, тоже какая-то помещица и тоже соседка г-на Тоцкого по имению, но уже в другой, далёкой губернии, и взяла Настю с собой, вследствие инструкции и полномочия от Афанасия Ивановича. В этом небольшом поместье оказался тоже, хотя и небольшой, только что отстроенный деревянный дом; убран он был особенно изящно, да и деревенька, как нарочно, называлась селцо «Отрадное». Помещица привезла Настю прямо в этот тихий домик, и так как сама она, бездетная

вдова, жила всего в одной версте, то и сама поселилась вместе с Настей. Около Насти явилась старуха ключница и молодая, опытная горничная. В доме нашлись музыкальные инструменты, изящная девичья библиотека, картины, эстампы, карандаши, кисти, краски, удивительная левретка, а чрез две недели пожаловал и сам Афанасий Иванович... С тех пор он как-то особенно полюбил эту глухую, степную свою деревеньку, заезжал каждое лето, гостил по два, даже по три месяца, и так прошло довольно долгое время, года четыре, спокойно и счастливо, со вкусом и изящно...»

Идиллия кончилась, когда Настасья Филипповна узнала, что Тоцкий в Петербурге «женится на красавице, на богатой, на знатной, – одним словом, делает солидную и блестящую партию». И в судьбе Настасьи Филипповны с этого времени произошёл чрезвычайный переворот. «Она вдруг выказала необыкновенную решимость и обнаружила самый неожиданный характер. Долго не думая, она бросила свой деревенский домик и вдруг явилась в Петербург, прямо к Тоцкому, одна-одинёхонька. Тот изумился, начал было говорить; но вдруг оказалось, почти с первого слова, что надобно совершенно изменить слог, диапазон голоса, прежние темы приятных и изящных разговоров, употреблявшиеся доселе с таким успехом, логику, – всё, всё, всё! Пред ним сидела совершенно другая женщина, нисколько не похожая на ту, которую он знал доселе <...> Эта новая женщина, оказалось, во-первых, необыкновенно много знала и понимала, – так много, что надо было глубоко удивляться, откуда могла она приобрести такие сведения, выработать в себе такие точные понятия. (Неужели из своей девичьей библиотеки?) Мало того, она даже юридически чрезвычайно много понимала и имела положительное знание, если не света, то о том по крайней мере как некоторые дела текут на свете. Во-вторых, это был совершенно не тот характер как прежде, то есть не что-то робкое, пансионски неопределенное, иногда очаровательное по своей оригинальной резвости и наивности, иногда грустное и задумчивое, удивлённое, недоверчивое, плачущее и беспокойное.

Нет: тут хохотало пред ним и кололо его ядовитейшими сарказмами необыкновенное и неожиданное существо, прямо заявившее ему, что никогда оно не имело к нему в своём сердце ничего, кроме глубочайшего презрения, презрения до тошноты, наступившего тотчас же после первого удивления. Эта новая женщина объявляла, что ей в полном смысле всё равно будет, если он сейчас же и на ком угодно женится, но что она приехала не позволить ему этот брак, и не позволить по злости, единственно потому, что ей так хочется, и что следственно так и быть должно...»

Тоцкий намеревался жениться на одной из дочерей генерала *Епанчина – Александре*. Настасья Филипповна не может «юридически» помешать этому браку, но она в состоянии, погубив себя, погубить и его матримониальные планы. Непримириемость, максимализм Настасьи Филипповны, её безграничная гордость вкупе с её ослепительной красотой увлекают в орбиту её inferнального притяжения всё новых и новых претендентов на её сердце, вернее – тело. Она в прямом смысле слова становится предметом купли, предметом торга. Генерал Епанчин, *Ганя Иволгин*, купец-миллионщик *Парфён Рогожин* – все они рассчитывают так или иначе «купить» Настасью Филипповну. И только князь Мышкин видит в этой мятущейся женщине живую, страдающую, легко ранимую душу. Сама Настасья Филипповна, запутавшись в своих чувствах, мечется между Парфёном Рогожиным и князем Мышкиным, соглашается на брак то с одним, то с другим и в финале погибает от ножа Рогожина.

В образе Настасьи Филипповны Барашковой можно усмотреть отдельные черты сходства с *Аполлинарией Прокофьевной Суловой*, а во взаимоотношениях героини романа с Тоцким, годящимся ей по возрасту в отцы, проявились в какой-то мере глубинные психологические мотивы любви-ненависти, составляющие суть взаимоотношений Суловой и Достоевского.

Барон Р.

«Подросток»

Товарищ барона *Бьоринга*, следующий за ним повсюду как тень. Именно он явился к *Версилону* как представитель Бьоринга для переговоров, когда Версиров, по мнению немцев, оскорбил невесту последнего – *Катерину Николаевну Ахмакову*: «...пополудни пожаловал к нему один барон Р., полковник, военный, господин лет сорока, немецкого происхождения, высокий, сухой и с виду очень сильный физически человек, тоже рыжеватый, как и Бьоринг, и немного только плешивый. Это был один из тех баронов Р., которых очень много в русской военной службе, всё людей с сильнейшим баронским гонором, совершенно без состояния, живущих одним жалованьем и чрезвычайных служак и фрунтовики...»

Бахмутов

«Идиот»

Персонаж из «Необходимого объяснения» *Ипполита Терентьева*, его «товарищ» по школе. «С этим Бахмутовым в гимназии, в продолжение нескольких лет, я был в постоянной вражде. У нас он считался аристократом, по крайней мере, я так называл его: прекрасно одевался, приезжал на своих лошадях, нисколько не фанфаронил, всегда был превосходный товарищ, всегда был необыкновенно весел и даже иногда очень остёр, хотя ума был совсем не далёкого, несмотря на то, что всегда был первым в классе; я же никогда, ни в чём не был первым. Все товарищи любили его, кроме меня одного. Он несколько раз в эти несколько лет подходил ко мне; но я каждый раз угрюмо и раздражительно от него отворачивался...»

И вот Ипполит, случайно став перед смертью филантропом, вспомнил об однокласснике, чтобы помочь случайному встречному – *Медику*. Дело в том, что у Бахмутова был дядя Пётр Матвеевич Бахмутов, действительный статский советник и директор, от которого и зависела участь Медика, потерявшего место, поэтому Ипполит и отправился к Бахмутову: «Теперь я уже не видал его с год; он был в университете. Когда, часу в девятом, я вошёл к нему (при больших церемониях: обо мне докладывали), он встретил меня сначала с удивлением, вовсе даже не приветливо, но тотчас повеселел и, глядя на меня, вдруг расхохотался.

– Да что это вздумалось вам придти ко мне, Терентьев? – вскричал он со своею всегдашнею, милой развязностию, иногда дерзкою, но никогда не оскорблявшею, которую я так в нём любил и за которую так его ненавидел...»

Бахмутов охотно соглашается похлопотать за протеже Ипполита, и хлопоты эти достигают цели, затем он уже по собственной инициативе активно помогает Медику и его семье деньгами, устраивает им проводы при отъезде к месту новой службы. Вот после этого прощального ужина, когда Бахмутов провожал Терентьева домой, между ними и состоялся откровенный и даже душевный разговор о смысле жизни, который окончательно подтолкнул Ипполита к мысли о самоубийстве.

Бахчеев Степан Алексеевич

«Село Степанчиково и его обитатели»

Помещик, сосед *Егора Ильича Ростанева*. Глава вторая первой части озаглавлена в его честь – «Господин Бахчеев». Рассказчик *Сергей Александрович* встретил его на пути в Степанчиково у кузницы: «Выйдя из тарантаса, я увидел одного толстого господина, который, так же как и я, принуждён был остановиться для починки своего экипажа. Он стоял уже целый час на нестерпимом зное, кричал, бранился и с брюзгливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся около его прекрасной коляски. С первого же взгляда этот сердитый барин показался мне чрезвычайной брюзгой. Он был лет сорока пяти, среднего роста, очень толст и ряб. Толстота, кадык и пухлые, отвислые его щеки свидетельствовали о блаженной помещичьей жизни. Что-то бабье было во всей его фигуре и тотчас же бросалось в глаза. Одет он был широко, удобно, опрятно, но отнюдь не по моде...»

Чуть позже выяснилось, что злится-сердится толстяк потому, что разозлился ещё в Степанчикове из-за *Фомы Фомича Опискина*, которого терпеть не может. На самом же деле господин Бахчеев оказался добряком и весельчаком. Он помнил Сергея Александровича ещё ребёнком, очень обрадовался встрече и первым посвятил его в тонкости жизни Степанчикова, где полным хозяином оказался не полковник Ростанев, а проходимец и приживальщик Опискин.

В финале повести упоминается, что господин Бахчеев сделал предложение *Прасковье Ильиничне Ростаневой*, но оно было отклонено, что он собирается теперь сделать предложение сестре *Мизинчикова*... Рассказчик на этом интригующе обрывает: «Впрочем, о господине Бахчееве мы надеемся поговорить в другой раз, в другом рассказе, подробнее...» Обещание это исполнено не было.

Безмыгин

«Униженные и оскорблённые»

Главный идеолог кружка Левеньки и Бореньки. В этом кружке проглядывает сходство (конечно, в карикатурном преломлении) одновременно с кружком *М. В. Петрашевского* конца 1840-х гг. и кружком «*Современника*» начала 1860-х гг., а в Безмыгине можно усмотреть намёк на *Н. А. Добролюбова*. В захлёбывающемся пересказе *Алёши Валковского* речи и изречения Безмыгина, «гениальной головы», звучат пародией на статьи ведущего критика «Современника»: «Не далее как вчера он сказал к разговору: дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак! Такие изречения у него поминутно. Он сыплет истинами...» И далее Алёша с восторгом рассказывает, что под влиянием Безмыгина они решили заняться «изучением самих себя порознь, а все вместе толковать друг другу друг друга...» Даже князь *Валковский* был шокирован: «— Что за галиматья!...»

Белка (собака)

«Записки из Мёртвого дома»

При остроге жило несколько прибудных собак, с которыми Достоевский (*Горячкиков*) «дружил», и они за ласку отвечали ему преданной любовью, помогали выжить на каторге, а одна из собак (правда, не упомянутая в «Записках...») в прямом смысле слова спасла однажды писателю жизнь. «В качестве постоянной острожной собаки жил у нас <...> Шарик, умная и добрая собака, с которой я был в постоянной дружбе. Но так как уж собака вообще у всего простонародья считается животным нечистым, на которое и внимания не следует обращать, то и на Шарика у нас почти никто не обращал внимания. <...> в продолжение многих лет она не добила никакой ласки ни от кого, кроме разве меня. За это-то она и любила меня более всех. Не помню, каким образом появилась у нас потом в остроге и другая собака, Белка. Третью же, Культяпку, я сам завёл, принеся её как-то с работы, ещё щенком. Белка была странное создание. Её кто-то переехал телегой, и спина её была вогнута внутрь, так что когда она, бывало, бежит, то казалось издали, что бегут двое каких-то белых животных, сращенных между собою. Кроме того, вся она была какая-то паршивая, с гноющимися глазами; хвост был облезший, почти весь без шерсти, и постоянно поджатый. Оскорбленная судьбою, она, видимо, решила смириться. Никогда-то она ни на кого не лаяла и не ворчала, точно не смела. Жила она больше, из хлеба, за казармами; если же увидит, бывало, кого-нибудь из наших, то тотчас же ещё за несколько шагов, в знак смирения, перекувырнётся на спину: “Делай, дескать, со мной что тебе угодно, а я, видишь, и не думаю сопротивляться”. И каждый арестант, перед которым она перекувырнётся, пырнёт её, бывало, сапогом, точно считая это непременною своею обязанностью. <...> Я попробовал раз её приласкать; это было для неё так ново и неожиданно, что она вдруг вся осела к земле, на все четыре лапы, вся затрепетала и начала громко визжать от умиления. Из жалости я ласкал её часто. Зато она встречать меня не могла без визгу. Завидит издали и визжит, визжит болезненно и слезливо. <...> Совсем другого характера был Культяпка. Зачем я его принёс из мастерской в острог ещё слепым щенком, не знаю. Мне приятно было кормить и растить его. <...> Странно, что Культяпка почти не рос в вышину, а всё в длину и ширину. Шерсть была на нём лохматая, какого-то светло-мышинного цвета; одно ухо росло вниз, а другое вверх. Характера он был пылкого и восторженного, как и всякий щенок, который от радости, что видит хозяина, обыкновенно навизжит, накричит, полезет лизать в самое лицо и тут же перед вами готов не удержать и всех остальных чувств своих: “Был бы только виден восторг, а приличия ничего не значат!” Бывало, где бы я ни был, но по крику: “Культяпка!” – он вдруг являлся из-за какого-нибудь угла, как из-под земли, и с визгливым восторгом летел ко мне, катясь, как шарик, и перекувыркиваясь дорогою. Я ужасно полюбил этого маленького уродца...» Увы, Белку разодрали городские собаки, а Культяпка стал жертвой арестанта *Неустроева*, который использовал его шкуру для своих сапожных дел.

Что касается чудесного спасения собакой Достоевского, то случай этот описан в книге *Ш. Токаржевского* «Каторжане» (1912): вскоре после гибели Культяпки писатель приласкал-прикормил новую собаку, которая получила кличку Суанго, и когда он лежал в госпитале, и арестант *Ломов*, заметив у него под подушкой три рубля, решил с сообщником фельдшером отравить Фёдора Михайловича и ограбить – Суанго вбежал в палату и выбил в последний момент чашку с отравленным молоком из его рук...

Белоконская (княгиня Белоконская)

«Идиот»

Близкая знакомая генеральши *Елизаветы Прокофьевны Епанчиной*, «высший суд» для неё, крёстная мать *Аглаи Епанчиной*. «Это была страшная деспотка; в дружбе, даже в самой старинной, не могла терпеть равенства, а на Лизавету Прокофьевну смотрела решительно как на свою protégée, как и тридцать пять лет назад, и никак не могла примириться с резкостью и самостоятельностью её характера...» В то время, когда князь *Мышкин* уехал в Москву по делам наследства и прожил там полгода, «старуха Белоконская» (как именovala её за глаза генеральша) как раз тоже гостила там у старшей замужней дочери и в своих письмах сообщала Елизавете Прокофьевне «утешительные сведения» о «князе-чудаке», с которым специально завязала знакомство и тот теперь «каждый день к ней таскается». В четвёртой части романа княгиня Белоконская, вернувшаяся в Петербург, принимает активное участие в подготовке бракосочетания князя Мышкина с Аглаей.

Берендеев Олсуфий Иванович

«Двойник»

Отец *Клары Олсуфьевны*, в которую влюбился господин *Голядкин* – «маститый старец и статский советник Олсуфий Иванович, лишившийся употребления ног на долговременной службе и вознаграждённый судьбою за таковое усердие капиталцем, домком, деревеньками и красавицей дочерью...» Сам *Яков Петрович*, когда его гонят вшаей из дома Берендеева, где празднуется день рождения его дочери, пытается уверить и себя и слуг: «Олсуфий Иванович, благодетель мой с незапамятных лет, заменивший мне в некотором смысле отца...» Впрочем, и повествователь упоминает, что Берендеев был одно время благодетелем господина *Голядкина*. В какой-то мере о внешности и вполне добродушном «генеральском» характере этого героя можно судить по финальной сцене повести, где *Голядкина* уже снаряжают в сумасшедший дом: «Олсуфий Иванович принял, кажется, весьма хорошо господина *Голядкина* и, хотя не протянул ему руки своей, но по крайней мере, смотря на него, покачал своею седовласою и внушающею всякое уважение головою, – покачал с каким-то торжественно-печальным, но вместе с тем благосклонным видом. Так по крайней мере показалось господину *Голядкину*. Ему показалось даже, что слеза блеснула в тусклых взорах Олсуфия Ивановича <...> Голосом, полным рыданий, примирённый с людьми и судьбою и крайне любя в настоящее мгновение не только Олсуфия Ивановича, не только всех гостей, взятых вместе, но даже и зловредного близнеца своего <...> обратился было наш герой к Олсуфию Ивановичу с трогательным изливанием души своей; но от полноты всего, в нём накопившегося, не мог ровно ничего объяснить, а только весьма красноречивым жестом молча указал на своё сердце...»

Берендеева Клара Олсуфьевна

«Двойник»

Дочь *Олсуфия Ивановича Берендеева*, предмет любви *Якова Петровича Голядкина*. Она – красавица, она – царица, она «чувствительные» романсы поёт и прекрасно танцует. Все и вся восхищены ею: «Утомленная танцем, Клара Олсуфьевна, едва переводя дух от усталости, с пылающими щеками и глубоко волнуящаяся грудью упала, наконец, в изнеможении сил в кресла. Все сердца устремились к прелестной очаровательнице, все спешили наперерыв приветствовать её и благодарить за оказанное удовольствие...» В день рождения Клары Олсуфьевны господин Голядкин вознамерился быть среди гостей, танцевать с виновницей торжества и, может быть, объясниться и даже предложение сделать. Однако ж мало того, что на бал ему пришлось проникать тайком, мало того, что дочь статского советника отдавала во время танцев явное предпочтение блистательному асессору *Владимиру Семёновичу*, так Голядкина вообще на глазах любимой и с её, можно сказать, согласия с позором выставили за дверь, после чего он и повстречался впервые на вьюжной тёмной улице со своим двойником *Голядкиным-младшим*. Позже Яков Петрович получит от Клары Олсуфьевны совершенно безумное письмо с признанием в любви и просьбой украсть-увезти её из родительского дома, которое послужит как бы приманкой – из дома Берендеевых и увезут титулярного советника в жёлтый дом. Чувствительная Клара Олсуфьевна в сей скорбный момент прослезится.

Берестова Катишь

«Бобок»

Девочка-блондиночка «лет пятнадцати», которая лежит в могиле в десяти шагах от генерала *Тарасевича*, в пяти шагах от могилы барона *Клиневича*, и последний, знавший её при жизни, судя по всему, накоротке, характеризует развратную девочку так: «— <...> что это за мерзавочка... хорошего дома, воспитанна и — монстр, монстр до последней степени! Я там её никому не показывал, один я и знал...» Затем на протяжении всей дальнейшей сцены Катишь на все самые разнузданные предложения и разговоры только радостно хихикает «надтреснутым звуком девичьего голоса». Именно с Катишь кладбищенское общество намеревалось начать процесс «обнажения» — поочерёдных откровенных исповедей о самых своих неблагоприятных земных делах.

Блондинка

«Маленький герой»

Ближайшая подруга *т-те М**, которая, заметив, что *Маленький герой* пылает к *т-те М** совсем не детским чувством, доставила ему немало горьких минут подколками и насмешками, но, как вскоре он сам понял-разобрался, вполне беззлобными, добродушными. «На глаза всех этих прекрасных дам я всё ещё был то же маленькое, неопределенное существо, которое они подчас любили ласкать и с которым им можно было играть, как с маленькой куклой. Особенно одна из них, очаровательная блондинка, с пышными, густейшими волосами, каких я никогда потом не видел и, верно, никогда не увижу, казалось, поклялась не давать мне покоя. Меня смущал, а её веселил смех, раздававшийся кругом нас, который она поминутно вызывала своими резкими, взбалмошными выходками со мною, что, видно, доставляло ей огромное наслаждение. В пансионах, между подругами, её наверно прозвали бы школьницей. Она была чудно хороша, и что-то было в её красоте, что так и металось в глаза с первого взгляда. И, уж конечно, она непохожа была на тех маленьких стыдливеньких блондинок, беленьких, как пушок, и нежных, как белые мышки или пасторские дочки. Ростом она была невысока и немного полна, но с нежными, тонкими линиями лица, очаровательно нарисованными. Что-то как молния сверкающее было в этом лице, да и вся она – как огонь, живая, быстрая, лёгкая. Из её больших открытых глаз будто искры сыпались; они сверкали, как алмазы, и никогда я не променяю таких голубых искромётных глаз ни на какие чёрные, будь они чернее самого чёрного андалузского взгляда, да и блондинка моя, право, стояла той знаменитой брюнетки, которую воспел один известный и прекрасный поэт и который ещё в таких превосходных стихах поклялся всей Кастилией, что готов переломать себе кости, если позволят ему только кончиком пальца прикоснуться к мантилье его красавицы. Прибавь к тому, что моя красавица была самая весёлая из всех красавиц в мире, самая взбалмошная хохотунья, резвая как ребёнок, несмотря на то что лет пять как была уже замужем. Смех не сходил с её губ, свежих, как свежа утренняя роза, только что успевшая раскрыть, с первым лучом солнца, свою алую, ароматную почку, на которой ещё не обсохли холодные крупные капли росы...»

Блюм Андрей Антонович (фон Блюм)

«Бесы»

Чиновник, дальний родственник, полный тёзка и ближайший помощник губернатора *Андрея Антоновича фон Лембеке*. «Блюм был из странного рода “несчастных” немцев – и вовсе не по крайней своей бездарности, а именно неизвестно почему. “Несчастные” немцы не миф, а действительно существуют, даже в России, и имеют свой собственный тип. Андрей Антонович всю жизнь питал к нему самое трогательное сочувствие, и везде, где только мог, по мере собственных своих успехов по службе, выдвигал его на подчинённое, подведомственное ему местечко; но тому нигде не везло. То место оставлялось за штатом, то переменялось начальство, то чуть не упекли его однажды с другими под суд. Был он аккуратен, но как-то слишком без нужды и во вред себе мрачен; рыжий, высокий, сгорбленный, унылый, даже чувствительный и, при всей своей приниженности, упрямый и настойчивый как вол, хотя всегда невпопад. К Андрею Антоновичу питал он с женой и с многочисленными детьми многолетнюю и благоговейную привязанность. Кроме Андрея Антоновича никто никогда не любил его. Юлия Михайловна сразу его забракowała, но одолеть упорство своего супруга не могла. Это была их первая супружеская ссора, и случилась она тотчас после свадьбы, в самые первые медовые дни, когда вдруг обнаружился пред нею Блюм, до тех пор тщательно от неё припрятанный, с обидною тайной своего к ней родства. Андрей Антонович умолял сложа руки, чувствительно рассказал всю историю Блюма и их дружбы с самого детства, но Юлия Михайловна считала себя опозоренною навеки и даже пустила в ход обмороки. Фон Лембеке не уступил ей ни шагу и объявил, что не покинет Блюма ни за что на свете и не отдалит от себя, так что она наконец удивилась и принуждена была позволить Блюма. Решено было только, что родство будет скрываемо ещё тщательнее, чем до сих пор, если только это возможно, и что даже имя и отчество Блюма будут изменены, потому что его тоже почему-то звали Андреем Антоновичем. Блюм у нас ни с кем не познакомился, кроме одного только немца-аптекаря, никому не сделал визитов и, по обычаю своему, зажил скуп и уединённо. Ему давно уже были известны и литературные грешки Андрея Антоновича. Он преимущественно призывался выслушивать его роман в секретных чтениях наедине, просиживал по шести часов сряду столбом; потел, напрягал все свои силы, чтобы не заснуть и улыбаться; придя домой, стонал вместе с длинноногою и сухопарою женой о несчастной слабости их благодетеля к русской литературе...»

Фамилия Блюм образована от нем. *Blume* – цветок. Прототипом персонажа послужил, вероятно, чиновник по особым поручениям при тверском губернаторе *П. Т. Баранове – Н. Г. Левенталь*. Недаром, видимо, *Степан Трофимович Верховенский* однажды, обмолвясь, назвал Блюма – Розенталем.

Бобыницын

«Чужая жена и муж под кроватью»

Любовник *Глафиры Петровны Шабриной* – «господин бесконечного роста» и с лорнетом. Муж Глафиры Петровны *Шабрин* и другой её любовник *Творогов* вдвоём застали её в обществе Бобыницына, познакомившись друг с другом в сей печальный момент.

Фамилия этого персонажа явно перекликается с фамилией «Бубуницын» из пьесы *Н. В. Гоголя* «Утро делового человека».

Бубнова Анна Трифионовна (мадам Бубнова)

«Униженные и оскорблённые»

Хозяйка дома, где в подвале проживали-ютились *Нелли* с матерью. И, видно, недаром мадам Бубнова – тёзка *Анны Фёдоровны* из романа «*Бедные люди*»: она тоже промышляет сводничеством и для этого забрала к себе Нелли «на воспитание» после смерти её матери, начала наряжать для показа «гостям» в кисейное платье. *Маслобоев*, знавший её преотлично, пояснил *Ивану Петровичу*: «Эта Бубнова давно уж известна кой-какими проделками в этом же роде. Она на днях с одной девочкой из честного дома чуть не попала. Эти кисейные платья, в которые она рядила эту сиротку (вот ты давеча рассказывал), не давали мне покоя; потому что я кой-что уже до этого слышал. <...> А ты что думал? Да уж мадам Бубнова из одного сострадания не взяла бы к себе сироту. А уж если пузан туда повадился, так уж так...» И дом Бубновой, и сама хозяйка с первой же минуты производят на *Ивана Петровича* отвратительное впечатление: «Дом был небольшой, но каменный, старый, двухэтажный, окрашенный грязно-жёлтой краской. В одном из окон нижнего этажа, которых было всего три, торчал маленький красный гробик, вывеска незначительного гробовщика. Окна верхнего этажа были чрезвычайно малые и совершенно квадратные, с тусклыми, зелёными и надтреснувшими стёклами, сквозь которые просвечивали розовые коленкоревые занавески. Я перешёл через улицу, подошёл к дому и прочёл на железном листе, над воротами дома: дом мещанки Бубновой.

Но только что я успел разобрать надпись, как вдруг на дворе у Бубновой раздался пронзительный женский визг и затем ругательства. Я заглянул в калитку; на ступеньке деревянного крылечка стояла толстая баба, одетая как мещанка, в головке и в зелёной шали. Лицо её было отвратительно-багрового цвета; маленькие, заплывшие и налитые кровью глаза сверкали от злости. Видно было, что она нетрезвая, несмотря на дообеденное время. Она визжала на бедную Елену, стоявшую перед ней в каком-то оцепенении с чашкой в руках. <...>

– Ах ты, проклятая, ах ты, кровопивица, гнида ты эдакая! – визжала баба, залпом выпуская из себя все накопившиеся ругательства, большею частью без запятых и без точек, но с каким-то захлёбыванием, – так-то ты за моё попеченье воздаешь, лохматая! За огурцами только послали её, а она уж и улизнула! Сердце моё чувствовало, что улизнет, когда посылала. Ныло сердце моё, ныло! Вчера ввечеру все вихры ей за это же оттаскала, а она и сегодня бежать! Да куда тебе ходить, распутница, куда ходить! К кому ты ходишь, идол проклятый, лупоглазая гадина, яд, к кому! Говори, гниль болотная, или тут же тебя задушу! <...>

И в исступлении она бросилась на обезумевшую от страха девочку, вцепилась ей в волосы и грянула её оземь. Чашка с огурцами полетела в сторону и разбилась; это ещё более усилило бешенство пьяной мегеры. Она била свою жертву по лицу, по голове...»

С помощью *Маслобоева* и удалось вырвать Нелли из лап вечно пьяной и жестокой сводницы: «Эта Бубнова не имела никакого права держать эту девочку; я всё разузнал. Никакого тут усыновления или прочего не было. Мать должна была ей денег, та и забрала к себе девочку. Бубнова хоть и плутовка, хоть и злодейка, но баба-дура, как и все бабы. У покойницы был хороший паспорт; следственно, всё чисто...»

Бумштейн Исай Фомич

«Записки из Мёртвого дома»

Арестант, еврей по национальности, острожный «ювелир, он же и ростовщик», имя его вынесено в название главы IX первой части – «Исая Фомич. Баня. Рассказ Баклушина». «Нашего жидка, впрочем, любили <...> арестанты, хотя решительно все без исключения смеялись над ним. Он был у нас один, и я даже теперь не могу вспоминать о нём без смеху. Каждый раз, когда я глядел на него, мне всегда приходил на память Гоголев жидок Янкель, из “Тараса Бульбы”, который, раздевшись, чтоб отправиться на ночь с своей жидовкой в какой-то шкаф, тотчас же стал ужасно похож на цыплёнка. Исая Фомич, наш жидок, был как две капли воды похож на общипанного цыплёнка. Это был человек уже немолодой, лет около пятидесяти, маленький ростом и слабосильный, хитренький и в то же время решительно глупый. Он был дерзок и заносчив и в то же время ужасно труслив. Весь он был в каких-то морщинках, и на лбу и на щеках его были клейма, положенные ему на эшафоте. Я никак не мог понять, как мог он выдержать шестьдесят плетей. Пришёл он по обвинению в убийстве. У него был припрятан рецепт, доставленный ему от доктора его жидками тотчас же после эшафота. По этому рецепту можно было получить такую мазь, от которой недели в две могли сойти все клейма. Употребить эту мазь в остроге он не смел и выжидал своего двенадцатилетнего срока каторги, после которой, выйдя на поселение, непременно намеревался воспользоваться рецептом. “Не то нельзя будет зениться, – сказал он мне однажды, – а я непременно хочу зениться”. Мы с ним были большие друзья. Он всегда был в превосходнейшем расположении духа. В каторге жить ему было легко; он был по ремеслу ювелир, был завален работой из города, в котором не было ювелира, и таким образом избавился от тяжёлых работ. Разумеется, он в то же время был ростовщик и снабжал под проценты и залоги всю каторгу деньгами...

Персонаж этот настолько колоритен, что повествователь (*Горянчиков*) чуть далее ещё раз возвращается к его портрету: «Господи, что за уморительный и смешной был этот человек! Я уже сказал несколько слов про его фигурку: лет пятидесяти, тщедушный, сморщенный, с ужаснейшими клеймами на щеках и на лбу, худощавый, слабосильный, с белым цыплячьим телом. В выражении лица его виднелось непрерывное, ничем непоколебимое самодовольство и даже блаженство. Кажется, он ничуть не сожалел, что попал в каторгу. Так как он был ювелир, а ювелира в городе не было, то работал непрерывно по господам и по начальству города одну ювелирскую работу. Ему всё-таки хоть сколько-нибудь, да платили. Он не нуждался, жил даже богато, но откладывал деньги и давал под заклад на проценты всей каторге. У него был свой самовар, хороший тюфяк, чашки, весь обеденный прибор. Городские евреи не оставляли его своим знакомством и покровительством. По субботам он ходил под конвоем в свою городскую молельную (что дозволяется законами) и жил совершенно припеваючи, с нетерпением, впрочем, ожидая выжить свой двенадцатилетний срок, чтоб “зениться”. В нём была самая комическая смесь наивности, глупости, хитрости, дерзости, простодушия, робости, хвастливости и нахальства. Мне очень странно было, что каторжные вовсе не смеялись над ним, разве только подшучивали для забавы. Исая Фомич, очевидно, служил всем для развлечения и всегдашней потехи. “Он у нас один, не троньте Исая Фомича”, – говорили арестанты, и Исая Фомич хотя и понимал, в чём дело, но, видимо, гордился своим значением, что очень тешило арестантов. <...> Его действительно все как будто даже любили и никто не обижал, хотя почти все были ему должны. Сам он был незлобив, как курица, и, видя всеобщее расположение к себе, даже куражился, но с таким простодушным комизмом, что ему тотчас же это прощалось. Лучка, знавший на своем веку много жидков, часто дразнил его, и вовсе не из злобы, а так, для забавы,

точно так же, как забавляются с собачкой, попугаем, учёными зверьками и проч. Исай Фомич очень хорошо это знал, нисколько не обижался и преловко отшучивался...»

Персонаж под фамилией Бумштейн (еврей-ростовщик) уже фигурировал в «Дядюшкином сне». Прототипом его послужил *И. Ф. Бумитель*.

Бурдовский Антип

«Идиот»

«Сын *Павлищева*». При поддержке своих приятелей *Докторенко*, *Келлера* и *Терентьева* этот мнимый сын Николая Андреевича Павлищева задумал вытребовать с князя *Мышкина* часть наследства, полученного им после смерти своего воспитателя и опекуна. «Это был молодой человек, бедно и неряшливо одетый, в сюртуке, с засаленными до зеркального лоску рукавами, с жирною, застегнутою до верху жилеткой, с исчезнувшим куда-то бельём, с чёрным шёлковым замасленным донельзя и скатанным в жгут шарфом, с немытыми руками, с чрезвычайно угреватым лицом, белокурый и, если можно так выразиться, с невинно-нахальным взглядом. Он был не низкого роста, худощавый, лет двадцати двух. Ни малейшей иронии, ни малейшей рефлексии не выражалось в лице его; напротив, полное, тупое упоение собственным правом и в то же время нечто доходявшее до странной и непрерывной потребности быть и чувствовать себя постоянно обиженным. Говорил он с волнением, торопясь и запинаясь, как будто не совсем выговаривая слова, точно был косноязычный или даже иностранец, хотя, впрочем, был происхождения совершенно русского...» И далее во время безобразной сцены шантажа князя этой компанией вымогателей в доме *Лебедева*, когда *Гаврила Ардалионович Иволгин* (занимавшийся этим делом по просьбе Мышкина) разбил все доводы Бурдовского и доказал, что он никак не может быть сыном Павлищева, добавляется ещё немало отвратительных штрихов в портрет Бурдовского: «— Но права не имеете, права не имеете, права не имеете!.. ваших друзей... Вот!.. — залепетал вдруг снова Бурдовский, дико и опасливо осматриваясь кругом и тем более горячась, чем больше не доверял и дичился, — вы не имеете права! — и, проговорив это, резко остановился, точно оборвал, и безмолвно выпучив близорукие, чрезвычайно выпуклые с красными толстыми жилками глаза, вопросительно уставился на князя, наклонившись вперёд всем своим корпусом...» Но вместе с тем, проявляется и нечто симпатичное в этом человеке: выяснилось, что Павлищев действительно любил Бурдовского, когда тот был ребёнком, «косноязычным» и «жалким» (по словам Гани Иволгина), и Антип искренне считал себя его незаконнорождённым сыном; выяснилось и то, что Бурдовский содержит старуху-мать, живущую в Пскове... Да и, в общем-то, сам Бурдовский первым из компании вымогателей наотрез отказался от притязаний, как только прояснилась истина.

Позже Бурдовский, можно сказать, сдружился с Мышкиным и был даже назначен-выбран шафером *Настасьи Филипповны* на её затеваемой свадьбе с князем.

Быков

«Бедные люди»

«Господин Быков» – богатый помещик, за которого *Варенька Добросёлова* вынуждена идти замуж. Кроме того, он – настоящий отец *Петра Покровского*: совратил его мать, служившую в их доме горничной, а затем выдал её замуж за чиновника *Покровского*. *Макар Алексеевич Девушкин* так о нём пишет: «...видел я его, как он от вас выходил. Видный, видный мужчина; даже уж и очень видный мужчина. Только всё это как-то не так, дело-то не в том именно, что он видный мужчина...» Хамская, сластолюбивая и деловая натура этого денежного мешка ярко характеризуется в сцене «сватовства» его к Вареньке, описанной ею в письме к Девушкину: «Он сидел у меня целый час; долго говорил со мной; кой о чём расспрашивал. Наконец, перед прощанием, он взял меня за руку и сказал (я вам пишу от слова и до слова): “Варвара Алексеевна! Между нами сказать, Анна Фёдоровна, ваша родственница, а моя короткая знакомая и приятельница, преподлая женщина”. (Тут он ещё назвал её одним неприличным словом.) “Совратила она и двоюродную вашу сестрицу с пути, и вас погубила. С моей стороны и я в этом случае подлецом оказался, да ведь что, дело житейское”. Тут он захохотал что есть мочи. Потом заметил, что он красно говорить не мастер, и что главное, что объяснить было нужно и об чём обязанности благородства повелевали ему не умалчивать, уж он объявил, и что в коротких словах приступает к остальному. Тут он объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает возратить мне честь, что он богат, что он увезёт меня после свадьбы в свою степную деревню, что он хочет там зайцев травить; что он более в Петербург никогда не приедет, потому что в Петербурге гадко, что у него есть здесь в Петербурге, как он сам выразился, негодный племянник, которого он присягнул лишить наследства, и собственно для этого случая, то есть желая иметь законных наследников, ищет руки моей, что это главная причина его сватовства. Потом он заметил, что я весьма бедно живу, что не диво, если я больна, проживая в такой лачуге, предрёк мне неминуемую смерть, если я хоть месяц ещё так останусь, сказал, что в Петербурге квартиры гадкие и, наконец, что не надо ли мне чего?»

Я так была поражена его предложением, что, сама не знаю отчего, заплакала. Он принял мои слёзы за благодарность и сказал мне, что он всегда был уверен, что я добрая, чувствительная и учёная девица, но что он не прежде, впрочем, решился на сию меру, как разузнав со всею подробностью о моём теперешнем поведении. Тут он расспрашивал о вас, сказал, что про всё слышал, что вы благородных правил человек, что он с своей стороны не хочет быть у вас в долгу и что довольно ли вам будет пятьсот рублей за всё, что вы для меня сделали? Когда же я ему объяснила, что вы для меня то сделали, чего никакими деньгами не заплатишь, то он сказал мне, что всё вздор, что всё это романы, что я ещё молода и стихи читаю, что романы губят молодых девушек, что книги только нравственность портят и что он терпеть не может никаких книг; советовал прожить его годы и тогда об людях говорить; “тогда, – прибавил он, – и людей узнаете”. Потом он сказал, чтобы я поразмыслила хорошенько об его предложениях, что ему весьма будет неприятно, если я такой важный шаг сделаю необдуманно, прибавил, что необдуманность и увлечение губят юность неопытную, но что он чрезвычайно желает с моей стороны благоприятного ответа, что, наконец, в противном случае, он принуждён будет жениться в Москве на купчихе, потому что, говорит он, я присягнул негодяю племяннику лишить наследства. Он оставил насильно у меня на пяльцах пятьсот рублей, как он сказал, на конфеты; сказал, что в деревне я растолстею, как лепёшка, что буду у него как сыр в масле кататься, что у него теперь ужасно много хлопот, что он целый день по делам протаскался и что теперь между делом забежал ко мне...»

Не успела ещё Варя стать его женой, как господин Быков уже совсем перестал церемониться и прикидываться бескорыстным – Варенька умоляет Девушкина: «Ради бога, бегите сейчас к брильянтику. Скажите ему, что серьги с жемчугом и изумрудами делать не нужно. Господин Быков говорит, что слишком богато, что это кусается. Он сердится; говорит, что ему и так в карман стало и что мы его грабим, а вчера сказал, что если бы вперёд знал да ведал про такие расходы, так и не связывался бы. Говорит, что только нас повенчают, так сейчас и уедем, что гостей не будет и чтобы я вертеться и плясать не надеялась, что ещё далеко до праздников. Вот он как говорит! А Бог видит, нужно ли мне всё это! Сам же господин Быков всё заказывал. Я и отвечать ему ничего не смею: он горячий такой...»

Прототипом господина, Быкова, возможно и в какой-то мере, послужил *П. А. Каренин*.

Бьоринг (барон Бьоринг)

«Подросток»

Флигель-адъютант; жених *Катерины Николаевны Ахмаковой*. «Катерина Николаевна сходила вниз, в своей шубе, и рядом с ней шёл или, лучше сказать, вёл её высокий стройный офицер, в форме, без шинели, с саблей; шинель нёс за ним лакей. Это был барон, полковник, лет тридцати пяти, щеголеватый тип офицера, сухощавый, с немного слишком продолговатым лицом, с рыжеватыми усами и даже ресницами. Лицо его было хоть и совсем некрасиво, но с резкой и вызывающей физиономией. Я описываю наскоро, как заметил в ту минуту...» А минута та была злой для *Подростка*: он узнал, что Ахмакова приказала его не пускать в дом, и когда он попытался остановить её и выяснить недоразумение – барон Бьоринг сильно и оскорбительно толкнул его. *Аркадий* даже мечтает, предполагая, что барон откажется («побрезгает») с ним драться на дуэли (перед этим он отказался даже с *Версильным* драться), подкараулить его на улице и убить из револьвера. На этот раз дело ограничилось мечтаниями, но впоследствии дошло до того, что, вступившись за честь сестры *Анны Андреевны Версильной*, которую Бьоринг оскорблял, *Аркадий* кинулся на барона с кулаками, попал из-за этого в полицию и провёл ночь «на нарах».

В финале романа надменный барон, став почти свидетелем (немного опоздал) ужасной сцены, когда *Ламберт* шантажировал его невесту, а Версильов из-за неё в себя стрелял, очень «обеспокоился» и даже «испугался» возможных последствий этой истории для своей репутации. «Вот тут-то, как нарочно, ему вдруг удалось узнать о происходившем свидании, глаз на глаз, Катерины Николаевны с влюблённым в неё Версильным, ещё за два дня до той катастрофы. Это его взорвало, и он, довольно неосторожно, позволил себе заметить Катерине Николаевне, что после этого его уже не удивляет, что с ней могут происходить такие фантастические истории. Катерина Николаевна тут же и отказала ему, без гнева, но и без колебаний. Всё предрассудочное мнение её о каком-то благоразумии брака с этим человеком исчезло как дым. Может быть, она уже и давно перед тем его разгадала, а может быть, после испытанного потрясения, вдруг изменились некоторые её взгляды и чувства...»

Валковский Алексей Петрович (Алёша)

«Униженные и оскорблённые»

Сын князя *Валковского*. «...это был премилейший мальчик: красавчик собою, слабый и нервный, как женщина, но вместе с тем весёлый и простодушный, с душою отверстою и способною к благороднейшим ощущениям, с сердцем любящим, правдивым и признательным <...>. Несмотря на свои девятнадцать лет, он был ещё совершенный ребёнок. <...> Алёша чрезвычайно любил своего отца, которого не знал в продолжение всего своего детства и отрочества; он говорил об нём с восторгом, с увлечением; видно было, что он вполне подчинился его влиянию. <...> Все решения и увлечения Алёши происходили от его чрезвычайной, слаонервной восприимчивости, от горячего сердца, от легкомыслия, доходившего иногда до бессмыслицы; от чрезвычайной способности подчиняться всякому внешнему влиянию и от совершенного отсутствия воли...»

Алёша воспитывался сначала в доме богатого родственника графа Наинского, затем в лицее, а когда подросток – вдруг стал мешать отцу в Петербурге (сделался даже соперником его в амурных делах!) и был сослан князем в своё имение Васильевское под присмотр управляющего *Ихменева* и его жены. Между Алёшей и дочерью управляющего *Наташей Ихменевой* вспыхивает любовь. Впоследствии, уже в Петербурге, куда перебрался старик Ихменев с семьёй продолжать тяжбу с князем Валковским (первопричиной ссоры-разрыва, а затем и тяжбы между ними и стала гнусная сплетня, будто «Николай Сергеич, разгадав характер молодого князя, имел намерение употребить все недостатки его в свою пользу» и женить его на своей дочери), Наташа ради Алёши уходит из дому, не убоившись проклятия отца. Валковский-младший – прожектёр и эгоист. Он надеется на счастливый конец своего романа с Наташей, несмотря на вражду между их отцами, а сам в это время ездит к «Жозефинам и Миннам», влюбляется затем и в *Катю Филимонову* и, в конце концов, так и не переставая любить Наташу, – бросает-предает её, уезжает с Катей.

Ярко характеризует Алёшу то, что он, помимо Жозефин и Минн, посещает кружок передовой молодёжи Левеньки и Бореньки, где увлекается высокопарно-бессмысленными речами идеолога кружка *Безмыгина*, и то, что он мечтает даже о литературном поприще, наивно признаваясь *Ивану Петровичу*: «... я хочу писать повести и продавать в журналы, так же как и вы. <...> Я рассчитывал на вас и вчера всю ночь обдумывал один роман, так, для пробы, и знаете ли: могла бы выйти премиленькая вещица. Сюжет я взял из одной комедии Скриба...» Здесь особенно примечательно то, что будущий «писатель» не из текущей жизни намеревается черпать сюжеты, а сразу из литературы же. Правда, к чести Алёши, у него хватило ума спохватиться: «А впрочем, вы, кажется, и правы: я ведь ничего не знаю в действительной жизни <...> какой же я буду писатель?..»

В целом же Алёша – сын своего отца: он также аристократически горд, высокомерен, также развратен, только, в отличие от сознательного циника, прагматика и хищного по натуре князя Валковского, Алёша инфантилен, вершит зло, не задумываясь о последствиях, невольно, «само собой». Он бесконечно грешит и бесконечно же кается.

Валковский Пётр Александрович (князь Валковский)

«Униженные и оскорблённые»

По сути, центральный персонаж романа – все скрытые пружины действия находятся в его руках, судьбы всех основных героев связаны с ним, зависят от его воли. Впервые предстаёт он перед читателем в рассказе повествователя *Ивана Петровича* о первом приезде князя в своё довольно богатое имение Васильевское (девятьсот душ), находящееся по соседству с небольшим имением *Ихменева*: «Его приезд произвёл во всём околodge довольно сильное впечатление. Князь был ещё молодой человек, хотя и не первой молодости, имел немалый чин, значительные связи, был красив собою, имел состояние и, наконец, был вдовец, что особенно было интересно для дам и девиц всего уезда. Рассказывали о блестящем приёме, сделанном ему в губернском городе губернатором, которому он приходился как-то сродни; о том, как все губернские дамы “сошли с ума от его любезностей”, и проч., и проч. Одним словом, это был один из блестящих представителей высшего петербургского общества, которые редко появляются в губерниях и, появляясь, производят чрезвычайный эффект. Князь, однако же, был не из любезных, особенно с теми, в ком не нуждался и кого считал хоть немного ниже себя. С своими соседями по имению он не заблагорассудил познакомиться, чем тотчас же нажил себе много врагов. И потому все чрезвычайно удивились, когда вдруг ему вздумалось сделать визит к Николаю Сергеичу. <...> Впрочем, вскоре всё объяснилось. Князь приехал в Васильевское, чтоб прогнать своего управляющего <...> Князю нужен был управитель, и выбор его пал на Николая Сергеича, отличнейшего хозяина и честнейшего человека, в чём, конечно, не могло быть и малейшего сомнения. <...> Ему же нужен был такой управляющий, которому он мог бы слепо и навсегда довериться, чтоб уж и не заезжать никогда в Васильевское, как и действительно он рассчитывал...»

И далее Иван Петрович сообщает весьма характерные подробности из прошлой жизни Валковского: «Я упомянул уже прежде, что он был вдов. Женат был он ещё в первой молодости и женился на деньгах. От родителей своих, окончательно разорившихся в Москве, он не получил почти ничего. Васильевское было заложено и перезаложено; долги на нём лежали огромные. У двадцатидвухлетнего князя, принужденного тогда служить в Москве, в какой-то канцелярии, не оставалось ни копейки, и он вступал в жизнь как “голяк – потомок отрасли старинной”. Брак на перезрелой дочери какого-то купца-откупщика спас его. Откупщик, конечно, обманул его на приданом, но все-таки на деньги жены можно было выкупить родовое имение и подняться на ноги. Купеческая дочка, доставшаяся князю, едва умела писать, не могла склеить двух слов, была дурна лицом и имела только одно важное достоинство: была добра и безответна. Князь воспользовался этим достоинством вполне: после первого года брака он оставил жену свою, родившую ему в это время сына, на руках её отца-откупщика в Москве, а сам уехал служить в —ю губернию, где выхлопотал, через покровительство одного знатного петербургского родственника, довольно видное место. Душа его жаждала отличий, возвышений, карьеры, и, рассчитав, что с своею женой он не может жить ни в Петербурге, ни в Москве, он решился, в ожидании лучшего, начать свою карьеру с провинции. Говорят, что ещё в первый год своего сожителства с женою он чуть не замучил её своим грубым с ней обхождением. <...> Но лет через семь умерла наконец княгиня, и овдовевший супруг её немедленно переехал в Петербург. В Петербурге он произвёл даже некоторое впечатление. Ещё молодой, красавец собою, с состоянием, одарённый многими блестящими качествами, несомненным остроумием, вкусом, неистощимую весёлостью, он явился не как искатель счастья и покровительства, а довольно самостоятельно. Рассказывали, что в нём действительно было что-то обаятельное, что-то покоряющее, что-то сильное. Он чрезвычайно нравился женщинам, и связь с одной

из светских красавиц доставила ему скандальную славу. Он сыпал деньгами, не жалея их, несмотря на врождённую расчётливость, доходившую до скупости, проигрывал кому нужно в карты и не морщился даже от огромных проигрышей. Но не развлечений он приехал искать в Петербурге: ему надо было окончательно стать на дорогу и упрочить свою карьеру. Он достиг этого. Граф Наинский, его знатный родственник, который не обратил бы и внимания на него, если б он явился обыкновенным просителем, поражённый его успехами в обществе, нашёл возможным и приличным обратить на него своё особенное внимание и даже удостоил взять в свой дом на воспитание его семилетнего сына. К этому-то времени относится и поездка князя в Васильевское и знакомство его с Ихменевыми. Наконец получив через посредство графа значительное место при одном из важнейших посольств, он отправился за границу. Далее слухи о нём становились несколько темными: говорили о каком-то неприятном происшествии, случившемся с ним за границей, но никто не мог объяснить, в чем оно состояло. (Потом дело прояснилось: князь обольстил за границей дочь богатого заводчика *Смита*, которая ради Валковского обокрала своего отца, родила от него дочь *Нелли*, была им обобра и брошена. – Н. Н.) Известно было только, что он успел прикупить четыреста душ, о чём уже я упоминал. Воротился он из-за границы уже много лет спустя, в важном чине, и немедленно занял в Петербурге весьма значительное место. В Ихменевке носились слухи, что он вступает во второй брак и роднится с каким-то знатым, богатым и сильным домом...» Увы, сын Алёша помешал этому браку, став неожиданно счастливым соперником отца, и тот сослал его в Васильевское на воспитание к Ихменеву.

Наиболее полно внутренняя хищническая сущность князя Валковского раскрывается в циничной исповеди его перед Иваном Петровичем в трактире, в которой он «заголяется и обнажается» не хуже героев рассказа «*Бобок*». Перед этим Иван Петрович добавляет важную деталь в характеристику князя: «Говорили про него, что он – всегда такой приличный и изящный в обществе – любит иногда по ночам пьянствовать, напиваться как стелька и потаённо развратничать, гадко и таинственно развратничать <...> Он производил на меня впечатление какого-то гада, какого-то огромного паука, которого мне ужасно хотелось раздавить. Он наслаждался своими насмешками надо мною; он играл со мной, как кошка с мышью, предполагая, что я весь в его власти. Мне казалось (и я понимал это), что он находил какое-то удовольствие, какое-то, может быть, даже сладострастие в своей низости и в этом нахальстве, в этом цинизме, с которым он срывал, наконец, передо мной свою маску. Он хотел насладиться моим удивлением, моим ужасом. Он меня искренно презирал и смеялся надо мною...»

И вот, вкратце, – грязная исповедь-кредо князя Валковского: «– Вот что, мой поэт, хочу я вам открыть одну тайну природы, которая, кажется, вам совсем неизвестна. Я уверен, что вы меня называете в эту минуту грешником, может быть, даже подлецом, чудовищем разврата и порока. Но вот что я вам скажу! Если б только могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если б могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чём боится подчас признаться самому себе, – то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться. <...> вы меня обвиняете в пороке, разврате, безнравственности, а я, может быть, только тем и виноват теперь, что *откровеннее* других и больше ничего; что не утаиваю того, что другие скрывают даже от самих себя, как сказал я прежде... Это я скверно делаю, но я теперь так хочу. <...> Есть особое сладострастие в этом внезапном срыве маски, в этом цинизме, с которым человек вдруг выказывается перед другим в таком виде, что даже не удостоивает и постыдиться перед ним. <...> Всё для меня, и весь мир для меня создан. Послушайте, мой друг, я ещё верую в то, что на свете можно хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без неё даже и худо-то жить нельзя: пришлось бы отравиться. <...> Я, например, уже давно освободил себя от всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя

обязанным только тогда, когда это мне принесёт какую-нибудь пользу. <...> Вы тоскуете по идеалу, по добродетелям. Но, мой друг, я ведь сам готов признавать всё, что прикажете; но что же мне делать, если я наверно знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм. И чем добродетельнее дело – тем более тут эгоизма. Люби самого себя – вот одно правило, которое я признаю. Жизнь – коммерческая сделка; даром не бросайте денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности к ближнему, – вот моя нравственность, если уж вам её непременно нужно, хотя, признаюсь вам, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а суметь заставить его делать даром. Идеалов я не имею и не хочу иметь; тоски по ним никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без идеалов <...>, я очень рад, что могу обойтись без синильной кислоты. Ведь будь я именно *добродетельнее*, я бы, может быть, без неё и не обошелся <...>. Нет! В жизни так много ещё хорошего. Я люблю значение, чин, отель; огромную ставку в карты (ужасно люблю карты). Но главное, главное – женщины... и женщины во всех видах; я даже люблю потаённый, тёмный разврат, постранные и оригинальные, даже немножко с грязнотой для разнообразия... Ха, ха, ха! <...> Нет, мой друг: если вы истинный человеколюбец, то пожелайте всем умным людям такого же вкуса, как у меня, даже и с грязнотой, иначе ведь умному человеку скоро нечего будет делать на свете и останутся одни только дураки. То-то им счастье будет! Да ведь и теперь есть пословица; дуракам счастье, и, знаете ли, нет ничего приятнее, как жить с дураками и поддакивать им: выгодно! Вы не смотрите на меня, что я дорожу предрассудками, держусь известных условий, добиваюсь значения; ведь я вижу, что я живу в обществе пустом; но в нём покамест тепло, и я ему поддакиваю, показываю, что за него горой, а при случае я первый же его и оставляю. Я ведь все ваши новые идеи знаю, хотя и никогда не страдал от них, да и не от чего. Угрызений совести у меня не было ни о чём. Я на всё согласен, было бы мне хорошо, и нас таких легион, и нам действительно хорошо. Всё на свете может погибнуть, одни мы никогда не погибнем. Мы существуем с тех пор, как мир существует. Весь мир может куда-нибудь провалиться, но мы всплывём наверх. Кстати: посмотрите хоть уж на одно то, как живучи такие люди, как мы. Ведь мы, примерно, феноменально живучи; поражало вас это когда-нибудь? Значит, сама природа нам покровительствует, хе, хе, хе! Я хочу непременно жить до девяноста лет. Я смерти не люблю и боюсь её...»

Князь решил поправить свои дела с помощью сына, женив его на богатой наследнице *Кате* и завладев её миллионами. Для этого *Алёшу* надо было разлучить с *Наташей Ихменевой*, что князю с помощью интриг удаётся добиться.

Предтечами князя Валковского в раннем творчестве Достоевского в какой-то мере были помещик *Быков* («*Бедные люди*») и сладострастник *Юлиан Мастакович* («*Петербургская летопись*», «*Ёлка и свадьба*»). В дальнейшем развитие этот тип получил, с одной стороны (как сладострастник, идеолог цинизма), в образах *Свидригайлова* («*Преступление и наказание*»), отца *Карамазова* («*Братья Карамазовы*»), с другой (как «сверхчеловек»), в образах *Раскольникова* («*Преступление и наказание*»), *Ивана Карамазова* («*Братья Карамазовы*»). А наиболее полное и всестороннее развитие тип этот получил в образе *Николая Ставрогина* из романа «*Бесы*».

Варвинский

«Братья Карамазовы»

Земский врач. *Повестователь* впервые упоминает о нём так: «...наш земский врач, Варвинский, молодой человек, только что к нам прибывший из Петербурга, один из блистательно окончивших курс в петербургской медицинской академии». В дальнейшем Повестователь, слегка иронизируя, упорно именует его «молодым врачом» и явно ему симпатизирует. В сцене «дуэли» трёх врачей-экспертов на суде «молодой врач» Варвинский побеждает и седовласого опытного *Герцеништубе*, и заезжего знаменитого *Московского доктора*, заявив по поводу поведения подсудимого *Дмитрия Карамазова*: «Что же до того, налево или направо должен был смотреть подсудимый, входя в залу, то, “по его скромному мнению”, подсудимый именно должен был, входя в залу, смотреть прямо перед собой, как и смотрел в самом деле, ибо прямо перед ним сидели председатель и члены суда, от которых зависит теперь вся его участь, “так что, смотря прямо перед собой, он именно тем самым и доказал совершенно нормальное состояние своего ума в данную минуту” <...>

– Браво, лекарь! – крикнул Митя со своего места, – именно так!

Митю конечно остановили, но мнение молодого врача имело самое решающее действие как на суд, так и на публику, ибо, как оказалось потом, все с ним согласились...»

Штрих в портрет доктора Варвинского добавляется в самом финале романа, когда сообщается, что на второй день после решения суда Митя Карамазов заболел нервной лихорадкой и был отправлен в городскую больницу, в арестантское отделение: «Но врач Варвинский, по просьбе Алёши и многих других (Хохлаковой, Лизы и проч.), поместил Митю не с арестантами, а отдельно, в той самой камере, в которой прежде лежал Смердяков. Правда, в конце коридора стоял часовой, а окно было решетчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою поблажку, не совсем законную, но это был добрый и сострадательный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому как Митя прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошенников и что к этому надо сперва привыкнуть...»

Варламов

«Записки из Мёртвого дома»

Арестант, из разряда «неунывающих». «Он был лет пятидесяти, мускулист и сухощав. В лице его было что-то лукавое и вместе весёлое. В особенности замечательная была его толстая, нижняя, отвисшая губа; она придавала его лицу что-то чрезвычайно комическое...» В другом месте о Варламове сказано: «Он лет сорока, с необыкновенно толстой губой и с большим мясистым носом, усеянным угрями...» Этот весёлый арестант в самый первый день прибытия Достоевского с *С. Ф. Дуровым* (*Горянчикова* с *Товарищем из дворян*) в острог первым из каторжного люда (не считая поляка-дворянина *М—цкого*) «не погнушался» подсесть к ним за стол в столовой, угоститься у них чаем.

Васин Григорий

«Подросток»

Пасынок *Стебелькова*, участник кружка *Дергачёва*. Судя по черновым материалам к роману, персонаж этот должен был играть более существенную роль в сюжете и, наряду с *Версильевым*, стать основным оппонентом *Аркадия Долгорукого* в опровержении его «идеи». В окончательном тексте Васин превратился в фигуру почти эпизодическую. Характеризуя Васина как представителя молодого поколения в романе, Достоевский в черновиках обозначает его как тип – «безвыходно-идеальный». *Подросток*, идя впервые на собрание у *Дергачёва*, настойчиво спрашивает у *Зверева*, будет ли там Васин, которым он, Подросток, уже давно «интересовался». И далее – первые впечатления Аркадия: «Физиономия Васина не очень поразила меня, хоть я слышал о нём как о чрезмерно умном: белокурый, с светло-серыми большими глазами, лицо очень открытое, но в то же время в нём что-то было как бы излишне твёрдое; предчувствовалось мало общительности, но взгляд решительно умный, умнее дергачёвского, глубже, – умнее всех в комнате...» Вывод этот он сделал сразу же, впервые услышав Васина в споре. А разбирали в этот раз «дергачёвцы» теорию *Крафта* о «второстепенности России»:

«– Тут, очевидно, недоумение, – ввязался вдруг Васин. – Ошибка в том, что у Крафта не один логический вывод, а, так сказать, вывод, обратившийся в чувство. Не все натуры одинаковы; у многих логический вывод обращается иногда в сильнейшее чувство, которое захватывает всё существо и которое очень трудно изгнать или переделать. Чтоб вылечить такого человека, надо в таком случае изменить самое это чувство, что возможно не иначе как заменив его другим, равносильным. Это всегда трудно, а во многих случаях невозможно.

– Ошибка! – завопил спорщик, – логический вывод уже сам по себе разлагает предрассудки. Разумное убеждение порождает то же чувство. Мысль выходит из чувства и в свою очередь, водворяясь в человеке, формулирует новое!

– Люди очень разнообразны: одни легко переменяют чувства, другие тяжело, – ответил Васин, как бы не желая продолжать спор; но я был в восхищении от его идеи...»

Ещё бы, ведь Подросток бьётся именно над проблемой «математичности», «логичности» своей «идеи», и Васин многое тут ему опосредованно подсказывает. Недаром Достоевский в черновых материалах опять же сам для себя подчеркнул-уточнил: «К чему служат Васин и Дергачёв в романе? Ответ: как аксессуар, выдающий фигуру Подростка, и как повод к *окончательному разговору* Подростка с НИМ». То есть – как повод к центральной исповеди *Версильова*.

Интересна характеристика Васина, которую даёт ему Аркадий, находясь в раздражённом состоянии духа (ожидаая Васина в его комнате): «Прежде всего мне стала ужасно не нравиться комната Васина. “Покажи мне свою комнату, и я узнаю твой характер” – право, можно бы так сказать. Васин жил в меблированной комнате от жильцов, очевидно бедных и тем промышленявших, имевших постояльцев и кроме него. Знакомы мне эти узкие, чуть-чуть заставленные мебелью комнатки и, однако же, с претензией на комфортабельный вид; тут непременно мягкий диван с Толкучего рынка, который опасно двигать, рукомойник и ширмами огороженная железная кровать. Васин был, очевидно, лучшим и благонадежнейшим жильцом; такой самый лучший жилец непременно бывает один у хозяйки, и за это ему особенно угождают: у него убирают и подметают тщательнее, вешают над диваном какую-нибудь литографию, под стол подстилают чахоточный коврик. Люди, любящие эту затхлую чистоту, а главное, угодливую почтительность хозяек, – сами подозрительны. Я был убеждён, что звание лучшего жильца льстило самому Васину. Не знаю почему, но меня начал мало-помалу бесить вид этих двух загроможденных книгами столов. Книги, бумаги, чернила – всё было в самом отвратитель-

ном порядке, идеал которого совпадает с мировоззрением хозяйки-немки и её горничной. Книг было довольно, и не то что газет и журналов, а настоящих книг, – и он, очевидно, их читал и, вероятно, садился читать или принимался писать с чрезвычайно важным и аккуратным видом. Не знаю, но я больше люблю, где книги разбросаны в беспорядке, по крайней мере из занятий не делается священнодействия. Наверно, этот Васин чрезвычайно вежлив с посетителем, но, наверно, каждый жест его говорит посетителю: “Вот я посижу с тобою часика полтора, а потом, когда ты уйдешь, займусь уже делом”. Наверно, с ним можно завести чрезвычайно интересный разговор и услышать новое, но – “мы вот теперь с тобою поговорим, и я тебя очень заинтересую, а когда ты уйдёшь, я примусь уже за самое интересное”...»

Ещё более определённая характеристика Васина, данная сестрой Подростка *Лизой Долго-руковой*, к которой Васин был «неравнодушен»: «Лиза же сама мне потом призналась (очень долго спустя), что Васин даже очень скоро перестал ей тогда нравиться; он был спокоен, и именно это-то вечное ровное спокойствие, столь понравившееся ей вначале, показалось ей потом довольно неприглядным. Казалось бы, он был деловит и действительно дал ей несколько хороших с виду советов, но все эти советы, как нарочно, оказались неисполнимыми. Судил же иногда слишком свысока и несколько перед нею не конфузясь, – не конфузясь, чем дальше, тем больше, – что и приписала она возраставшему и невольному его пренебрежению к её положению. Раз она поблагодарила его за то, что он, постоянно ко мне благодушен и, будучи так выше меня по уму, разговаривает со мной как с ровней (то есть передала ему мои же слова). Он ей ответил:

– Это не так и не оттого. Это оттого, что я не вижу в нём, никакой разницы с другими. Я не считаю его ни глупее умных, ни злее добрых. Я ко всем одинаков, потому что в моих глазах все одинаковы.

– Как, неужели не видите различий?

– О, конечно, все чем-нибудь друг от друга разнятся, но в моих глазах различий не существует, потому что различия людей до меня не касаются; для меня все равны и всё равно, а потому я со всеми одинаково добр.

– И вам так не скучно?

– Нет; я всегда доволен собой.

– И вы ничего не желаете?

– Как не желать? но не очень. Мне почти ничего не надо, ни рубля сверх. Я в золотом платье и я как есть – это всё равно; золотое платье ничего не прибавит Васину. Куски не соблазняют меня: могут ли места или почести стоить того места, которого я стою? Лиза уверяла меня честью, что он высказал это раз буквально. <...> Мало-помалу Лиза пришла к заключению, что и к князю (*князю Серёже*, жениху Лизы. – Н. Н.) он относится снисходительно, может, потому лишь, что для него все равны и “не существует различий”, а вовсе не из симпатии к ней. Но под конец он как-то видимо стал терять своё равнодушие и к князю начал относиться не только с осуждением, но и с презрительной иронией. Это разгорячило Лизу, но Васин не унялся. Главное, он всегда выражался так мягко, даже и осуждал без негодования, а просто лишь логически выводил о всей ничтожности её героя; но в этой-то логичности и заключалась ирония. Наконец, почти прямо вывел перед нею всю “неразумность” её любви, всю упрямую насильственность этой любви. <...> Лиза в негодовании встала с места, чтоб уйти, но что же сделал и чем кончил этот разумный человек? – с самым благородным видом, и даже с чувством, предложил ей свою руку. Лиза тут же назвала его прямо в глаза дураком и вышла.

Предложить измену несчастному потому, что этот несчастный “не стоит” её, и, главное, предложить это беременной от этого несчастного женщине, – вот ум этих людей! Я называю это страшною теоретичностью и совершенным незнанием жизни, происходящим от безмерного самолюбия. И вдобавок ко всему, Лиза самым ясным образом разглядела, что он даже гордился своим поступком, хотя бы потому, например, что знал уже о её беременности...»

Васин был арестован вместе с другим «дергачёвцами» и свою роль сыграл в этом князь Сергей Петрович, который «донёс» из ревности.

И ещё надо добавить, что в соседях у Васина проживала будущая самоубийца *Оля* с матерью, с которыми Аркадий, находясь у Васина в гостях, и встретиться впервые, познакомится, узнает, что и к ним Версилов имеет какое-то странное отношение...

Васька (козёл)

«Записки из Мёртвого дома»

Один из главных «героев» главы «Каторжные животные». «...вдруг очутился в остроге маленький, беленький, прехорошенький козлёнок. В несколько дней все его у нас полюбили, и он сделался общим развлечением и даже отрадою. Нашли и причину держать его: надо же было в остроге, при конюшне, держать козла. Однако ж он жил не в конюшне, а сначала в кухне, а потом по всему острогу. Это было преграциозное и прешаловливое создание. Он бежал на кличку, вскакивал на скамейки, на столы, бодался с арестантами, был всегда весел и забавен. <...> Когда он стал подрастать, над ним, вследствие общего и серьезного совещания, произведена была известная операция, которую наши ветеринары отлично умели делать. “Не то пахнуть козлом будет”, – говорили арестанты. После того Васька стал ужасно жиреть. Да и кормили его точно на убой. Наконец вырос прекрасный большой козел, с длиннейшими рогами и необыкновенной толщины. Бывало, идёт и переваливается. Он тоже повадился ходить с нами на работу для увеселения арестантов и встречавшейся публики. Все знали острожного козла Ваську. Иногда, если работали, например, на берегу, арестанты нарвут, бывало, гибких талиновых веток, достанут ещё каких-нибудь листьев, наберут на валу цветов и уберут всем этим Ваську: рога оплетут ветвями и цветами, по всему туловищу пустят гирлянды. Возвращается, бывало, Васька в острог всегда впереди арестантов, разубранный и разукрашенный, а они идут за ним и точно гордятся перед прохожими. До того зашло это любованье козлом, что иным из них приходила даже в голову, словно детям, мысль: “Не вызолотить ли рога Ваське!” Но только так говорили, а не исполняли...»

Увы, по приказу *Плац-майора* арестанты вынуждены были Ваську прирезать и съесть: «Мясо оказалось действительно необыкновенно вкусным».

Вася

«Дядюшкин сон»

Учитель, поэт; возлюбленный *Зины Москалёвой*. *Хроникёр* рисует по сути предсмертный портрет этого героя – когда Зина по зову матери умирающего прибежала к нему проститься: «Не сказавшись матери, она накинула на себя салоп и тотчас же побежала со старухой, через весь город, в одну из самых бедных слободок Мордасова, в самую глухую улицу, где стоял один ветхий, покривившийся и вросший в землю домишка, с какими-то щёлочками вместо окон и обнесённый сугробами снега со всех сторон.

В этом домишке, в маленькой, низкой и затхлой комнатке, в которой огромная печь занимала ровно половину всего пространства, на дощатой некрашеной кровати, на тонком, как блин, тюфяке лежал молодой человек, покрытый старой шинелью. Лицо его было бледное и изможденное, глаза блистали болезненным огнём, руки были тонки и сухи, как палки; дышал он трудно и хрипло. Заметно было, что когда-то он был хорош собою; но болезнь исказила тонкие черты его красивого лица, на которое страшно и жалко было взглянуть, как на лицо всякого чахоточного или, вернее сказать, умирающего. <...> Всё лицо его, исхудалое и страдальческое, дышало теперь блаженством. Он видел наконец перед собою ту, которая снилась ему целые полтора года, и наяву и во сне, в продолжение долгих тяжёлых ночей его болезни...»

По словам *Марьи Александровны Москалёвой*, старающейся очертить Васю в глазах дочери, это «мальчик, сын дьячка, получающий двенадцать целковых в месяц жалования, кропатель дрянных стишонков, которые, из жалости, печатают в “Библиотеке для чтения” и умеющий только толковать об этом проклятом Шекспире...» Уже в этих, явно несправедливых словах слышится что-то симпатическое, что-то располагающее в его пользу. Вася не просто поэт, а – влюблённый поэт, и вследствие этого он не просто мечтает о славе, а о славе ради любимой (другой вопрос – достойна ли Зина Москалёва такой мечты?): «Мечтал я, например, сделаться вдруг каким-нибудь величайшим поэтом, напечатать в “Отечественных записках” такую поэму, какой и не бывало ещё на свете. Думал в ней излить все свои чувства, всю мою душу, так, что, где бы ты ни была, я всё бы был с тобой, непрерывно бы напоминал о себе моими стихами...» Бедный Вася осмеливается признаться в своих мечтах лишь на смертном одре, умирая от чахотки...

И, между прочим, Вася-поэт умирает добровольно – он сам себя убил. И свёл он счёты с жизнью, казалось бы, из-за несчастной любви, из-за ревности, но всё же коренная причина кроется в его неудачливости, в его страсти к поэзии. Зина-то как раз отвечает ему взаимностью, любит-ценит его именно за поэтическую возвышенность души и талант. Однако ж, в глазах её маменьки он в качестве жениха для Зины представляет из себя полный ноль. Да и сам Вася, уже на смертном одре, высказывает Зине свои потаённые мысли, каковые терзали и самого Достоевского перед свадьбой с *М. Д. Исаевой*: «Недостойн я твоей любви, Зина! Ты и на деле была честная и великодушная: ты пошла к матери и сказала, что выйдешь за меня и ни за кого другого, и сдержала бы слово, потому что у тебя слово не рознилось с делом. <...> Знаешь ли, Зиночка, что ведь я даже не понимал тогда, чем ты жертвуешь, выходя за меня! Я не мог даже того понять, что, выйдя за меня, ты, может быть, умерла бы с голоду...»

Поэт Вася решился добровольно уйти из жизни весьма романтическим способом – убить себя скоротечной чахоткой. Вот как он сам объяснил Зине свою задумку и, так сказать, технологию суицидного процесса: «Самолюбия-то сколько тут было! романтизма! рассказывали ль тебе подробно мою глупую историю, Зина? Видишь ли, был тут третьего года один арестант, подсудимый, злодей и душегубец; но когда пришлось к наказанию, он оказался самым малодушным человеком. Зная, что больного не выведут к наказанию, он достал вина, настоял в нём

табаку и выпил. С ним началась такая рвота с кровью и так долго продолжалась, что повредила ему легкие. Его перенесли в больницу, и через несколько месяцев он умер в злой чахотке. Ну вот, ангел мой, я и вспомнил про этого арестанта <...> и решился так же погубить себя. Но как бы ты думала, почему я выбрал чахотку? почему я не удавился, не утопился? побоялся скорой смерти? Может быть, и так, – но всё мне как-то мерещится, Зиночка, что и тут не обошлось без сладких романтических глупостей! Всё-таки у меня была тогда мысль: как это красиво будет, что вот я буду лежать на постели, умирая в чахотке, а ты всё будешь убиваться, страдать, что довела меня до чахотки; сама придёшь ко мне с повинною, упадешь предо мной на колени... Я прощаю тебя, умирая на руках твоих...» Вскоре в документально-мемуарных *«Записках из Мёртвого дома»* таким способом один из каторжников *Устьянцев* «переменит участь», боясь наказания палками, и станет ясно, что писатель вино, настоящее на табаке, не придумал..

Поэт-герой из «Дядюшкиного сна» решил, что самоубийство – самый действенный способ наказать виновницу самоубийства. И Зина, действительно, чувствуя свою вину, в отчаянии восклицает: «Не встретил бы ты меня, не полюбил бы меня, так остался бы жить!..» И более того, она поклялась Васе обречь себя на одиночество, но слово своё не сдержала...

Судя по всему, похожий на Васю герой должен был стать заглавным героем неосуществлённого замысла конца 1860-х гг. *«Смерть поэта»*.

Вахрамеев Нестор Игнатьевич

«Двойник»

Губернский секретарь, «молодой сослуживец и некогда приятель» *Якова Петровича Голядкина*. По аттестации Голядкина, Вахрамеев – «глуп, как простое осиновое бревно». Такое мнение о бывшем приятеле появилось у Голядкина после того, как тот переметнулся на сторону *Голядкина-младшего*.

Великий инквизитор

«Братья Карамазовы»

Католический первосвященник – испанский кардинал, заглавный герой вставной «поэмы» *Ивана Карамазова* «Великий инквизитор», пересказанной автором брату *Алёше* (ч. 2, кн. 5, гл. V). Действие в «поэме» Ивана происходит в XVI в., в Испании, в Севилье, когда инквизиция (от *лат. inquisitio* – расследование), специально учреждённый с XIII в. институт римско-католической церкви, свирепствовала особенно жестоко и тысячами сжигала на кострах еретиков. «Будничный» портрет Великого инквизитора дан в момент, когда, обходя улицы Севильи, он увидел, как *Иисус Христос* совершает чудо воскрешения умершей девочки: «Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых ещё светится как огненная искорка блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов Римской веры, – нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и “священная” стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он всё видел, он видел, как поставили гроб у ног Его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять Его...»

Вся дальнейшая часть «поэмы», по существу, – монолог Великого инквизитора перед упорно молчащим узником в темнице: кардинал страстно доказывает Христу, что Его новое пришествие на землю совершенно излишне, Он только мешает им, представителям католической церкви, устанавливать царствие Божие на земле: «...Ты гордишься своими избранниками, но у Тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли ещё: сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали наконец ожидая Тебя, и понесли и ещё понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на Тебя же и воздвигнут *свободное* знамя своё. Но Ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе Твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжём? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: “Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих”. Получая от нас хлеба конечно они ясно будут видеть, что мы их же хлеба, их же руками добытые, берём у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлеба, но воистину более, чем самому хлебу рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлеба, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлеба. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберётся и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо Ты вознёс их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что

детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе как птенцы к наседке. Они будут дивиться, и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмём на себя. И возьмём на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, – всё судя по их послушанию, – и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести, – всё, всё понесут они нам, и мы всё разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твоё и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то, уж конечно не для таких как они. Говорят и пророчествуют, что Ты придёшь и вновь победишь, придёшь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. <...> Знай, что я не боюсь Тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которую Ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников Твоих, в число могучих и сильных с жаждой “восполнить число”. Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг Твой. Я ушёл от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю Тебе, сбудется и царство наше созиждется. Повторяю Тебе, завтра же Ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгрести горячие угли к костру Твоему, на котором сожгу Тебя за то, что пришёл нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это Ты. Завтра сожгу Тебя. *Dixi*...»

Однако ж это латинское непреложное «*Dixi*» («Я сказал»), похожее на клятву, окончательной точкой в диспуте не стало: последнее слово, вернее, поцелуй Иисуса в «бескровные девяностолетние уста» заставляют Великого инквизитора «вздрогнуть» и изменить своё решение – он раскрывает двери темницы, выпускает пленника и говорит ему: «Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!»

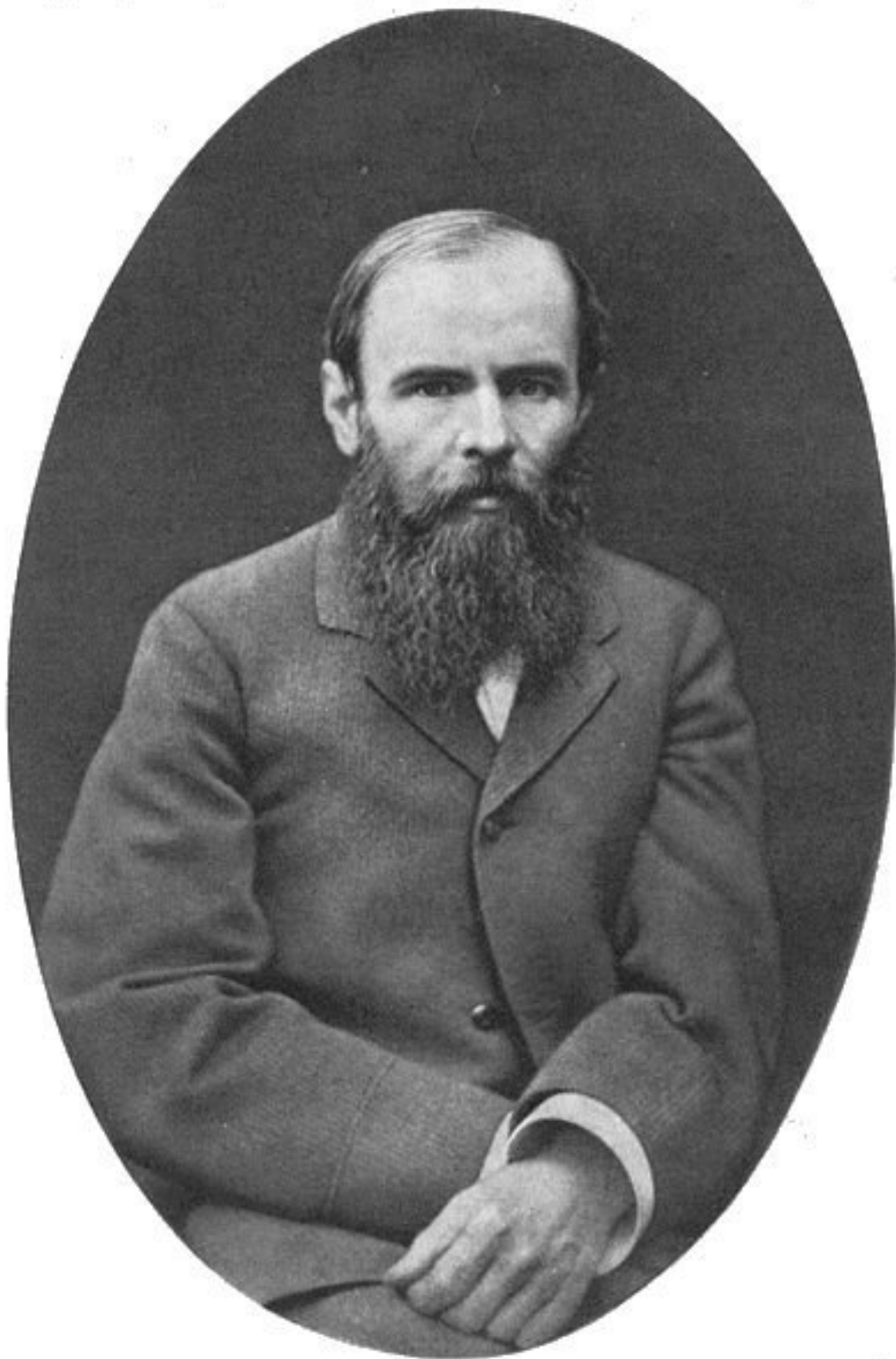
Алёша, выслушав «поэму» и дополнительные доводы Ивана, что-де его Великий инквизитор прав, отрицая «нужность» для людей Христа и примкнув к «умным людям» (то есть – к высшему католицизму), восклицает: «– Никакого у них нет такого ума и никаких таких тайн и секретов... Одно только разве безбожие, вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!...»

Идея римского католицизма как идея всемирной государственной власти церкви, католицизм и православие, роль Иисуса Христа в судьбах человечества... Вопросы эти волновали Достоевского на протяжении всего его «зрелого» творчества, поднимались-затрагивались в «*Записках из подполья*», «*Идиоте*», «*Подростке*», на страницах «*Дневника писателя*». В главе «Великий инквизитор» «Братьев Карамазовых» размышления писателя на эти темы

выразились наиболее концентрированно и полно. Сам автор придавал большое значение этой «поэме», ибо выразил в ней всё то, что обозначил ёмкой метафорой в самой последней записной тетради 1880—1881 гг. — «*горнило сомнений*»: «И в Европе такой силы атеистических *выражений* нет и *не было*. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое *горнило сомнений* моя *осанна* прошла...» И ещё в одном месте: «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в «Инквизиторе» и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же, фанатик, я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешёл я. Им ли меня учить!..»

Единственный раз Достоевский читал главу «Великий инквизитор» из романа «Братья Карамазовы» на литературном утре в пользу студентов С.-Петербургского университета 30 декабря 1879 г. и во вступительном слове так пояснил суть поэмы «атеиста» Ивана Карамазова и её заглавного героя: «Между тем его Великий инквизитор есть, в сущности, сам атеист. Смысл тот, что если исказишь Христову веру, соединив её с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства, ум несомненно должен впасть в безверие, вместо великого Христова идеала созиждется лишь новая Вавилонская башня. Высокий взгляд христианства на человечество понижается до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом *социальной* любви к человечеству является уже не замаскированное презрение к нему...»

Образ Великого инквизитора из «поэмы» Ивана Карамазова был навеян в какой-то мере образом Томаса Торквемады (1420—1498) — главы испанской инквизиции (великого инквизитора). Любопытно, что после выхода романа читатели и критика стали проводить параллели между Великим инквизитором и *К. П. Победоносцевым*, с которым Достоевский близко общался в последние годы жизни.



Ф. М. Достоевский. Фотография М. М. Панова, 1880 г.

Вельчанинов Алексей Иванович

«Вечный муж»

Бывший любовник *Натальи Васильевны Трусоцкой*, настоящий отец *Лизы Трусоцкой*.

Повествование начинается с «именной» главы – «Вельчанинов», в которой сразу сообщается, что в жизни Алексея Ивановича длится-тянется чёрная полоса: какая-то тяжба по имению приняла «дурной оборот», квартиру пришлось переменить, на дачу выехать не удалось, прислуги нет, погода – «Пыль, духота, белые петербургские ночи, раздражающие нервы». И вот после такой «прелюдии» автор знакомит читателя с героем: «Это был человек много и широко поживший, уже далеко не молодой, лет тридцати восьми или даже тридцати девяти, и вся эта “старость” – как он сам выражался – пришла к нему “совсем почти неожиданно”; но он сам понимал, что состарелся скорее не количеством, а, так сказать, качеством лет и что если уж и начались его немощи, то скорее изнутри, чем снаружи. На взгляд он и до сих пор смотрел молодцом. Это был парень высокий и плотный, светло-рус, густоволос и без единой сединки в голове и в длинной, чуть не до половины груди, русой бороде; с первого взгляда как бы несколько неуклюжий и опустившийся; но, взглядевшись пристальнее, вы тотчас же отличили бы в нём господина, выдержанного отлично и когда-то получившего воспитание самое великосветское. Приёмы Вельчанинова и теперь были свободны, смелы и даже грациозны, несмотря на всю благоприобретенную им брюзгливость и мешковатость. И даже до сих пор он был полон самой непоколебимой, самой великосветски нахальной самоуверенности, которой размера, может быть, и сам не подозревал в себе, несмотря на то что был человек не только умный, но даже иногда толковый, почти образованный и с несомненными дарованиями. Цвет лица его, открытого и румяного, отличался в старину женственной нежностью и обращал на него внимание женщин; да и теперь иной, взглянув на него, говорил: “Экой здоровенный, кровь с молоком!” И, однако ж, этот “здоровенный” был жестоко поражён ипохондрией. Глаза его, большие и голубые, лет десять назад имели тоже много в себе победительного; это были такие светлые, такие весёлые и беззаботные глаза, что невольно влекли к себе каждого, с кем только он ни сходил. Теперь, к сороковым годам, ясность и доброта почти погасли в этих глазах, уже окружившихся лёгкими морщинками; в них появились, напротив, цинизм не совсем нравственного и уставшего человека, хитрость, всего чаще насмешка и ещё новый оттенок, которого не было прежде: оттенок грусти и боли, – какой-то рассеянной грусти, как бы беспредметной, но сильной. Особенно проявлялась эта грусть, когда он оставался один. И странно, этот шумливый, весёлый и рассеянный всего ещё года два тому назад человек, так славно рассказывавший такие смешные рассказы, ничего так не любил теперь, как оставаться совершенно один. Он намеренно оставил множество знакомств, которых даже и теперь мог бы не оставлять, несмотря на окончательное расстройство своих денежных обстоятельств. Правда, тут помогло тщеславие: с его мнительностью и тщеславием нельзя было вынести прежних знакомств. Но и тщеславие его мало-помалу стало изменяться в уединении. Оно не уменьшилось, даже – напротив; но оно стало вырождаться в какое-то особого рода тщеславие, которого прежде не было: стало иногда страдать уже совсем от других причин, чем обыкновенно прежде, – от причин неожиданных и совершенно прежде немыслимых, от причин “более высших”, чем до сих пор, – “если только можно так выразиться, если действительно есть причины высшие и низшие...” Это уже прибавлял он сам...»

И вот в жизнь этого человека, наслаждавшегося своей ипохондрией, входит неожиданно старый знакомый по губернскому городу Т. – *Павел Павлович Трусоцкий*, с женой которого он когда-то он был в связи. Выяснилось, что эта Наталья Васильевна только что скончалась, мужгоносец обнаружил её интимную переписку и приехал в Петербург «мучить» бывших «дру-

зей дома», в том числе и Вельчанинова. При этом ещё выясняется, что 8-летняя дочь Трусоцкого *Лиза* на самом деле родилась от Вельчанинова, так что недаром трусоватый Трусоцкий даже с бритвой бросится на Вельчанинова, пытаясь его убить...

В последней главе сообщается, что минуло два года, Вельчанинов от ипохондрии своей совершенно излечился, процесс тот выиграл и ехал на юг, в Одессу, дабы повидаться с приятелем, который обещал познакомить его «с одною из чрезвычайно интересных женщин, с которою ему давно уже желалось познакомиться». Неожиданно Алексей Иванович на одной из станций спасает-защищает молодую даму от пьяного купчика, а она оказывается супругой всё того же Павла Павловича Трусоцкого, который тут же появился и испугался, что Вельчанинов и впрямь примет приглашение благодарной супруги приехать к ним в гости, опять станет «другом семьи» и – объяснился с ним, взял с него слово не приезжать в гости, испортил счастливому Алексею Ивановичу настроение...

Вердень Альфонсина Карловна, де (Альфонсинка)

«Подросток»

Француженка, сожительница и подруга *Ламберта* во всех его тёмных делах. *Аркадий Долгорукий*, очутившись впервые у Ламберта, слышит вначале «из-за ширм дребезжащий женский голос с парижским акцентом», а затем и саму mademoiselle Alphonsine, наскоро одетую, в распашонке, только что с постели: «...странное какое-то существо, высокого роста и сухоощавая, как щепка, девица, брюнетка, с длинной талией, с длинным лицом, с прыгающими глазами и с ввалившимися щеками, – страшно износившееся существо!» Именно Альфонсинка помогла Ламберту выкрасть «документ» против *Катерины Николаевны Ахмаковой*, зашитый в кармане у *Подростка* – вытащила у пьяного: «Альфонсинка и взрезывала карман. Достав письмо, её письмо, мой московский документ, они взяли такого же размера простую почтовую бумажку и положили в надрезанное место кармана и зашили снова как ни в чем не бывало, так что я ничего не мог заметить. Альфонсинка же и зашивала...» Подружка Ламберта активно участвовала и в кульминационной сцене шантажа Катерины Николаевны: она должна была повести Аркадия по ложному следу, но в последний момент, благодаря *Тришатову*, этот коварный план француженки-авантюристки сорвался.

Версиров Андрей Петрович

«Подросток»

Дворянин-помещик; настоящий отец *Аркадия Долгорукого*. По мнению некоторых исследователей – центральный персонаж романа, хотя сам Достоевский в черновых материалах подчеркнул-определил, что главный герой всё же не ОН (так именовался будущий Версиров), а Аркадий: «...герой – Подросток. А остальные все второстепенность, даже ОН – второстепенность». Ряд моментов биографии Версирова (возраст 45 лет, странствия по Европе, вериги и т. д.) совпадают с биографией героя неосуществлённого замысла «*Атеизм*» (1868).

Уже в самом начале своих «Записок» Аркадий, разъясняя «казус» со своей княжеской фамилией, кратко рассказывает о Версирове, попутно характеризуя его: «Дело произошло таким образом: двадцать два года назад помещик Версиров (это-то и есть мой отец), двадцати пяти лет, посетил своё имение в Тульской губернии. Я предполагаю, что в это время он был ещё чем-то весьма безличным. Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, ещё надолго заразивший собою всё моё будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенною загадкой. <...> Он как раз к тому времени овдовел, то есть к двадцати пяти годам своей жизни. Женат же был на одной из высшего света, но не так богатой, Фанариотовой, и имел от неё сына и дочь. Сведения об этой, столь рано его оставившей, супруге довольно у меня неполны и теряются в моих материалах; да и много из частных обстоятельств жизни Версирова от меня ускользнуло, до того он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря, минутами, на поражающее как бы смирение его передо мною. Упомяну, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупные, всего тысяч на четыреста с лишком и, пожалуй, более. Теперь у него, разумеется, ни копейки...

Приехал он тогда в деревню “Бог знает зачем”, по крайней мере сам мне так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нём, по обыкновению, а у родственников; так он всю жизнь поступал с своими детьми, с законными и незаконными. Дворовых в этом имении было значительно много; между ними был и садовник Макар Иванов Долгорукий...»

Дальше события развивались так, что помещик «отбил» молодую жену у своего дворового, «стал таскать её за собою почти повсюду, кроме тех случаев, когда отлучался надолго». И вот, спустя годы, Аркадий, приехав по вызову Версирова в Петербург, и знакомится, наконец, со своим отцом (которого до этого видел лишь однажды в детстве). Семья к тому времени живёт почти в нищете. «Мать работала, сестра тоже брала шитьё; Версиров жил празднично, капризился и продолжал жить со множеством прежних, довольно дорогих привычек. Он брюзжал ужасно, особенно за обедом, и все приёмы его были совершенно деспотические. Но мать, сестра, Татьяна Павловна и всё семейство покойного Андроникова (одного месяца три перед тем умершего начальника отделения и с тем вместе заправлявшего делами Версирова), состоявшее из бесчисленных женщин, благоговели перед ним, как перед фетишем. Я не мог представить себе этого. Замечу, что девять лет назад он был несравненно изящнее. Я сказал уже, что он остался в мечтах моих в каком-то сиянии, а потому я не мог вообразить, как можно было так постареть и истереться всего только в девять каких-нибудь лет с тех пор: мне тотчас же стало грустно, жалко, стыдно. Взгляд на него был одним из тяжелейших моих первых впечатлений по приезде. Впрочем, он был ещё вовсе не старик, ему было всего сорок пять лет; вглядываясь же дальше, я нашёл в красоте его даже что-то более поражающее, чем то, что уцелело в моём воспоминании. Меньше тогдашнего блеску, менее внешности, даже изящного, но жизнь как бы оттиснула на этом лице нечто гораздо более любопытное прежнего...»

Аркадий сравнивает Версилова с тем, каким видел он его лет за восемь до того, в раннем детстве: «— Я как сейчас вас вижу тогдашнего, цветущего и красивого. Вы удивительно успели постареть и подурнеть в эти девять лет, уж простите эту откровенность; впрочем, вам и тогда было уже лет тридцать семь, но я на вас даже загляделся: какие у вас были удивительные волосы, почти совсем чёрные, с глянцевым блеском, без малейшей седины; усы и бакены ювелирской отделки — иначе не умею выразиться; лицо матово-бледное, не такое болезненно бледное, как теперь, а вот как теперь у дочери вашей, Анны Андреевны, которую я имел честь давеча видеть; горящие и тёмные глаза и сверкающие зубы, особенно когда вы смеялись. <...> Вы были в это утро в тёмно-синем бархатном пиджаке, в шейном шарфе, цвета сольферино [ярко-красного], по великолепной рубашке с алансонскими кружевами...» И ещё чрезвычайно важно для характеристики внешности Версилова мимолётное замечание Аркадия: «...у Версилова лицо становилось удивительно прекрасным, когда он чуть-чуть только становился простодушным».

Ещё в одном месте Аркадий приводит вкратце «формулярный список» Версилова: «Он учился в университете, но поступил в гвардию, в кавалерийский полк. Женился на Фанариотовой и вышел в отставку. Ездил за границу и, воротясь, жил в Москве в светских удовольствиях. По смерти жены прибыл в деревню; тут эпизод с моей матерью. Потом долго жил где-то на юге. В войну с Европой поступил опять в военную службу, но в Крым не попал и всё время в деле не был. По окончании войны, выйдя в отставку, ездил за границу, и даже с моею матерью, которую, впрочем, оставил в Кенигсберге. <...> Потом Версиров вступил в мировые посредники первого призыва и, говорят, прекрасно исполнял своё дело; но вскоре кинул его и в Петербурге стал заниматься ведением разных частных гражданских исков. Андроников всегда высоко ставил его способности, очень уважал его и говорил лишь, что не понимает его характера. Потом Версиров и это бросил и опять уехал за границу, и уже на долгий срок, на несколько лет. Затем начались особенно близкие связи с стариком князем Сокольским. Во всё это время денежные средства его изменялись раза два-три радикально: то совсем впадал в нищету, то опять вдруг богател и подымался...»

Главная особенность Версилова — его раздвоенность, двойничество. Многие его поступки выглядят в глазах окружающих низкими и подлыми (к примеру, «соблазнил» *Лидию Ахмакову*, она родила от него ребёнка и отравилась; пытался «купить» учительницу *Олю*, которая покончила жизнь самоубийством...), на самом же деле, как потом выясняется, и в случае с Лидией Версиров на самом деле хотел благородно прикрыть «чужой грех», и Оле искренне помочь хотел... Раздвоенность определяет и личную жизнь этого героя: долгие годы живёт с *Софьей Андреевной Долгорукой*, любит её своеобразной любовью, и вместе с тем многие же годы одержим страстью к *Катерине Николаевне Ахмаковой*. Символична в это плане сцена, когда Версиров, намереваясь окончательно разорвать с «миром Софьи» и уйти в «мир Ахмаковой», раскалывает образ, завещанный ему *Макаром Ивановичем Долгоруким*, на две половинки. Вскоре после этого следует кульминационная сцена и романа, и судьбы самого Версилова: он, взяв в подручные негодяя *Ламберта*, шантажирует Катерину Николаевну, потом пытается её застрелить, наконец, окончательно помешавшись, стреляет в себя, чудом остаётся жить (Аркадий и *Тришатовым* в последний момент помешали).

В «Заключении» перед читателем предстаёт обновлённый, избавившийся от тёмной половины своей сущности Версиров (что и подчёркивает Аркадий): «Теперь, когда я пишу эти строки, — на дворе весна, половина мая, день прелестный, и у нас отворены окна. Мама сидит около него; он гладит рукой её щеки и волосы и с умилением засматривает ей в глаза. О, это — только половина прежнего Версилова; от мамы он уже не отходит и уж никогда не отойдёт более. Он даже получил “дар слёзный”, как выразился незабвенный Макар Иванович в своей повести о купце; впрочем, мне кажется, что Версиров проживёт долго. С нами он теперь совсем простодушен и искренен, как дитя, не теряя, впрочем, ни меры, ни сдержанности и не говоря

лишнего. Весь ум его и весь нравственный склад его остались при нём, хотя всё, что было в нём идеального, ещё сильнее выступило вперёд...»

Чрезвычайно ёмкую характеристику Версилова даёт *Николай Семёнович* в своём письме-комментарии к «Запискам» Аркадия: «Это – дворянин древнейшего рода и в то же время парижский коммунарь. Он истинный поэт и любит Россию, но зато и отрицает её вполне. Он без всякой религии, но готов почти умереть за что-то неопределенное, чего и назвать не умеет, но во что страстно верует, по примеру множества русских европейских цивилизаторов петербургского периода русской истории...»

Именно зачастую Версилу в «Подростке» доверены автором мысли-размышления об атеизме, католицизме, «золотом веке» человечества и других «капитальных» проблемах, занимавших большое место в «Дневнике писателя» и которые будут развиты позже в «Братьях Карамазовых».

Образ Версилова, его «идеологический» портрет можно соотнести как с реальными историческими личностями, так и с литературными героями. Среди первых его «прототипами» (в той или иной мере) исследователи называют П. Я. Чаадаева (1794—1856), В. С. Печерина (1807—1885), А. И. Герцена, Ч. Ч. Валиханова; среди вторых – Рудина, Чацкого, Онегина.

Версилов-младший

«Подросток»

Камер-юнкер; сын *Андрея Петровича Версилова* (по матери *Фанариотов*), брат *Анны Андреевны Версиловой*, «брат» по отцу и *Аркадия с Елизаветой Долгоруких*. Сам *Подросток* в большинстве случаев «братом» его называет в кавычках. У них было две встречи. Вторая – когда плелись интриги с переездом князя *Сокольского* на квартиру *Аркадия*. И вот в один из дней это произошло, когда *Подросток* вернулся домой: «Едва я отворил дверь в квартиру, как столкнулся, ещё в передней, с одним молодым человеком высокого роста, с продолговатым и бледным лицом, важной и “изящной” наружности и в великолепной шубе. У него был на носу пенсне; но он тотчас же, как завидел меня, стянул его с носа (очевидно, для учтивости) и, вежливо приподняв рукой свой цилиндр, но, впрочем, не останавливаясь, проговорил мне, изящно улыбаясь: “На, bonsoir” – и прошёл мимо на лестницу. Мы оба узнали друг друга тотчас же, хотя видел я его всего только мельком один раз в моей жизни, в Москве. Это был брат *Анны Андреевны*, камер-юнкер, молодой *Версильов*, сын *Версилова*, а стало быть, почти и мой брат...»

А та, первая, встреча случилась, когда *Аркадий* жил ещё в Москве и ожидал присылки денег на дорогу, ему *Николай Семёнович* сообщил, что приехал из Петербурга камер-юнкер *Версильов*, остановился у своего товарища князя и к нему надо зайти за деньгами. *Подросток* с волнением отправился на встречу с «братом» и испил чашу унижения до дна: его продержали в передней, а потом деньги вынес ему лакей и даже не в конверте, не на тарелке. Когда же *Аркадий* начал возмущаться, и довелось ему наконец-то впервые лицезреть единокровного родственничка: «Почти тотчас же я слышал шаги, важные, неспешные, мягкие, и высокая фигура красивого и надменного молодого человека (тогда он мне показался ещё бледнее и худощавее, чем в сегодняшнюю встречу) показалась на пороге в переднюю – даже на аршин не доходя до порога. Он был в великолепном красном шелковом халате и в туфлях, и с пенсне на носу. Не проговорив ни слова, он направил на меня пенсне и стал рассматривать. Я, как зверь, шагнул к нему один шаг и стал с вызовом, смотря на него в упор. Но рассматривал он меня лишь мгновение, всего секунд десять; вдруг самая неприметная усмешка показалась на губах его, и, однако ж, самая язвительная, тем именно и язвительная, что почти неприметная; он молча повернулся и пошёл опять в комнаты, так же не торопясь, так же тихо и плавно, как и пришёл. О, эти обидчики ещё с детства, ещё в семействах своих выучиваются матерями своими обижать! Разумеется, я потерялся... О, зачем я тогда потерялся!...»

Немудрено, что *Аркадий* с этим своим «братом» совершенно не сошёлся и сходитьсь не имел охоты.

Версилова Анна Андреевна

«Подросток»

Дочь *Версилова* от брака с *Фанариотовой*, сестра по отцу *Аркадия* и *Лизы Долгоруких*. Впервые «по-настоящему» *Подросток* встретил-увидел её в доме князя *Сокольского*: «Анна Андреевна Версилова, дочь Версилова, старше меня тремя годами, жившая с своим братом у *Фанариотовой* и которую я видел до этого времени всего только раз в моей жизни, мельком на улице <...> Высокая, немного даже худощавая; продолговатое и замечательно бледное лицо, но волосы чёрные, пышные; глаза тёмные, большие, взгляд глубокий; малые и алые губы, свежий рот. Первая женщина, которая мне не внушала омерзения походкой; впрочем, она была тонка и сухошава. Выражение лица не совсем доброе, но важное; двадцать два года. Почти ни одной наружной черты сходства с Версильовым, а между тем, каким-то чудом, необыкновенное сходство с ним в выражении физиономии. Не знаю, хороша ли она собой; тут как на вкус...»

Чуть позже, получше узнав сестру, *Аркадий* обрисовал Анну Андреевну и её образ жизни более основательно: «Она жила у *Фанариотовой*, своей бабушки, конечно как её воспитанница (*Версильов* ничего не давал на их содержание), – но далеко не в той роли, в какой обыкновенно описывают воспитанниц в домах знатных барынь, как у *Пушкина*, например, в “*Пиковой даме*” воспитанница у старой графини. Анна Андреевна была сама вроде графини. Она жила в этом доме совершенно отдельно, то есть хоть и в одном этаже и в одной квартире с *Фанариотовыми*, но в отдельных двух комнатах, так что, входя и выходя, я, например, ни разу не встретил никого из *Фанариотовых*. Она имела право принимать к себе, кого хотела, и употреблять всё своё время, как ей было угодно. Правда, ей был уже двадцать третий год. В свет она, в последний год, почти прекратила ездить, хотя *Фанариотова* и не скупилась на издержки для своей внучки, которую, как я слышал, очень любила. Напротив, мне именно нравилось в *Анне Андреевне*, что я всегда встречал её в таких скромных платьях, всегда за каким-нибудь занятием, с книгой или с рукодельем. В её виде было что-то монастырское, почти монашеское, и это мне нравилось. Она была немногоречива, но говорила всегда с весом и ужасно умела слушать, чего я никогда не умел. Когда я говорил ей, что она, не имея ни одной общей черты, чрезвычайно, однако, напоминает мне *Версильова*, она всегда чуть-чуть краснела. Она краснела часто и всегда быстро, но всегда лишь чуть-чуть, и я очень полюбил в её лице эту особенность. У ней я никогда не называл *Версильова* по фамилии, а непременно *Андреем Петровичем*, и это как-то так само собою сделалось. Я очень даже заметил, что вообще у *Фанариотовых*, должно быть, как-то стыдились *Версильова*; я по одной, впрочем, *Анне Андреевне* это заметил <...> Любил я тоже очень, что она очень образованна и много читала, и даже дельных книг; гораздо более моего читала...»

С именем *Анны Андреевны* в романе связаны в основном матримониальные сюжетные линии: сначала она выступает как бы соперницей сестры *Лизы* в притязаниях на руку князя *Серёжи*, но в конце концов ей неожиданно делает предложение князь *Сокольский*, и тут Анна Андреевна становится уже соперницей его дочери *Катерины Николаевны Ахмаковой* в праве на наследство. В «*Заключении*» сказано, что хотя Анна Андреевна почему-то не была упомянута в завещании старого князя, однако он успел перед смертью сделать устное распоряжение о выдаче её 60-ти тысяч рублей, однако ж Анна Андреевна наотрез от них отказалась. Она призналась *Аркадию* (который стал часто бывать у неё), что «непременно пойдёт в монастырь», чему он, впрочем, не верит.

В черновых материалах сам Достоевский упоминает свою сестру *В. М. Достоевскую (Карепину)* в качестве одного из прототипов *Анны Андреевны Версильовой*.

Верховенский Пётр Степанович

«Бесы»

Главный «бес», руководитель тайной организации; сын *Степана Трофимовича Верховенского*. «Это был молодой человек лет двадцати семи или около, немного повыше среднего роста, с жидкими белокурыми, довольно длинными волосами и с клочковатыми, едва обозначающимися усами и бородкой. Одетый чисто и даже по моде, но не щегольски; как будто с первого взгляда сутуловатый и мешковатый, но однако ж совсем не сутуловатый и даже развязный. Как будто какой-то чужак, и однако же все у нас находили потом его манеры весьма приличными, а разговор всегда идущим к делу.

Никто не скажет, что он дурен собой, но лицо его никому не нравится. Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется острым. Лоб его высок и узок, но черты лица мелки; глаз острый, носик маленький и остренький, губы длинные и тонкие. Выражение лица словно болезненное, но это только кажется. У него какая-то сухая складка на щеках и около скул, что придает ему вид как бы выздоравливающего после тяжелой болезни. И однако же он совершенно здоров, силен и даже никогда не был болен.

Он ходит и движется очень торопливо, но никуда не торопится. Кажется, ничего не может привести его в смущение; при всяких обстоятельствах и в каком угодно обществе он останется тот же. В нём большое самодовольство, но сам он его в себе не замечает нисколько.

Говорит он скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно, и не лезет за словом в карман. Его мысли спокойны, несмотря на торопливый вид, отчетливы и окончательны, — и это особенно выдаётся. Выговор у него удивительно ясен; слова его сыплются, как ровные, крупные зернышки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам. Сначала это вам и нравится, но потом станет противно, и именно от этого слишком уже ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов. Вам как-то начинает представляться, что язык у него во рту должно быть какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно острым, непрерывно и невольно вертящимся кончиком...»

Петруша, как часто именуется он в романе, впоследствии скажет-признается о самом себе *Ставрогину*: «Ну-с, какое же моё собственное лицо? Золотая середина: ни глуп, ни умён, довольно бездарен и с луны соскочил, как говорят здесь благоразумные люди, не так ли?...»

— Что ж, может быть и так, — чуть-чуть улыбнулся Николай Всеволодович...»

Тот же Ставрогин отзовется о Верховенском-младшем однозначно — «полупомешанный энтузиаст». Ещё презрительнее охарактеризует его *Шатов* — «клоп, невежда, дуралей». Однако ж этому «невежде» и «дуралею» удалось «взбаламутить» целый уезд, смутить умы многих благочестивых до этого обывателей.

Петруша, единственный сын либерала 1840-х гг. Степана Трофимовича Верховенского, росший, как сирота, у чужих людей, довёл либерализм отца до крайнего анархизма и экстремизма. Он предстаёт перед читателями уже вполне законченным негодяем, с тёмным прошлым, в его биографии много недомолвок и тёмных пятен, его подозревают в ренегатстве и провокаторстве, что не мешает «нашим» признать его вождём и вполне ему подчиниться. Главное деяние Петра Верховенского — организация убийства Шатова с целью окончательно скрепить его кровью членов шайки-организации, дабы продолжить «смуту» и разжечь борьбу по захвату власти в уезде, стране, мире. Власть, вождизм — вот главная цель этого политического авантюриста и фанатика. Он хочет, по словам его отца, заменить собою Христа.

Главным прототипом Петра Верховенского послужил *С. Г. Нечаев* (в черновиках он так поначалу и именовался), отразились в этом образе и отдельные черты *М. В. Петрашевского* (в

тех же черновиках: «Нечаев – отчасти Петрашевский»), ещё очевиднее – *петрашевца Р. А. Черносвитова*, а также *Д. И. Писарева*.

Верховенский Степан Трофимович

«Бесы»

Помещик, «профессор», «либерал»; отец *Петра Степановича Верховенского*, «друг» *Варвары Петровны Ставрогиной*, воспитатель *Николая Всеволодовича Ставрогина*. Герой этот пожил в молодости довольно бурно, был дважды женат (на «одной легкомысленной девице», родившей ему сына Петра, и какой-то «неразговорчивой берлинской немочке»), дважды овдовел, принадлежал к славной плеяде либералов 1840-х гг., профессорствовал, литературствовал, однако ж прославиться не сумел и, спустя 20 лет, доживает век свой в доме генеральши Ставрогиной в качестве её «друга» и чуть ли не приживала. «Она сама сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм был изящен и характерен: длиннополый, чёрный сюртук, почти доверху застёгнутый, но щегольски сидевший; мягкая шляпа (летом соломенная) с широкими полями; галстук белый, батистовый, с большим узлом и висячими концами; трость с серебряным набалдашником, при этом волосы до плеч. Он был тёмно-рус, и волосы его только в последнее время начали немного седеть. Усы и бороду он брил. Говорят, в молодости он был чрезвычайно красив собой. Но, по-моему, и в старости был необыкновенно внушителен. Да и какая же старость в пятьдесят три года? Но по некоторому гражданскому кокетству, он не только не молодился, но как бы и щеголял солидностью лет своих, и в костюме своём, высокий, сухощавый, с волосами до плеч, походил как бы на патриарха или, ещё вернее, на портрет поэта Кукольника, литографированный в тридцатых годах при каком-то издании, особенно когда сидел летом в саду, на лавке, под кустом расцветшей сирени, опершись обеими руками на трость, с раскрытой книгой подле и поэтически задумавшись над закатом солнца...»

Весьма точно самого Верховенского-старшего и его статус в жизни обозначит мужик *Анисим* уже в финале романа (глава «Последнее странствование Степана Трофимовича»), объясняя таким же мужикам – что это за странный «путешественник» из города, объявившийся в их селе: «Выйдя в сени, он сообщил всем, кто хотел слушать, что Степан Трофимович не то чтоб учитель, а “сами большие учёные и большими науками занимаются, а сами здешние помещики были и живут уже двадцать два года у полной генеральши Ставрогиной, вместо самого главного человека в доме, а почёт имеют от всех по городу чрезвычайный. В клубе Дворянском по серенькой и по радужной в один вечер оставляли, а чином советник, всё равно, что военный подполковник, одним только чином ниже полного полковника будут. А что деньги имеют, так деньгам у них через полную генеральшу Ставрогину счету нет” и пр. и пр.»

Ну и, конечно, очень ярко характеризует Степана Трофимовича, как и любого автора, его сочинительство. Хроникёрна первых же страницах выдаёт его с головой – оказывается, тот в молодости сочинил поэму, да ещё и с «направлением». Из пересказа поэмы становится ясно, что здесь спародировано целое направление в романтизме (произведения Печерина, *Грановского*, *Растопчиной*, *Тихомирова*...) Степан Трофимович искренне считает себя революционным поэтом – ещё бы, ведь поэму нашли «тогда опасною», хотя она, по остроумному замечанию хроникёра, всего лишь ходила «по рукам, в списках, между двумя любителями и у одного студента». *Антон Лаврентьевич Г—в* (хроникёр) предложил её теперь напечатать «за совершенную её, в наше время, невинностью», но Степана Трофимовича даже оскорбило подобное мнение об его детище.

Тенденциозности, наполнявшей «Бесы», не отрицал сам Достоевский. Вот и в образе тщеславного Степана Трофимовича он карикатурно изобразил тех либералов (не только поэтов), которые, в его понимании, сделали для лучшего будущего России на грош, а ожидают награды на рубль (для таких людей, как старший Верховенский, и гонения от правительства –

своеобразная награда, признание их значимости); тех поэтов, которые считали, что главное в их творчестве «направление», и это, дескать, важнее литературных достоинств. Для полноты характеристики Верховенского-старшего и понимания иронического отношения к нему со стороны Достоевского нельзя забывать, что Степан Трофимович – *западник* 40-х годов, представитель идейных противников писателя-*почвенника*. Весьма характерно, что он воспитывал сына хозяйки дома, Николая Ставрогина, и совершенно не занимался воспитанием родного сына Петруши – в результате из обоих выросли-получились «бесы».

В «человеческом» плане герой этот вполне вызывает симпатию читателя, и его смерть в финале воспринимается трагически. К слову, он, как и все романтически настроенные личности, был весьма склонен к суициду. На первых же страницах хроники выясняется, что он частенько пишет Варваре Петровне покаянные письма после каждой очередной ссоры с признаниями, что «он себя презирает и решился погибнуть насильственной смертью». И впоследствии, когда Варвара Петровна надумала выдать за Степана Трофимовича *Дарью Шатову*, она инструктировала девушку, как ей обращаться с будущим супругом: «Заставь слушаться; не сумеешь заставить – дура будешь. Повеситься захочет, грозить будет – не верь; один только вздор! Не верь, а всё-таки держи ухо востро, неровен час и повесится; а потому никогда не доводи до последней черты, – и это первое правило в супружестве. Помни тоже, что он поэт...» Знаменательно, что в описании финала жизни Степана Трофимовича Достоевский ровно за сорок (!) лет по сути как бы описал последние дни *Л. Н. Толстого*: и «уход», и горячую болезнь в дороге, и смерть на чужой постели, в случайном доме...

Прототипом этого персонажа послужил, главным образом, *Т. Н. Грановский*, но проявились в этом образе черты и других либералов-*западников*, которых Достоевский знал-наблюдал лично, к примеру, – *В. Ф. Корша*.

Верховцев Иван

«Братья Карамазовы»

Подполковник; отец *Катерины Ивановны* и *Агафьи Ивановны Верховцевых*. Он появляется в рассказе *Мити Карамазова* своему брату *Алёше* о том, как Катерина Ивановна стала его невестой. Отец её был батальонным командиром, под началом которого Дмитрий служил прапорщиком и не пользовался его расположением. «У этого старого упрямца, недурного очень человека и добродушнейшего хлебосола, были когда-то две жены, обе померли...» Первая жена была из «простых» и оставила дочь «простую» – Агафью. Вторая жена оказалась генеральской дочкой, однако «денег подполковнику тоже никаких не принесла». Вот и придумал подполковник, дабы растить двух дочерей достойно и обеспечить им приданное, давал казённые деньги купцу *Трифонову* под проценты, и тот его, в конце концов, обманул, деньги присвоил – 4,5 тысячи. «Ну, так и сидит наш подполковник дома, голову себе обвязал полотенцем, <...> вдруг вестовой с книгой и с приказом: “Сдать казённую сумму, тотчас же, немедленно, через два часа”. Он расписался, я эту подпись в книге потом видел, – встал, сказал, что одеваться в мундир идёт, прибежал в свою спальню, взял дуствольное охотничье своё ружьё, зарядил, вкатил солдатскую пулю, снял с правой ноги сапог, ружьё упёр в грудь, а ногой стал курок искать. А Агафья уже подозревала, мои тогдашние слова запомнила, подкралась и во время подсмотрела: ворвалась, бросилась на него сзади, обняла, ружьё выстрелило вверх в потолок; никого не ранило; вбежали остальные, схватили его, отняли ружьё, за руки держат...» Дмитрий Карамазов пообещал выручить старика-полковника, но, куражась, потребовал, дабы за деньгами к нему пришла младшая дочь – красавица Катерина... Когда прапорщик Карамазов растрату покрыл и покрыл «бескорыстно», подполковник на удивление всем благополучно дела сдал новому командиру-майору, тут же слёг и через несколько недель умер от «размягчения мозга». Похоронили его с воинским почестями.

В образе и судьбе Верховцева отразились, по-видимому, отдельные штрихи образа и судьбы подполковника *А. Белихова*.

Верховцева Агафья Ивановна

«Братья Карамазовы»

Старшая дочь подполковника *Верховцева*, сестра по отцу *Катерины Ивановны Верховцевой*. Агафья родилась от первого брака отца. *Дмитрий Карамазов* рассказывает брату *Алёше*, что у подполковника было две жены и обе умерли: «Одна, первая, была из каких-то простых и оставила ему дочь, тоже простую. Была уже при мне девою лет двадцати четырёх и жила с отцом вместе с тёткой, сестрой покойной матери. Тётка – бессловесная простота, а племянница, старшая дочь подполковника, – бойкая простота. Люблю, вспоминая, хорошее слово сказать: никогда-то, голубчик, я прелестнее характера женского не знал, как этой девицы, Агафьей звали её, – представь себе, Агафьей Ивановной. Да и недурна она вовсе была, в русском вкусе – высокая, дебелая, полнотелая, с глазами прекрасными, лицо, положим, грубоватое. Не вышла замуж, хотя двое сватались, отказала и весёлости не теряла. Сошёлся я с ней – не таким образом, нет, тут было чисто, а так, по-дружески. Я ведь часто с женщинами сходиллся совершенно безгрешно, по-дружески. Болтаю с ней такие откровенные вещи, что ух! – а она только смеётся. Многие женщины откровенности любят, заметь себе, а она к тому же была девушка, что очень меня веселило. И вот ещё что: никак бы её барышней нельзя было назвать. Жили они у отца с тёткой, как-то добровольно принижая себя, со всем другим обществом не равняясь. Её все любили и нуждались в ней, потому что портниха была знатная: был талант, денег за услуги не требовала, делала из любезности, но когда дарили – не отказывалась принять...»

Агафья спасла отца, батальонного командира, растратившего казённые 4,5 тысячи, от самоубийства («ворвалась, бросилась на него сзади, обняла, ружьё выстрелило вверх в потолок...»); и затем, как ни обожала сестру Катю, как перед ней ни преклонялась, но всё же передала ей «грязное» предложение-условие *Дмитрия Карамазова*, который пообещал выручить деньгами их отца, если *Катерина Ивановна* придёт за ними «лично»...

Впоследствии, когда Агафья Ивановна жила уже в Москве, *Катерина Ивановна* под предлогом пересылки ей 3-х тысяч рублей попросила это сделать *Дмитрия Карамазова*, который на эти деньги увёз *Грушеньку Светлову* в Мокрое и там их прокутил. Эти роковые три тысячи и станут главной интригой в развитии сюжета романа.

Верховцева Катерина Ивановна

«Братья Карамазовы»

Младшая дочь *Ивана Верховцева*, сестра по отцу *Агафьи Ивановны Верховцевой*. *Дмитрий Карамазов* рассказывает брату *Алёше*: «Когда я приехал и в батальон поступил, заговорили во всём городишке, что вскоре пожелает к нам, из столицы, вторая дочь подполковника, красавица из красавиц, а теперь только что де вышла из аристократического столичного одного института. Эта вторая дочь – вот эта самая Катерина Ивановна и есть, и уже от второй жены подполковника. А вторая эта жена, уже покойница, была из знатного, какого-то большого генеральского дома, хотя впрочем, как мне достоверно известно денег подполковнику тоже никаких не принесла. Значит была с роднёй, да и только, разве там какие надежды, а в наличности ничего. И однако, когда приехала институтка (погостить, а не навсегда), весь городишко у нас точно обновился, самые знатные наши дамы, – две превосходительные, одна полковница, да и все, все за ними, тотчас же приняли участие, расхватали её, веселить начали, царица балов, пикников, живые картины состряпали в пользу каких-то гувернанток. Я молчу, я кучу, я одну штуку именно тогда удрал такую, что весь город тогда загалдел. Вижу, она меня раз обмерила взглядом, у батарейного командира это было, да я тогда не подошёл: пренебрегаю, дескать, знакомиться. Подошёл я к ней уже несколько спустя, тоже на вечере, заговорил, еле поглядела, презрительные губки сложила, а, думаю, подожди, отмщу! Бурбон я был ужаснейший в большинстве тогдашних случаев, и сам это чувствовал. Главное то чувствовал, что “Катенька” не то чтобы невинная институтка такая, а особа с характером, гордая и в самом деле добродетельная, а пуще всего с умом и образованием, а у меня ни того, ни другого. Ты думаешь, я предложение хотел сделать? Ни мало, просто отмстить хотел за то, что я такой молодец, а она не чувствует. А пока кутёж и погром...»

Батальонный командир растратил казённые 4,5 тысячи, пытался застрелиться, и Дмитрий, который как раз получил от отца шесть тысяч, предложил покрыть растрату её отца, если Катерина Ивановна придёт за ними «лично». «Она вошла и прямо глядит на меня, тёмные глаза смотрят решительно, дерзко даже, но в губах и около губ, вижу, есть нерешительность.

– Мне сестра сказала, что вы дадите четыре тысячи пятьсот рублей, если я приду за ними... к вам сама. Я пришла... дайте деньги!.. – не выдержала, задохлась, испугалась, голос пресёкся, а концы губ и линии около губ задрожали...»

В конце концов Митя, поборов в себе «карамазовщину», деньги дал «просто так» и даже в пояс поклонился Катерине Ивановне, и она ему поклонилась в ответ. Спустя три месяца Катерина Ивановна, получив богатое наследство от родственницы-генеральши, сама себя предложила в невесты Дмитрию. Между тем, в неё влюбляется брат Дмитрия – *Иван Карамазов*. Сама Катерина Ивановна, судя по всему, так до конца и не решила, кого она из двух братьев всё же любит по-настоящему – не головой, а сердцем.

Для характеристики Катерины Ивановны важно суждение Алёши о ней: «Красота Катерины Ивановны ещё и прежде поразила Алёшу, когда брат Дмитрий, недели три тому назад, привозил его к ней в первый раз представить и познакомить, по собственному чрезвычайному желанию Катерины Ивановны. <...> Его поразила властность, гордая развязность, самоуверенность надменной девушки. И всё это было несомненно, Алёша чувствовал, что он не преувеличивает. Он нашёл, что большие чёрные горящие глаза её прекрасны и особенно идут к её бледному, даже несколько бледно-жёлтому продолговатому лицу. Но в этих глазах, равно как и в очертании прелестных губ, было нечто такое, во что конечно можно было брату его влюбиться ужасно, но что может быть нельзя было долго любить. <...> Тем с большим изумлением почувствовал он теперь при первом взгляде на выбежавшую к нему Катерину Ивановну,

что может быть тогда он очень ошибся. В этот раз лицо её сияло неподдельною простодушною добротой, прямою и пылкою искренностью. Из всей прежней “гордости и надменности”, столь поразивших тогда Алёшу, замечалась теперь лишь одна смелая, благородная энергия и какая-то ясная, могучая вера в себя. Алёша понял с первого взгляда на неё, с первых слов, что весь трагизм её положения относительно столь любимого ею человека для неё вовсе не тайна, что она может быть уже знает всё, решительно всё. И однако же, несмотря на то, было столько света в лице её, столько веры в будущее, Алёша почувствовал себя перед нею вдруг серьёзно и умышленно виноватым. Он был побеждён и привлечён сразу. Кроме всего этого, он заметил с первых же слов её, что она, в каком-то сильном возбуждении, может быть очень в ней необычайном,— возбуждении похожем почти даже на какой-то восторг...»

Катерина Ивановна, как и её полная тёзка *Катерина Ивановна Мармеладова* из «*Преступления и наказания*», как и многие (все!) героини Достоевского, нервную систему имеет совершенно далёкую от идеала. Одна из самых драматично-напряжённых сцен романа – встреча Катерины Ивановны и *Грушеньки Светловой*. Первая, поддавшись чарам второй и поверив поначалу, что та пришла к ней с дружбой, растрогалась, взялась расхваливать при Алёше гостью в глаза и даже ручку ей в припадке восторга трижды поцеловала. В ответ Грушенька её страшно унизила и надсмехалась над ней в глаза, тоже при Алёше. С Катериной Ивановной случился нервический припадок: она даже кинулась на соперницу с кулаками, потом рыдала до спазм в горле, а затем, выпроваживая невольного свидетеля её позора Алёшу, весьма многозначительно выкрикнула-заявила, словно намекая на самоубийство: «Не осудите, простите, я не знаю, что с собой ещё сделаю!» В другой раз, опять же Алёше (этому исповеднику всех потенциальных самоубийц в романе!), Катерина Ивановна заявила уже непреложно и напрямую, что если и Иван(-9, 174) её бросит-оставит, как некогда Дмитрий, она – «убьёт себя».(-10, 275) А между тем, именно показания Кати, предъявленное ею «пьяное» письмо Мити с угрозами убить отца и способствовали осуждению Мити, но когда она приходит к нему в тюрьму, то вдруг признаётся, что по-прежнему безумно любит его, Митю...

В образе, в характере Катерины Ивановны отразились некоторые черты первой жены писателя *М. Д. Достоевской*.

Видоплясов Григорий

«Село Степанчиково и его обитатели»

Лакей *Егора Ильича Ростанева*, «секретарь» *Фомы Фомича Опискина*. «Это был ещё молодой человек, для лакея одетый прекрасно, не хуже иного губернского франта. Коричневый фрак, белые брюки, палевый жилет, лакированные полусапожки и розовый галстучек подобранные были, очевидно, не без цели. Всё это тотчас же должно было обратить внимание на деликатный вкус молодого щёголя. Цепочка к часам была выставлена напоказ непременно с тою же целью. Лицом он был бледен и даже зеленоват; нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть и, однако ж, деликатную грусть. Глаза, большие, выпученные и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и, однако ж, всё-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие, мягкие ушки были заложены, из деликатности, ватой. Длинные, белобрысые и жидкие волосы его были завиты в кудри и напомажены. Ручки его были беленькие, чистенькие, вымытые чуть ли не в розовой воде; пальцы оканчивались щеголеватыми, длиннейшими розовыми ногтями. Всё это показывало баловня, франта и белоручку. Он шепелявил и премодно не выговаривал букву *р*, подымал и опускал глаза, вздыхал и нежничал до невероятности. От него пахло духами. Роста он был небольшого, дряблый и хилый, и на ходу как-то особенно приседал, вероятно, находя в этом самую высшую деликатность, – словом, он весь был пропитан деликатностью, субличностью и необыкновенным чувством собственного достоинства...»

Видоплясов служил прежде у «одного учителя чистописания», обучился сам писать, учит теперь сына Ростанева *Илюшу*, за что полковник ему платит отдельно по приказу Фомы Фомича полтора целковых за урок. Мало этого, Видоплясов и по окрестным помещикам со своими уроками ездит – и там ему платят. Лакей этот особенно интересен тем, что он – «поэт». Его поэтический дар характеризует в повести восторженный полковник Ростанев. По его словам, у Видоплясова «настоящие стихи», что он «тотчас же всякий предмет стихами опишет», что это «настоящий талант», что у него в стихах «музы летают» и что, наконец, «он до того перед всей дворней после стихов нос задрал, что уж и говорить с ними не хочет». Доморощенный поэт под покровительством Фомы Опискина на полном серьёзе намеревается издать книжку под названием «Вопли Видоплясова», но самолюбивый автор опасается насмешек над фамилией и требует почтительно, чтобы «сообразно таланту, и фамилия была облагороженная». Но «поэту» не везёт: за короткий срок он становится поочерёдно Олеандровым, Тюльпановым, Верным, Улановым, Танцевым и даже Эссбукетовым, но презираемая им дворня упорно подбирает к очередной «облагороженной» фамилии отнюдь не благородные рифмы... Вот уж действительно, можно носить довольно заурядную фамилию *Пушкин* и быть гением, а можно быть Эссбукетовым, «рифмовать любой предмет», но оставаться лакеем и в жизни, и в литературе. Такие поэты, высмеянные Достоевским, беспокоятся о чём угодно, только не о том – есть ли у них талант? Только тем, что колоссальный образ Фомы Опискина затенил Видоплясова, и можно, кажется, объяснить тот парадокс, что имя этого лакея-поэта не стало нарицательным.

В финале повести сообщается, что лакей-поэт «давным-давно в жёлтом доме и, кажется, там и умер». Видоплясов является, в какой-то мере, предтечей лакея *Смердякова* из «*Братьев Карамазовых*».

Виргинская (девица Виргинская)

«Бесы»

«Студентка и нигилистка»; сестра *Виргинского*, племянница *Капитона Максимовича*. Она появляется в главе седьмой «У наших»: «Всех дам в комнате было три: сама хозяйка, безбровая её сестрица и родная сестра Виргинского, девица Виргинская, как раз только что прикатившая из Петербурга. <...> Прибывшая девица Виргинская, тоже недурная собой, студентка и нигилистка, сытенькая и плотненькая как шарик, с очень красными щеками и низенького роста, поместилась подле Арины Прохоровны, ещё почти в дорожном своём костюме, с каким-то свёртком бумаг в руке, и разглядывала гостей нетерпеливыми прыгающими глазами. <...> Студентка же, конечно, ни в чём не участвовала, но у неё была своя забота; она намеревалась прогостить всего только день или два, а затем отправиться дальше и дальше, по всем университетским городам, чтобы “принять участие в страданиях бедных студентов и возбудить их к протесту”. Она везла с собою несколько сот экземпляров литографированного воззвания и, кажется, собственного сочинения. <...> Майор приходился ей родным дядей и встретил её сегодня в первый раз после десяти лет. Когда вошли Ставрогин и Верховенский, щёки её были красны, как клюква: она только что разбранилась с дядей за убеждения по женскому вопросу...»

Эта девица весьма напоминает *Нигилистку* из неопубликованной пьесы-фельетона в стихах «*Офицер и нигилистка*», тем более, что всё время спорит-дискутирует не только с ненавистным ей *Гимназистом*, но и со своим дядей-майором Капитоном Максимовичем. Впоследствии она на скандальном бале в пользу гувернанток выскочит на сцену в самом конце, по-прежнему со свёртком под мышкой, в сопровождении «ненавистного» Гимназиста и начнёт агитировать-кричать о бедственном положении студентов...

Прототипом девицы Виргинской послужила 19-летняя А. Дементьева-Ткачёва, на средства которой нечаевцами была устроена подпольная типография, в которой она напечатала сочинённую ею прокламацию «К обществу» о бедственном положении студентов.

Виргинская Арина Прохоровна

«Бесы»

Акушерка; супруга *Виргинского*, сестра *Шигалева*. Хроникёр так характеризует «передовую» жену Виргинского вкупе с другими дамами семьи – тёткой и свояченицей: «Супруга его, да и все дамы были самых последних убеждений, но всё это выходило у них несколько грубовато, именно, тут была “идея, попавшая на улицу”, как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они всё брали из книжек, и по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших, готовы были выбросить за окно всё, что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. М-те Виргинская занималась у нас в городе повивальной профессией; в девицах она долго жила в Петербурге...» И далее приводится характерный пример-эпизод супружеского «счастья» в эмансипированном семействе: «Рассказывали про Виргинского и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебядкина. <...> Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них, и стал наконец третировать хозяина свысока...» Правда, однажды Виргинский, впад в истерику, оттащил капитана *Лебядкина* за волосы, но потом, опять-таки, просил за это у супруги прощения на коленях.

Подкаблучничество Виргинского объяснялось отчасти тем, что дом их принадлежал жене, да и доход она имела немалый, но главную роль, конечно, играла её натура: «Виргинский жил в собственном доме, то есть в доме своей жены, в Муравьиной улице. Дом был деревянный, одноэтажный, и посторонних жильцов в нём не было. (К слову, в доме этом проходила сходка-собрание «наших». – Н. Н.) <...> Сама же м-те Виргинская, занимавшаяся повивальной профессией, уже тем одним стояла ниже всех на общественной лестнице; даже ниже попадьи, несмотря на офицерский чин мужа. Соответственного же её званию смирения не примечалось в ней вовсе. А после глупейшей и непростительно откровенной связи её, из принципа, с каким-то мошенником, капитаном Лебядкиным, даже самые снисходительные из наших дам отвернулись от неё с замечательным пренебрежением. Но м-те Виргинская приняла всё так, как будто ей того и надо было. Замечательно, что те же самые строгие дамы, в случаях интересного своего положения, обращались по возможности к Арине Прохоровне (то есть к Виргинской), минуя остальных трёх акушеров нашего города. Присылали за нею даже из уезда к помещицам – до того все веровали в её знание, счастье и ловкость в решительных случаях. Кончилось тем, что она стала практиковать единственно только в самых богатых домах; деньги же любила до жадности. Ощувив вполне свою силу, она под конец уже несколько не стесняла себя в характере. Может быть даже нарочно, на практике в самых знатных домах, пугала слаонервных родильниц каким-нибудь неслыханным нигилистическим забвением приличий или наконец насмешками над “всем священным” и именно в те минуты, когда “священное” наиболее могло бы пригодиться. <...> Но хоть и нигилистка, а в нужных случаях Арина Прохоровна вовсе не брезговала не только светскими, но и стародавними, самыми предрассудочными обычаями, если таковые могли принести ей пользу. Ни за что не пропустила бы она, например, крестин повитого ею младенца, причём являлась в зелёном шёлковом платье со шлейфом, а шиньон расчёсывала в локоны и в букли, тогда как во всякое другое время доходила до самоуслаждения в своём неряшестве. И хотя во время совершения таинства сохраняла всегда “самый наглый вид”, так что конфузила причет, но по совершении обряда шампанское непременно выносила сама (для того и являлась, и рядилась), и попробовали бы вы, взяв бокал, не положить ей “на кашу”...»

О внешности Виргинской (в момент собрания «у наших») говорится вскользь: «Арина Прохоровна, видная дама лет двадцати семи, собою недурная, несколько растрёпанная, в шерстяном непраздничном платье зеленоватого оттенка, сидела, обводя смелыми очами гостей и как бы спеша проговорить своим взглядом: “видите, как я совсем ничего не боюсь”».

М-ме Виргинская активно участвует в диспутах «наших», а затем даже, можно сказать, непосредственно принимает участие в ключевом действе: пытаясь вместе с мужем каким-то образом избежать участия его в убийстве *Шатова* и не совсем веря в предательство Шатова, она охотно бежит ночью помогать внезапно объявившейся шатовской жене *Marie* при родах, дабы заодно разведать обстановку.

Виргинский

«Бесы»

Чиновник, член революционной пятёрки, соучастник (наряду с *Липутиным*, *Ляминым*, *Толкаченко* и *Эркелем*) убийства *Шатова Петром Верховенским*; муж *Арины Прохоровны Виргинской*, брат *девицы Виргинской*, племянник *Капитона Максимовича*. Поначалу он представлен как один из постоянных посетителей «вечеров» у *Степана Трофимовича Верховенского*: «Являлся на вечера и ещё один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя по-видимому и совершенно противоположный ему во всех отношениях; но это тоже был “семьянин”. Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем лет уже тридцати, с значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тётку и сестру своей жены. <...> Сам Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. “Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд”, – говаривал он мне с сияющими глазами. О “светлых надеждах” он говорил всегда тихо, с сладостию, полушёпотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими, рыжеватого оттенка волосиками. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьёзно и во многом ставил его в тупик. <...> Рассказывали про Виргинского и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебядкина. <...> Уверяли, что Виргинский, при объявлении ему женой отставки, сказал ей: “Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю”, но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение; напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они, всем “семейством”, отправились за город, в рощу кушать чай вместе с знакомыми. Виргинский был как-то лихорадочно-весело настроен и участвовал в танцах; но вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебядкина, канканировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался и всё время, как его таскали, почти не прерывал молчания; но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Виргинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении; но прощения не вымолил, потому что всё-таки не согласился пойти извиниться пред Лебядкиным; кроме того, был обличён в скудости убеждений и в глупости; последнее потому, что, объясняясь с женщиной, стоял на коленях...»

Впоследствии сам Виргинский стал принимать «гостей». «Виргинский жил в собственном доме, то есть в доме своей жены, в Муравьиной улице. Дом был деревянный, одноэтажный, и посторонних жильцов в нём не было...» Именно здесь, у Виргинских, состоялась «наших» под видом празднования дня рождения хозяина.

В кульминационной сцене убийства *Шатова* Виргинский, который и до того пытался предотвратить преступление, ведёт себя крайне пассивно, а затем, вслед за *Ляминым*, почти впадает в истерику и всё твердит-повторяет: «– Это не то, не то! Нет, это совсем не то!..» Это и смягчило его участь после ареста «наших»: «Виргинский сразу и во всём повинился: он лежал больной и был в жару, когда его арестовали. Говорят, он почти обрадовался: “с сердца свалилось”, проговорил он будто бы. Слышно про него, что он дает теперь показания откровенно, но с некоторым даже достоинством и не отступает ни от одной из “светлых надежд” своих, проклиная в то же время политический путь (в противоположность социальному), на который был увлечён так нечаянно и легкомысленно “вихрем сошедшихся обстоятельств”. Поведение

его при совершении убийства разъясняется в смягчающем для него смысле, кажется, и он тоже может рассчитывать на некоторое смягчение своей участи...»

Прототипами Виргинского, в какой-то мере, послужили «нечаевцы» П. Г. Успенский и А. К. Кузнецов.

Владимир Семёнович

«Двойник»

Коллежский асессор; племянник *Андрея Филипповича*. Именно этот блестящий молодой чиновник (ему 25 лет) – главный претендент на руку *Клары Олсуфьевны Берендеевой*: на балу в её честь он смотрится уже совсем женихом, танцует с виновницей торжества, держится всё время рядом с ней, вызывая ревнивую зависть униженного *Якова Петровича Голядкина*: «С другой стороны кресел держался Владимир Семёнович, в чёрном фраке, с новым своим орденом в петличке...» Повествователь в преувеличенно торжественном тоне так аттестует его: «Я ничего не скажу, но молча – что будет лучше всякого красноречия – укажу вам на этого счастливого юношу, вступающего в свою двадцать шестую весну, – на Владимира Семёновича, племянника Андрея Филипповича, который встал в свою очередь с места, который провозглашает в свою очередь тост и на которого устремлены слезящиеся очи родителей царицы праздника, гордые очи Андрея Филипповича, стыдливые очи самой царицы праздника, восторженные очи гостей и даже прилично завистливые очи некоторых молодых сослуживцев этого блестящего юноши. Я не скажу ничего, хотя не могу не заметить, что всё в этом юноше, – который более похож на старца, чем на юношу, говоря в выгодном для него отношении, – всё, начиная с цветущих ланит до самого асессорского, на нём лежавшего чина, всё это в сию торжественную минуту только что не проговаривало, что, дескать, до такой-то высокой степени может благонаравие довести человека!...» В последний момент, когда бедного господина Голядкина увозили в жёлтый дом, ему показалось, что Владимир Семёнович прослезился.

Ворохова

«Братья Карамазовы»

Генеральша; благотельница-воспитательница *Софьи Ивановны Карамазовой*, родственница *Ефима Петровича Поленова*. *Повествователь* сообщает: «Софья Ивановна была из “сироток”, безродная с детства, дочь какого-то темного дьякона, взросшая в богатом доме своей благотельницы, воспитательницы и мучительницы, знатной генеральши старухи, вдовы генерала Ворохова. Подробностей не знаю, но слышал лишь то, что будто воспитанницу, кроткую, незлобивую и безответную, раз сняли с петли, которую она привесила на гвозде в чулане, — до того тяжело было ей переносить своенравие и вечные попреки этой, по-видимому не злой старухи, но бывшей лишь нестерпимейшею самодуркой от праздности...» Когда Софья убежала с *Фёдором Павловичем Карамазовым*, благотельница жестоко обиделась: «О житье-бытье её “Софьи” все восемь лет она имела из-под руки самые точные сведения, и слыша, как она больна и какие безобразия её окружают, раза два или три произнесла вслух своим приживалкам: “Так ей и надо, это ей Бог за неблагодарность послал”...» Но после смерти воспитанницы отыскала заброшенных отцом её сыновей *Ивана* и *Алексея Карамазовых*, сама тоже вскоре умерла, но успела отписать им в завещании по тысяче рублей, да, кроме того, как бы по наследству передала их на воспитание Ефиму Петровичу Поленову.

Врублевский

«Братья Карамазовы»

Товарищ и «телохранитель» пана *Муссяловича*. Он при первой встрече в Мокром сразу поразил *Дмитрия Карамазова* своим высоким ростом: «Другой же пан, сидевший у стены, более молодой, чем пан на диване, смотревший на всю компанию дерзко и задорно и с молчаливым презрением слушавший общий разговор, опять-таки поразил Митю только очень высоким своим ростом, ужасно непропорциональным с паном, сидевшим на диване. “Коли встанет на ноги, будет вершков одиннадцати”, мелькнуло в голове Мити. Мелькнуло у него тоже, что этот высокий пан, вероятно, друг и приспешник пану на диване, как бы “телохранитель его”, и что маленький пан с трубкой конечно командует паном высоким...» Митю недаром, видно, поразил рост «телохранителя» – он предполагал, что без ссоры-драки дело не обойдётся. Но поляки оказались в итоге жидковаты и уступили «поле битвы»: в решающий момент Митя бросился на Врублевского, «обхватил его обеими руками, поднял на воздух и в один миг вынес его из залы». Перед этим ещё и выяснилось, что пан Врублевский – карточный шулер, подменивший колоду карт. Более того, когда позже началось дознание и допросили поляков, то спесивый «пан» Врублевский «оказался вольнопрактикующим дантистом, по-русски зубным врачом».

Вурмергельм, барон

«Игрок»

«Длинный, сухой пруссак, с палкой в руке», которого *Алексей Иванович* оскорбил (вместе с супругой, *баронессой Вурмергельм*) по капризу *Полины*. «Барон сух, высок. Лицо, по немецкому обыкновению, кривое и в тысяче мелких морщинок; в очках; сорока пяти лет. Ноги у него начинаются чуть ли не с самой груди; это, значит, порода. Горд, как павлин. Мешковат немного. Что-то баранье в выражении лица, по-своему заменяющее глубокомыслие...».

Вероятно, прототипом спесивого барона послужил *Ф. Майдель*.

Вурмергельм, баронесса

«Игрок»

Супруга *барона Вурмергельма*. «Помню, баронесса была в шёлковом необъятной окружности платье, светло-серого цвета, с оборками, в кринолине и с хвостом. Она мала собой и толстоты необычайной, с ужасно толстым и отвислым подбородком, так что совсем не видно шеи. Лицо багровое. Глаза маленькие, злые и наглые. Идёт – точно всех чести удостоивает...» *Игрок*, оскорбив супругов Вурмергельм по капризу *Полины*, потом так объяснял происшествие *Генералу*: «Мне ещё в Берлине запало в ухо беспрерывно повторяемое ко всякому слову “ja wohl” [*нем.* да, конечно], которое они так отвратительно протягивают. Когда я встретился с ним в аллее, мне вдруг это “ja wohl”, не знаю почему, вскочило на память, ну и подействовало на меня раздражительно... Да к тому же баронесса вот уж три раза, встречаясь со мною, имеет обыкновение идти прямо на меня, как будто бы я был червяк, которого можно ногою давить. Согласитесь, я тоже могу иметь своё самолюбие. Я снял шляпу и вежливо (уверяю вас, что вежливо) сказал: “Madame, j’ai l’honneur d’être votre esclave” [*фр.* “Мадам, честь имею быть вашим рабом”]. Когда барон обернулся и закричал “гейн!” [от *нем.* gehen – убирайтесь!] – меня вдруг так и подтолкнуло тоже закричать: “Ja wohl!” Я и крикнул два раза: первый раз обыкновенно, а второй – протянув изо всей силы. Вот и всё...» Здесь самое знаменательное – «как будто бы я был червяк», ибо фамилия «Вурмергельм» – это по сути «червяк в квадрате»: от *нем.* Wurm, Würmer – червь, глист; *гр.* Helmins – червь, глист. Впрочем, если и вторая половина фамилии образована от немецкого слова Helm (шлем, каска), то фамилию чванливых барона и баронессы можно образно перевести как – червь в шляпе.

Г—в Антон Лаврентьевич

«Бесы»

Хроникёр. Он где-то «служит» и, по словам *Липутина*, «классического воспитания и в связях с самым высшим обществом молодой человек». Он не только повествователь-хроникёр всех событий, но и сам активный их участник. Г—в присутствует буквально на каждой странице, в каждом эпизоде «Бесов», представляя собой полноправное (и одно из главных!) действующее лицо, которое условно можно назвать – обыватель. При вопросе: как могло произойти такое буйство «бесов» в тихом городке, кто позволил, допустил и способствовал? – перед глазами сразу возникает фигура Антона Лаврентьевича Г—ва. Быть в курсе всех событий ему позволяет то, что он очень близко знаком со многими действующими лицами и вхож во все дома города. Особо доверительные отношения сложились у Антона Лаврентьевича со *Степаном Трофимовичем Верховенским*: он его «конфидент». А вот с *Лизаветой Николаевной Тушиной* хроникёра связывает не только взаимная симпатия и дружба, но даже, как можно догадаться, он влюблён в неё... О внешности Г—ва судить трудно, но о характере его отзывается та же Лиза Тушина в разговоре с ним так: «Впрочем, что же стыдиться того, что вы прекрасный человек?..»

Именно хроникёру в «Бесах» Достоевский доверил высказать ряд остро критических суждений о современной литературе. К примеру, Антон Лаврентьевич в одном месте высказывает убийственную оценку знаменитым, но «исписавшимся» писателям (см. *Кармазинов*). В другом, рассказывая о том, как *Варвара Петровна Ставрогина* решила открыть у себя в Петербурге «вечера», рисует обобщённый портрет всякой «литературной сволочи»: «Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве. Потом уже приходили и сами, без приглашения; один приводил другого. Никогда ещё она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные (хотя и далеко не все) являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту. Все они чем-то гордились до странности. На всех лицах было написано, что они сейчас только открыли какой-то чрезвычайно важный секрет. Они бранились, вменяя себе это в честь. Довольно трудно было узнать, что именно они написали; но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители. <...> Явились и две-три прежние литературные знаменитости, случившиеся тогда в Петербурге и с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные отношения. Но к удивлению её эти действительные и уже несомненные знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у него заискивали...»

Г—ков (Г—в)

«Записки из Мёртвого дома»

Подполковник, «добрый командир-начальник». «Подполковник Г—ков упал к нам как с неба, пробыл у нас очень недолго, – если не ошибаюсь, не более полугода, даже и того меньше, – и уехал в Россию, произведя необыкновенное впечатление на всех арестантов. Его не то что любили арестанты, его они обожали, если только можно употребить здесь это слово. Как он это сделал, не знаю, но он завоевал их с первого разу. “Отец, отец! отца не надо!” – говорили поминутно арестанты во всё время его управления инженерною частью. Кутила он был, кажется, ужаснейший. Небольшого роста, с дерзким, самоуверенным взглядом. Но вместе с тем он был ласков с арестантами, чуть не до нежностей, и действительно буквально любил их, как отец. Отчего он так любил арестантов – сказать не могу, но он не мог видеть арестанта, чтоб не сказать ему ласкового, весёлого слова, чтоб не посмеяться с ним, не пошутить с ним, и, главное, – ни капли в этом не было чего-нибудь начальственного, хоть чего-нибудь обозначающего неравную или чисто начальственную ласку. Это был свой товарищ, свой человек в высочайшей степени. Но, несмотря на весь этот инстинктивный демократизм его, арестанты ни разу не проступились перед ним в какой-нибудь непочтительности, фамильярности. Напротив. Только всё лицо арестанта расцветало, когда он встречался с командиром, и, снявши шапку, он уже смотрел улыбаясь, когда тот подходил к нему. А если тот заговорит – как рублём подарит. Бывают же такие популярные люди. Смотрел он молодцом, ходил прямо, браво. “Орёл!” – говорят, бывало, о нём арестанты. Облегчить их он, конечно, ничем не мог; заведовал он только одними инженерными работами, которые и при всех других командирах шли в своём всегдашнем, раз заведённом законном порядке. Разве только, встретив случайно партию на работе, видя, что дело кончено, не держит, бывало, лишнего времени и отпустит до барабана. Но нравилась его доверенность к арестанту, отсутствие мелкой щепетильности и раздражительности, совершенное отсутствие иных оскорбительных форм в начальнических отношениях. Потеряй он тысячу рублей – я думаю, первый вор из наших, если б нашёл их, отнёс бы к нему. Да, я уверен, что так было бы. С каким глубоким участием узнали арестанты, что их орёл-командир поссорился насмерть с нашим ненавистным майором. Это случилось в первый же месяц по его прибытии. Наш майор был когда-то его сослуживец. Они встретились после долгой разлуки и закутили было вместе. Но вдруг у них порвалось. Они поссорились, и Г—в сделался ему смертельным врагом. Слышно было даже, что они подрались при этом случае, что с нашим майором могло случиться: он часто дирался. Как услышали это арестанты, радости их не было конца. “Осьмиглазому ли с таким ужиться! тот орёл, а наш...”, и тут обыкновенно прибавлялось словцо, неудобное в печати. Ужасно интересовались у нас тем, кто из них кого поколотил. Если б слух об их драке оказался неверным (что, может быть, так и было), то, кажется, нашим арестантикам было бы это очень досадно. “Нет, уж наверно командир одолел, – говорили они, – он маленький, да удаленький, а тот, слышь, под кровать от него залез”. Но скоро Г—ков уехал, и арестанты опять впали в уныние. Инженерные командиры были у нас, правда, все хорошие: при мне сменилось их трое или четверо; “да всё не нажить уж такого, – говорили арестанты, – орёл был, орёл и заступник”. Вот этот-то Г—ков очень любил всех нас, дворян, и под конец велел мне и Б—му ходить иногда в канцелярию...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.